

Александр ЧАНЦЕВ

ИЖИЦЫ НА СЮРТУКЕ ИЗ СНОВ



А л е т е й я

Александр Чанцев

**Ижицы на сюртуке из
снов: книжная пятилетка**

«Алетейя»

2020

УДК 82-821
ББК 84(2Рос=Рус)6

Чанцев А. В.

Ижицы на сюртуке из снов: книжная пятилетка / А. В. Чанцев —
«Алетейя», 2020

ISBN 978-5-00165-146-8

В эту книгу вошли тексты за «пятилетку» – опубликованные с 2015 по 2020 годы. Текстов оказалось много. Это позволяет выбрать, что интереснее – современная литература или классика, книги на английском или переводные, нонконформизм или традиционализм, книги о музыке, каталоги выставок или же что-то еще. Так и автор, как ему, во всяком случае казалось, выбирал лучшее из бесконечных волн пяти океанов книг.

УДК 82-821
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00165-146-8

© Чанцев А. В., 2020
© Алетейя, 2020

Содержание

| | |
|---|-----|
| Перечитывание | 6 |
| Маб, джентельмен-фаустианец ¹ | 6 |
| Чоран: невыносимое бытия | 9 |
| На краю другой ночи | 13 |
| Несбё и все-все-все | 16 |
| Бибихин: но поэзия! | 18 |
| Япония: приседания и потерянный ключ ⁸ | 23 |
| Другой моцион В. В. Набокова ⁹ | 26 |
| Мураками-7012 | 28 |
| Вопрос Б | 31 |
| И вновь продолжается логика сна ¹³ | 33 |
| Копать бездну ¹⁷ | 36 |
| Штаббриан – могила, разверстая в будущее | 38 |
| Гениталии гесперид | 43 |
| Внутренняя проза | 45 |
| Переводное | 47 |
| Эффект Мадонны и железные треугольники | 47 |
| Проклятые фланеры на марше | 49 |
| Мы спасены? | 51 |
| Актуальная энциклопедия турецкой жизни | 53 |
| Книжная полка – 2016 | 55 |
| Быть пыльцой | 66 |
| 20 кг человеческих глаз: 2 войны | 68 |
| Размыкая космический круг | 70 |
| Аромат полярной звезды | 75 |
| Македонский салат | 77 |
| Длинные шерстяные бунтарские танцы | 79 |
| Ветви и ответвления | 81 |
| Агент Евразии по вызову | 82 |
| Самый дальний гейт | 85 |
| Krisis und Kritik | 88 |
| Планетарная конкретность, кола алхимиков и Реформация 2.0 | 90 |
| Офицер созерцания | 93 |
| Присутствуя при крушении мира | 95 |
| Трисолярис | 97 |
| Алгоритм маньяка | 99 |
| Сентиментальный снимок легких | 102 |
| Гиацинтовый тюрбан в музее невинности | 104 |
| Юнгер: вахтенный журнал и мобильный телефон | 106 |
| История с разложением | 108 |
| Шанхайская Жанна д'Арк | 110 |
| Панкутюр | 112 |
| Поддельные люди | 114 |
| Везувий Уорхола и открытки Бенна | 115 |
| (Не) быть Энди Уорхолом | 117 |
| Лекарства и цветы | 120 |

| | |
|---|-----|
| Отечественное | 122 |
| Собаки, возьмите к себе человека | 122 |
| В коричневом кафе неистового жука | 124 |
| Ситуации свободы | 126 |
| Кочегарка против выжженной земли | 128 |
| Буддийские сны | 131 |
| Шоколадные шпалы | 133 |
| Принцип всеединого музея | 134 |
| Дело седых детей | 139 |
| Метафизическое воображение вопреки | 141 |
| Антропология тюрьмы, свободы и страны | 144 |
| Титаны тишины | 146 |
| Победа над обстоятельствами цивилизации | 148 |
| Новые лишние | 152 |
| Поп-механика 418 | 155 |
| Нормативы божеские | 158 |
| Вкрадчиво и жестко | 161 |
| Его оборона | 163 |
| Гиперон | 165 |
| Мак и больница для ангелов | 167 |
| Фандорину здесь не место | 169 |
| Теплый холод | 171 |
| Седая бабочка | 174 |
| Среднеазиатский вектор | 175 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 184 |

Александр Чанцев

Ижицы на сюртуке из СНОВ: книжная пятилетка

Перечитывание

Маб, джентельмен-фаустианец¹

М. А. Булгакова (так, с именем и отчеством – Булгаков не любил запанибратства и был, конечно, прав) принято сейчас не любить. Ожидаемая расплата-расчет детей с теми отцами, которые слишком превозносили его в предыдущие десятилетия. Бывает и пройдет.

А на Музее Булгакова в Киеве, на Андреевском спуске, висела (если верить новостям) табличка, что лучше не входить тем, кто поддерживает Крым. В том музее, где несколько лет назад – изобретательная экспозиция, увлеченно экзальтированная экскурсовод, а рядом – статуя с натертым бронзовым носом МАБ. Пройдет и это? «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал» («Белая гвардия»).

МАБ пахнет выжженной на солнце красной с золотым обложкой, летом на даче, перелом 7 и 8 классов, в шезлонге, среди травы, тогда еще больше бабочек и мягче солнце, не стореть. Засушенной среди страниц фиалкой. Вложенными рисунками. Фантазиями о сатане. Мечтами, разумеется, о personal Маргарите. Перечитыванием «МиМ» до запоминания наизусть – лучше стихов, что в школе по домашнему заданию! Самым главным местом на самой важной книжной полке. Разросшимся – еще избранное (серый том), «Записки юного врача» (ч/б, в очень мягкой обложке), собрание сочинений (черное), несколько воспоминаний, немного подозрительный, на взгляд на те 90-е из ныне, сборником «Великий канцлер» с первой версией «Мастера» и другими черновыми вариантами. Сборник куплен в букинистическом киоске на «Молодежной», где тогда, в соседстве рынка, иногда постреливали. Не осталось ни рынка, ни тени киоска на асфальте – все прошло?

Банально сказать, но МАБ – так же близок, хоть и не перечитываю его теперь каждый год. Как, к теории тех рукопожатий, на два года младше Булгакова училась на медицинском факультете Киевского университета моя прабабка Мария Васильевна Чанцева. Булгаков умудрился проучиться 7 лет, бабка в те годы отличалась сражающей наповал красотой – тут и о «кровь – великое дело» при еще одной перетасовке карт говорить можно было бы.

Чем же был тогда для 13-летнего меня Булгаков? Всем – тогда же открытый двухтомник упоительного Бабеля и черноземного Платонова соревновались за 2 и 3 место, на первое – не претендуя.

Так чем же? Позволю себе крайне нескромно попутать русскую литературу и себя. Это же, в конце концов, в стиле самого МАБ, чередовать главы коммунально-кухонных скетчей и самой возвышенной метафизики в «МиМ» (мим тут не зря, он не всегда показывал свое лицо и много играл).

Он действительно играл, искрился шампанскими шутками, когда русская литература была тяжеловесно серьезна.

¹ Конкурс эссе к 125-летию Михаила Булгакова журнала «Новый мир».

Но при этом знал себе цену, был джентльменом в бабочке (одна ремарка – открывая ночью дверь, Борменталь стыдливо прикрывает горло без галстука), был на – сознательной дистанции. Так отодвигая тех наших литераторов, что тянутся то к стакану водки, то обниматься, то в петлю.

Западник, он даже пороками отличался какими-то не русскими: не пьянствовал, а колол морфий, любил изысканную кухню, не развратничал, а с каждой из трех прекрасных жен все ближе подступал к своей Беатриче.

Он пел дом, когда революция и гражданская война выгнала всех со своих мест. Изразцы, абажур, печь – и холодный лунный крест над Святым Владимиром над Днепром: те страницы, которые, хоть и страшно перечитывать детские книги, все также греют и привлекают.

Там же, в «Белой гвардии», МАБ слагал гимн семье – и целановский плач о том, что она развеена «вихрями враждебными». Семья стала потом, в «МиМ», как сейчас бы сказали, нуклеарной, он и она, вечные любовники, что выживут и после смерти. И кто назовет в нашем XX веке (два Андреевских креста – опять же символично!) таких же Ромео и Джульетту? «Да отрежут лгуну его гнусный язык!»

Но, кажется, главным было, что как со Сталиным Булгаков был в особых отношениях – да, писал ему, о нем, но вел себя точно достойнее многих и того же Пастернака (хотя, о боги, зачем сравнивать, мы тогда не жили, не выбирали – жить или не жить!) – так и с сатаной. Жуткий диавол, смешной чертяка, бесконечные бесы мелкие и среднекалиберные – тут не до «второй свежести», ассортимент был традиционно богат, на прилавке не залеживался. Но сатана-джентльмен, сатана-Джеймс Бонд (принимает же Иванушка Бездомный его за шпиона), такой, которому и Маргарита отдаться была бы в принципе, ведьмой, не прочь? Фаустианский (западник Булгаков!), алхимический, нагруженный тем скопом религиозно-культурных отсылок, о самой возможности которых девственная, как тот же Иванушка Бездомный, русская литература услышала только в эпоху импортного постмодернизма?

А Христос, который и не Христос вовсе, а Иешуа Га-Ноцри (имя сознательно о(т)страняет), «без пафоса», а ходит и записывает за ним Левий Матвей все «неверно»? Да, «в белом венчике из роз» прошелся Христос у Блока, но то был 1917 год, да и шокировало изрядно. Следующий подобный «свойский» Спаситель появился, кажется, только в «Jesus Christ Superstar» (как из «Онегина», МАБ бы напевал из рок-оперы, спорю с Воландом!).

А их союз, Бога и дьявола, «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»? Богомилы, катары с альбигойцами – в России и ересей таких не было, больше незыблемость самих обрядов обсуждали. А тут – на тебе! Внук настоятеля церкви, сын профессора Киевской духовной академии, а сам врач, натуралист, он знал как отечественную духовную традицию, так и западную рационалистическую линию, скрестив их так, что Бог или черт его знает – создал он самый религиозный или атеистический роман в те стальные годы.

1929–1940 – только, кстати, вдуматься, что кого-то тогда интересовали новое Евангелие, сатана, ведьмы, средневековые алхимики и прочие висельники. Воображать и реконструировать тут можно вообще очень многое, хоть пиши альтернативную историю. Каким бы Булгаков дописал роман, создал еще одну, финальную редакцию, если бы не помешала смерть? Что было бы, если бы арест, как с Мастером, состоялся, а печки Лубянки отверзлись рукописи, как первому роману Д. Андреева (что было тогда в воздухе, кроме ртутно-чугунного морозного хруста, что люди работали величайшими духовидцами всему вопреки?)? Получилось бы у вдовы Елены Сергеевны издать роман раньше – куда повернула бы наша литература, ругали бы его дети тех, кто читал тогда журнал «Москву» за ночь?

У Булгакова самого была совершенно другая перспектива – не он ли писал о глобусе, изображение которого увеличивается по желанию, как на нынешнем айфоне. «Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает» – вся оптика «дьявольского» «МиМ» по сути возвышенная, воз-

несенная: с Воробьевых гор, из верхних окон, с крыши Дома Пашкова. И жизнь, как с Фаустом, играла с писателем жестокие шутки, заставляя расплачиваться за открытые тайны. Фаустианец-евангелист МАБ, будучи джентльменом, и в нужде расплачивался вовремя и сполна.

Чоран: невыносимое бытия

Эмиль Мишель Чоран (во французском произношении – благозвучнее, Сиоран, и тут скажется его национальная и не только двойничность) родился 8 апреля 1911 года в австро-венгерском, румынском селе Решинари. Старый род купцов, священников и образованцев, фамилию – сам Чоран возводил к славянскому «черному». Глухое, дракулье место, подкарпатский конец империи (когда в церкви провели электричество, жители сочли это дьявольскими про-исками), где и сейчас, сообщает всеведущая Википедия, лишь пять тысяч человек и из досто-примечательностей – одна церковь. Там и служил его отец, православный священник, – это, кажется, целая порода особых поповичей (Ницше и Гессе, Булгаков и Юнг), кто, играя на чуть ли не богоборческом поле, апофатически создает новую духовность: «тащу за собой лохмотья богословия... нигилизм всех поповичей». Из окна Эмиль Мишель все детство наблюдал погост, гробокопатель давал мальчишкам поиграть в футбол черепами – так символично, что будто выдуманно.

Австро-Венгрия – умышленная, призрачная уже империя, про Трансильванию и гово-рять нечего, Румыния же, которой отошло село, вечно не на слуху, но – в своей вечной вам-пирьей тени успешно соперничает со скандинавскими странами по зашкаливанию мрачных меланхолий и *естественного* суицида. «Читал стихи Александра Блока. Ах, эти русские, до чего они мне близки! По складу моя тоска – совершенно славянская. Бог весть из каких сте-пей пришли мои предки!» Но тот случай, когда *плоть от плоти* – выталкивалась: Чоран всю жизнь мечтал уехать. Впрочем, бежали из Румынии тогда все – его знакомые Элиаде и Ионе-ско (есть трогательная фотография бывших врагов в старости в Париже – а «левый» Ионеско и «правый» Чоран в юности еще как между собой воевали) тоже отнюдь не горели желанием дополнить своими костями узор родной костницы. Страна, из которой вечно бегут, страна – которая не менее не отпускает: где-то в этом ахиллесово-черепашьем зазоре и мерцает вектор Чорана. Чье прекраснейшее детство быстро закончилось очень ранним изгнанием – в 10 лет его отдали в немецкую школу в город Сибиу. Культа детства Чоран («для меня это был край мира или его центр – скорее, центр»), как еще один мигрант Набоков, не создал, но ту боль он, «старик от рождения», запомнил до последних парижских дней. В школе она приросла – оскорбление от любимой (та красовалась пред ним с известным школьным жеребцом – отсюда мизогиния на всю жизнь), пьянство и бордели. Закончил, однако, вторым в выпуске.

Вырваться удалось на факультет филологии и философии Бухарестского университета. Предельная бедность, полное, как луна в полнолуние, одиночество и чтение по 15 часов в сутки. Постепенно – странные люди, они же цвет интеллектуального Бухареста: «устный фило-соф» Петре Цуця, Элиаде, неизвестные (кто и когда их переведет с загадочного румынского?) сейчас имена. Первые публикации – и сразу о нации: о румынском провинциализме и возро-ждении нации. Да, совинная тень Муссолини и про(то)фашисткой румынской Железной гвар-дии и Корнелиу Кодряну, под которой так стильно было бороться с сельским глупым солн-цем («я не настолько стоек, чтобы безмятежно взирать на затопленный светом пейзаж»). За это – см. инвективные «Cioran, l'hérétique» Patrice Bollon или даже переведенный «Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран» Александры Ленъель-Лавастин, где и философия-то его даже не упоминается, – труп Чорана до сих пор возят лицом по песку под когда-то нацист-скими сапогами. Как Хайдеггера, как Бенна, Селина, Элиота, Поля де Манна, Бланшо, Дриё ла Рошеля, как многих. Но абсолютно банально – какой выбор сделал бы тогда каждый на волне возрождающегося, возносящегося энтузиазма, если даже умнейший человек прошлого века Эрнст Юнгер (паломниками к нему в глухой немецкий домик – от Борхеса до президентов) отдал долг фашизму. Чтобы потом – отворотиться, возможно, вернее, чем те, кто – никогда не примыкал. Во время же самого лютого разгула гитлеризма Чоран «лечился» от него, читая по

буддизму и индуизму. Тогда собственно Чоран и выглядел очень *тематически* – по-бенновски полноватое лицо, выбритые виски, нэповский зачес (почему на старых фотографиях у всех такие густые волосы?).

После выигранной философской стажировки в Берлине и Мюнхене (он и учился-то в немецкой школе, любил прежде всего немецкую философию – а потом и сочетал резчайшую мрачность тевтонской философии со стилистическим изяществом паскалевско-монтеневских максим) вынужден вернуться в Румынию, преподавать – почти как по советской разнарядке – в провинциальной школе. Кажется, там было какое-то розановское («Розанов – вот кто мой брат по духу. С этим мыслителем, нет, с этим человеком у меня больше всего общего») уже по накалу мироощущение внутри него: материал был начитан и накоплен, первые книги писались, но кому они тогда, особенно на румынском, были нужны? Издание одной из них «зарубили» на стадии гранок – Чоран обходил Бухарест с их свинцовым мешком.

И еще одно бегство, уже почти в цель, в большое по тем временам интеллектуальное яблоко, – в Париж. Побег этот, кстати, интересно готовился – чорановский «Трактат о разложении основ» перевел еще один румынский беглец в Париж и далее, далее в неприкаянность Пауль Целан. В Париже Чоран-Сиоран ходит в Сорбонну (диссертацию по гранту писать он и не думал), объезжает на велосипеде всю провинциальную Францию (ее он любил больше столицы) и еще несколько кусков Европы, вплоть до Англии. В Париже он и остается (думается, продолжил бы бег и дальше – грезил немного о великобританском вереске, – но физических сил у него было всегда в обрез, а духовных и того меньше) в своем «метафизическом апариде». Чтобы «ощутить, что мы у себя дома, находясь в изгнании. Укорениться в отсутствии места», как писала его любимая Симона Вейль в «Тяжести и благодати».

Принимает писательское гражданство приютившей – не как мать, а золушкина мачеха – страны: отказывается от румынского, переходит на французский («своей негибкостью, всеми своими элегантными ограничениями он напоминал мне школу аскетизма или, скорее, помесь смирительной рубашки с крахмальной сорочкой»). На нем пишет до смерти, не возвращаясь в свой дом бытия, как Бродский в Ленинград-Петербург: «из тех, кого я знал, одни умерли, другие – еще хуже». Пишет, надо ли говорить, богаче многих французов.

Это богатство, конечно, отзеркалено отнятием. Чоран пытается работать – как и в армии, из которой был комиссован по состоянию здоровья, – и умудрился продержаться какое-то рекордное не-количество дней (культурным атташе во Франции – меньше месяца). Не очень, если честно, и пытается. Выбирает бедность. Это взаимный выбор («болезнь придает прелесть нищете: украшает, возвышает ее» – если бы он потом не бросил две свои радости, кофе и сигареты, то можно было бы подумать о сознательном служении). Но любящей стороной тут Чоран – он сознательно всегда сбоку, на той самой трансильванской обочине, только – рядом с Латинским кварталом. В дешевейших уайльдовских мебелирашках, на грани и за нищеты, только ближе к концу жизни обзаведаясь съемной комнатенкой под крышным скатом. Но он пишет, издает – те книги, чей долг «бередить раны, даже причинять их». И тут выбирая, продолжая линию изгнания – от каких-то литературных премий (милостыни?) отказывается, не дает интервью (во Франции – точно, для иностранцев – позволяя исключения). Забирается глубже в себя – «упразднить публику, обходиться без собеседников, ни на кого не рассчитывать, вобрать весь мир в себя одного». А потом и заканчивает демонстрировать находки – писать практически перестает после того, как его «Признания и проклятия» «сыграли» в 1987, а самого Чорана (еще раньше его за нигилизм полюбили всякие бунтующие нищевеющие студенты) куда-то насильно вознесли из его глубин. Борхес заслуживал большего, чем славы, едко шутил он. (Да вот и мог ли быть членом пучка-*fascio* человек, не то что в толпе, обществе себе подобных, но и с собой зачастую чувствующий себя неуютно?)

Еще о портретах. Те, кто деградируют, теряют детско-юношескую красоту, иные же – с годами ее приобретают. И Э. М. Чоран (так он подписывает книги, отказавшись от полного

имени и выбрав полупсевдоним) стал внешне более французским интеллектуалом, чем те сами (один из его афоризмов – что в вагоне парижского метро все мигранты, а он едва ли не более их), усталое, больное лицо.

Арто разделял, отделял болезнь и более подлое состояние здоровья – где-то в библиотеке Чорана наверняка стоит галочка sic! на полях напротив этой совсем его максимы. Кроме имевшихся с юности и пришедших потом болезней, страдал от бессонницы, гораздо сильнее, чем бессонники Селин и любимый де Местр. Именовал ее величайшей пыткой, одновременно выводя из нее свое письмо и признавая, что бессонница его почти убивала – «всем лучшим и худшим во мне я обязан бессоннице». «Тебя выставили... Жизнь возможна, только если есть передышки, которые дает сон. А исчезновение сна порождает какую-то зловещую непрерывность». Это непрерывное служение боли, постоянный маленький суицид без анестезии-сна («призванный покончить с собой находится в нашем мире лишь случайно, да и никакому другому миру тоже не принадлежит») – тоже продолжение изгойства. Так уйти из родного дома языка, маяться даже без такого человеческого, такого человеческого, как сон, как забыть себя, желанная смерть ненадолго. Он забыл всех, но не самого себя. Хотя и себя строил *per negationem*, через отрицание и разрушение: «depends to a great extent on his refusal to be what he was and his aspiration to be what he was not» (Ilina Zafiropol-Johnston, «Searching for Cioran»). Пестовал свое одиночество («почувствовать вес выражения “оставаться в стороне”»), писал он об «иностранном человеке» Беккете, Сэм Беккет же отвечал комплиментом на комплимент – «среди ваших руин я чувствую себя как в убежище»). В себя спускался – оглядывался на эвридик, больше похожих на эриний – подняться на «вершины отчаяния». И это было сродни смерти, концом и началом себя – писателем для самоубийц его назвал Юнгер в дневниках 1971–1980 годов, сам же претворенный в слово Чоран сублимировал: *un livre est un suicide différé*. Ведь все действительно мертвы, парусии не предвидится: «Христос больше не сойдет во Ад, его снова уложили в гробницу, но на этот раз он останется в ней и, вероятно, никогда не восстанет: некого больше спасать ни на земле, ни в преисподней», а «подумаешь о смерти – и сразу станешь счастливым; скелет стал бы панацеей и исполнителем сокровенных желаний». Философия Чорана – даже в большей степени, чем у Ницше, философия отрицания, из отрицания, в нем самом. Даже дважды – ведь он балансировал рыночным канатоходцем между философией, французско(-германской, тот же Юнгер) афористической традицией и тем письмом, которое – ни к какому берегу, курсирует (болтается, да), как Харон между двумя берегами. Да и не философией вовсе – сам он философом (само)величаться отказывался, а чорановская практика «никогда не рекомендует ничего, кроме ужаса и невозможности, да и то иронично» (Fernando Savater, «Ensayo sobre Cioran»).

«Что у меня получается лучше всего, так это молитвы, измельченные до максим». И форма, при которой чорановские афоризмы хочется переписать просто все подряд, тоже важна. Эта даже не та законченность высказывания, когда мысль «идет напрямик к финалу, к резюме, минуя логические промежутки» (Чоран в эссе об Элиаде), скорее, больше даже – письмо усталости, отчаяния, безнадежности письма. «Писать эссе, роман, рассказ, статью – значит обращаться к другим, рассчитывать на них; любая связанная мысль предполагает читателей. Но мысль расколота их как будто не предполагает, она ограничивается тем, кому пришла в голову, и если адресуется к другим, то лишь косвенно. Она не нуждается в отклике, это мысль немая, как бы не выговоренная: усталость, сосредоточенная на себе самой» (записные книжки). Как другие котят, он любил, «когда стиль достигал чистоты ада».

Философия отрицания, письмо мужества, книги признания – мира, лишённого и Бога, и человека, тотальной апостасии. Мира без забвения-сна. Где даже добро и зло неразличимы и одинаково подлы: «я все меньше понимаю, что такое добро и что такое зло. Когда я вообще не почувствую между ними ни малейшей разницы <...> вот это будет шаг вперед! Но куда?»

«Чужестранец – в глазах полиции, Господа Бога и своих собственных», «вечный гой» и трансгрессия по exit.

Берегами двух стран и – признания и отрицания. Да, все письмо Чорана – негации: уюта, радости, солнца (заметно же, как эти слова избито звучат в тексте о нем?). Но и нонконформистом он отнюдь не был – зачем «запрещено запрещать», если Эдем нам закрыт с рождения, стал *le jardin des supplices*? «В чем наша вина? Разве не следовали мы, почти рабски, примеру создателя? Нас постигла та же роковая судьба, что и его, недаром же мы вышли из рук злого, проклятого бога». Но и нигилистом, как модно и удобно, называть его слишком громко: Чоран – это «хандра даже в ногтях», меланхолия, *modus vivendi* и ее самая красивая мелодия, черная желчь, преподнесенная с «признаниями и проклятиями» на высочайший алтарь. Кроме желчи, у него почти не было крови, а жертвоприношение, разумеется, было должным образом отвергнуто, никто толком и не заметил.

(«Ибо странничество есть отречение от всего», писал в своей «Лестнице» Иоанн Лествичник о таких странниках, «кто везде с разумом пребывает, иноязычный среди иноязычного народа». Но убегая от Бога, не к Нему ли приближаешься? «Running to stand still».)

Не пишу, к слову, больше о его жизни, потому что в ней ничего толком и не было, кроме книг и существования, а о смерти что? Отвратительного упадка старости он боялся и ненавидел, как Мисима, даже планировал было двойное самоубийство, прямо японское синдзю, со своей гражданской всю жизнь женой Симоной Буэ (у них было странно, даже жила она в смежной комнате, за иногда закрытой дверью, скрывала(сь) от своих родителей, он не брал ее на приемы). Но не успели – Альцгеймер опередил (Симона, кстати, скорее всего наперстала – через несколько лет после него она странно утонула на взморье близ родительского дома). Угасание Чорана, прежде всего – по-настоящему убивавшее его – интеллектуальное, когда с ним гуляла Симона, юная биографиня Илинка Зафиропол-Джонстон, это самая отчаянная и незаметная грусть. Он долго уходил в смерть в парижской геронтологической клинике и, столько писавший о смерти, ничего уже не мог о ней рассказать, скованный афазией. Заглядывая своими до самой смерти ярко зелеными глазами (все биографы и о «львиной» копне волос – пул редких, но метких поклонников, у него сохранился, красота же к старости только выпестовалась, не оставила). Уход же ближе к концу был абсолютным: Симона приносила Чорану его собственные книги, тот их не узнавал и не мог прочесть, только тихо ощупывал (в минуту просветления хотя успел пошутить – «у этого автора есть пара неплохих мыслей, а иногда он пишет лучше меня»).

Хоронили его те румынские официалы, от которых он бежал дважды (а – от Румынии, б – немая, по собственному признанию, от любых людей в форме – боясь тех же французских налоговиков, он выдумывал себе минимальный доход, хотя не имел и такого). На румынском православном кладбище – кладбищенская тема замкнулась в Париже. А вот полностью издавать и признавать в Румынии стали позже. Но и тут посмертная жизнь продолжала шутить – без, конечно, чорановского изящества. Дрязги за наследие и даже переводы (переводчица его на английский называла сей процесс сексуальным), во французской прессе, как листья по осени, падали вдруг некрологи, румыны уже в наши дни любят привлечь его имя на волне возрождения патриотическо-государственных ценностей, а самого Чорана читают, судя по Интернету, плотнее всего индастриал-металлисты, любящие назвать свои зонги а-ля «*Insomnia of Ciogan*»...

(Писал о Чоране и – стал бессоннить сам. Нет, «по личным причинам». Ирония в духе Чорана?)

Ницца–Москва

На краю другой ночи Немного алхимическое Владимира Казакова

**Владимир Казаков. Жизнь прозы / Предисл. Е.
Мнацакановой. Мюнхен: Wilhelm Fink Verlag, 1982. 226 с**

«Прижизненное немецкое издание прозы В. Казакова (1938–1988), написанной в первой половине 1970-х годов», сообщает аннотация на сайте издательства «Гилея». Книги, конечно, не найти – как мало кто нашел самого Казакова. Как не нашла себе «места на земле» у нас его проза. В глухие 70-е и писать такое! Только ряд, как заборов и осин, восклицательных знаков – лучшая и отщепенческая самая проза, которой на Страшном суде оправдается наша литература, писалась тогда – не благодаря, но вопреки. «Москва–Петушки» (69-70), «Школа для дураков» (73), «Это я – Эдичка» (76) и Владимир Казаков.

Но Соколов и Лимонов как-то – жили (Лимонов – ого-го еще как). Есть биографии. Есть побег за границу. Ерофеев не бежал и биографией озабочен был мало, но зато, как в последний вагон, вскочил в великий русский миф пьянства и юродства. У Владимира Казакова нет – ничего. Есть пара статей, одна диссертация о нем, вот эти гилеевские малотиражные издания/переиздания и ровно два абзаца в Википедии. Да и там больше отсутствия, чем присутствия – «родился 29 августа 1938 г. в Москве. Учился в военном училище; был исключен в 1956 г. Поступил в пединститут, откуда был исключён в 1958 г. В 1959–1962 гг. работал на Колыме (на золотых приисках, лесорубом и т. д.)». На Колыме, земле *ultima thule*, исключенной из нормального бытования.

«Я изучаю невидимые явления, происходящие в воздухе. Это требует неподвижности, а порой – каких-то резких конвульсивных движений» (из другой мюнхенской книги «Мои встречи с Владимиром Казаковым»).

Он растворился, стал – в литературе. Так и продолжает Википедия: «стихи писал с детства, 1965 г. считал началом серьёзного писательства; в 1966 г. познакомился с Алексеем Кручёных, по совету которого начал писать прозу». Мог бы вот и не начать, как видно, – был бы, возможно, еще прекраснее, воздушнее и неведомее в своих галантных письмах, барочных фантазиях, *mots* и афоризмах, которым в самом кружевном Средневековье и то душновато было бы, не то что когда – передовица «Правды» в коммунальном сортире. «Впоследствии называл встречу с А. Кручёных одним из главных событий своей жизни. Жил в Подмосковье, умер в Москве 23 июня 1988 г». Называл и умер – фраза для его острых, как шутка на дуэльном балу Казановы, драматургических пикировок – так жить надо постараться, такой (не)биографией – можно гордиться.

Да, чуть-чуть зацепился – «на хвосте перетертого троса» (С. Калугин, «Танец Казановы») – за отечественную словесность, шершаво-заточенный край плаката о выступлении футуристов и обэриутов. Сам, я уверен, ловко чувствовал бы себя где-нибудь посреди самых образованных русских масонов, отчаяннейших повес и бретеров. «Игрок, гость, призрак – вот три последовательно сменяющиеся ремесла, и каждое из них – почти имя» (имя имен, возможно). Может, подвинул бы русское Просвещение, может, одарил бы «Опытами» – или, выпив и сбалагурив, как-то особо ярко и хитро самоубился. Али серьёзно занялся бы проектом философского камня, воскрешения мертвых отцов и растворился бы в эфире, Бог или черт весть.

Это, кстати, его темпоральность – при всем своем футуризме и авангардизме вызывающе старомодная, но мигающая, ускользающая, намекающая на все времена сразу, будто времена размножились, как в самом сложном языке, или пружей парок бойко играет солнечный коте-

нок. «Я люблю все, что происходит вчера – вплоть до самых жестоких, самых сегодняшних событий. Например, без примеров». Примеров, как предшественников и подражателей, и нет.

Так, кстати, и в этой книге, которая по сути – возможность нескольких книг. Роман «Жизнь прозы» – ведь, вполне возможно, и не роман. А что-то новое, нездешнее, вызывающе иноземное – как французский новый роман, какие-то постсюр-реалистические опыты, что толком переводить начали у нас только сейчас (читал ли все это Казаков? Могла бы сказать его любимая жена Матрешечка, и то, что никто до сих пор не пристанет к ней с диктофоном, очень смертный грех). Он рассыпается из, состоит из – предисловия автора (которое, конечно, только играет и ничего не объясняет: «цель этой работы – работа»), прозы, совсем мини-пьес и любимых драматических разговоров побольше, писем Матрешечке, ее ответов, или не ее, а автором за нее написанных, или не автором, а героем. Казаков посмеивается в несуществующие усы, запахивает эфемерный плащ и ускользает в эфире-окне:

«Он: Я слышу слова и вижу мощный слой ума. А, впрочем, кто знает будущее?»

Призрак: Если вы сами – вопрос, то я – сам ответ.

Он: Мне слишком весело. Перед какой тревогой, перед какой судьбой?

Призрак: Перед вашей собственной.

Она /призраку/: Он улыбнулся вдаль... Вот окно. Хотите беззаботно опереться воображением о небо?

Призрак: Охотно, и даже с легкой грустью.

Он: Соперничать с окном в прозрачности?»

Тут урезали менюэт, камеры отплыв, задымление нарочито театральное. И так Казаков весь. Был, есть, но скорее – вроде.

Я выпил чая («чай – это словарь молчания звезд», как в «Ошибке живых») и еще, еще раз убедился, что пытаться даже разбирать письмо Владимира Казакова – что строить модель Версаля под казино в китайском Макао или собирать сломанную детскую игрушку. Его письмо из чайной звездности, галантного бархата, перьев птицы-робота Алконоста и изящностей про острие первой снежинки («какие голубые, детские буквы!»). «Кусок прозы размером с кусок будущего. Вот оно начало: ржавое, дневное, старинное. Я говорю Ире, откликаясь на каждую секунду ее молчания».

Молчание прозы Казакова – другая грань исчезания его биографического. И очень важная, см. иерархию: «мгновения окрашиваются для меня то в цвет ее волос, то в цвет ее глаз, то в молчание». «Виной всему – молчание, с тут и там запекшейся тишиной» – здесь «вина» как первопричина, отсылающая к изначальному Слову, которое было творением, космосом, но не нашими буквицами и шумами. Это молчание – как творческая полнота тех просвещенных, которые все поняли и теперь осуществляют и претворяют (мир) в самих себе. Внутренняя молитва исихастов. Или полнота великой пустоты буддистов – «возникло молчание, не перебиваемое ничем, кроме своих же оттенков». Но, конечно, у Казакова не так тяжеловесно, как я сейчас сравнил, а скорее – как вся радуга, если ее быстро вертеть игрушкой в руках ребенка, станет, сольется в белый цвет, а из него обратно – смогут распуститься все цвета и переливы. «Пауза между двумя молчаниями – в виде надтреснутой горловой тишины, почти не слышной» (музыка не нойза, но молчащих минут и секунд Кейджа). Немного состаренные, как кожа под ботфорты, с патиной ваби-саби.

Поэтому – игра. Случая (хотя, не знаю, как Казаков писал, но тщательнейший, утонченнейший стилизм и известна – хотя бы что-то! – его симпатия к «Школе для дураков») – «словесный поток, направленный умелой рукою случая». И всего. Смех и блеск, кислородно-шампанская лёгкость («...столько детского и столько милого, что поневоле каждая строка окажется слишком тяжелой, а каждый смысл – слишком древним»). И ирония еще до того, как она стала постмодернистской и обязательной, как английский юмор у иных господ. Карнавал – но не

телесно-пошлый, как бахтинско-раблезианский утробный смех с отрыжкой-оттяжкой, а как салонная шутка Уайльда в русском мундире.

Но окруженного не только блеском лорнетов и декольте, но темнотой (сгущалась ли она на протяжении жизни и письма Владимира Казакова? Сложный вопрос для будущего исследования, которое – будет ли написано...).

«– Что же тут странного, что он немой (опять тема молчания! – А. Ч.)? Ночная профессия. Я и сам после каждого слова немею.

– Самая ночная профессия – фонарь.

– А самое фонарное безумие – речи (речи, опять позанудничаю, которые по святости, *просветленности* и наполненности-глубине проигрывают молчанию – А. Ч.).

Что-то странное поджидало его на каждом шагу: то мгновение, то сверкающая цепь булыжников, то целая ночь. Казалось, от постоянного звездного света лицо его потеряло свою природную смуглость и стало мерцающе-голубым, непохожим».

Игристое безумие подчас тяжелеет, «цвет шума» темнеет и тревога тоже шелестит этими страницами. Пряжа не парок, но забубенные узлы эриний. «В сумерки были вложены странные ответы в виде неясных тревожных звуков, какие бывают там, где свежесвыпавший дождь, камень, железо, воздух. Перила продолжают изгибаться, словно этому не будет конца». Но в них, за ними, после конца – «столько прекрасного, что это заставляет меня сейчас беспомощно озираться по сторонам в поисках сколько-нибудь подходящего слова». Молчание в итоге апостасийное, в оставленности словом, слова – или молчание метанойной полноты и исполненности? И того, и другого? «Окна пронизаны такими ослепительными идеями, и мой листок, отражая их, увы! не может их отразить. Это ремесло, поистине, немного алхимическое: связано со стеклом, с заклинаниями, с чудовищным риском».

Из всего (абсурда, ночи, тревоги, игры, отваги и молчания) создает свое письмо Владимир Казаков и из ничего (жизнь почти без событий, биографии и точно без какой-либо известности). Протирает реторты, мешает в тигле. «Из завтра, из другой ночи, из других звезд – свет, молчание, два-три слова сквозь темноту».

Несбё и все-все-все

Экспансия скандинавов в детективном жанре началась с медийной артподготовки. Трилогия «Миллениум» шведского писателя Стига Ларссона сыграла совершенно глобально, до сих пор нет, наверное, ни одного *duty free* без его английских переводов. Довольно ранняя смерть автора и последующая экранизация первой книги Финчером довершили дело – были, впрочем, и биография Ларссона, споры вокруг его наследия, фанфики и прочий медийный хайп.

С норвежцем Ю Несбё дело, кажется, обстоит чуть иначе. Он изначально выламывается из моды – и делает это настолько красиво и мощно, что уже диктует ее сам. Что, казалось бы, всегда требовалось от интернациональных детективных хитов? Харизматичный сыщик, выстроенный сюжет да и какая-нибудь фишка, все. Несбё, по-моему, с этими лекалами работать скучно – он их попросту разбивает. А затем пропускает через компьютер и накладывает на получившийся ремикс (да, он еще и рок-довольно-известный-музыкант) кучу эффектов – корневой блюз встречается тут с *dark jazz*, олдскульные роковые хиты пропущены через дисторшн. Итоговая мелодия тревожна, как саундтрек Анджело Бадаламенти к «Шоссе в никуда» Линча (недаром Финчер взял для своего фильма композитором индастриал-визионера Резнора из *Nine Inch Nails*).

Интернациональное чтение для трансатлантических рейсов и отчаянных в своей скуке домохозяек? Несбё даст такой антураж, что многие просто отложат книги. Да, у Ларссона встречались изнасилования, пыточное татуирование и прочее садомазо, да и скандинавы в целом излишним миндальничанием не отличаются. Но Несбё возведет жестокость в квадрат. Школьницы будут гореть заживо, глаза будут выковыривать ложкой, кости в живом еще теле превращать в муку, а самого Харри Холе, героя главных книг Несбё, мало что, как Джеймс Бонда, будут взрывать, топить под снежными оползнями, так и придти к финалу книги почти поструганным на сасими – что комариный укус почесать.

Замысловатый сюжет, кубик Рубика для утомленных работой вечером и отдохновенных выходных? На протяжении романа будет штук пять подозреваемых, в вине которых уверены абсолютно все, и сам Харри в числе их.

Харизматичность? Вот тут самое главное. Да, телесериалы НВО приучили нас в последние годы, что героем вполне может быть педофил-урод-дилер, а без пороков герой уже вроде как и не герой. Но Несбё начинал раньше. И его Харри – не красавец, завязавший (не всегда) алкоголик, *chain smoker*, мизантроп, часто одержимый насилием и всегда – хозяин целой фермы тараканов. Он плевал на карьеру, общепринятые правила и да, он может и убить. Отец – алкоголик, младшая сестра – с синдромом Дауна, сам – с усложненной личной жизнью (когда она вообще есть) – возлюбленная Рахель, приемный сын (от русского, кстати) Олег – наркоман, который чуть ли не подстрелит в конце концов Харри.

О Харри можно говорить еще долго. О Холе непонятно, явно *out of step*, идущем не в ногу, плывущем против течения. Зависимом от работы и – да, справедливости. Имеющим трудные отношения с коллегами – и с родственниками, собой, любовью. Возможно, больном (как он думает сам о себе): «тот же парень, только в другой одежде. Я думал, его звали “Джим Бим”. Я думал, его звали “рано умершая мать” или “большая нагрузка на работе”. Или “тестостерон”, или “гены алкоголика”. И может, я и прав, но если снять всю одежду с этого парня, то он окажется Харри Холе» («Полиция»). И этот разговор, возможно, будет интересней даже, чем пересказ сюжетных интриг, ведь Несбе «согласен, что образ жизни людей может быть разным, как и двужущая сила их поступков» («Кровь на снегу»).

Потому что не в этих его проблемах дело. А в том, что он слишком сложен для большинства людей. Слишком одинок. В нем слишком много углов. Слишком много тех проблем, что

взрывают изнутри. Да, он заботится о своей младшей сестренке, ради возлюбленной готов отказаться от расследований (единственного, что спасает его от виски... да и от виски он тоже готов отказаться), стал лучшим отцом Олегу и ради справедливости пойдет против своего начальства, руководства страны и самого Господа Бога, по дороге несколько раз пожертвовав своей жизнью.

Поэтому, конечно, книги о Харри – детектив прекрасный, overdrive, 200 миль по встречной с бутылкой виски и Томом Уйтсом на полную. Но это больше, чем детектив, и отнюдь не меньше, чем просто литература. Недаром тут по тексту аллюзий разбросано на порядок больше, чем вешдоков и улик на месте преступления. Да, на тот же самый старый добрый рок-н-ролл. А еще отсылки на Хема и Бука, Фитца и Фанте. На любование стилем – рубленным, как тот бифштекс, что прикладывают к синякам, лирики, нуарового триллера и тюремного романа – впрочем, времени у вас все равно мало, успеть бы дочитать 500 страниц к утру.

Проблем, если суммировать, сейчас у Холе по большому счету только две. Во-первых, Несбё слишком свободный и ищущий, серия из десяти книг с одним героем ему, можно понять, уже поднадоела, он все чаще отвлекается. То пишет серию странных детских книг (их герой, рыжий школьник Булле – такой же, кстати, ауткаст и неформал, как Харри). То сочиняет несерьезные детективы-триллеры: экранизированные «Охотники за головами», хитросплетенный «Сын», необычно короткая (нет 200 страниц), но так мрачно цепляющая «Кровь на снегу». То подумывает выпускать все дальнейшие книги под чужим именем, создав детективщика-креатуру (пока вроде не создал). А еще у него в разработке политический триллер – что было бы, захвати Россия Норвегию ради ее нефти, да и о концертах забывать не стоит. Все прекрасные вещи заканчиваются – Харри уже убивали, он уже уходил на покой, что ждет его на самом деле, не предсказать, но это вполне может быть похоже на конец. Во-вторых, и тут речь даже не о коммерческой выгоде (Несбё можно купить везде, в Норвегии он уже небольшой национальный герой, к нему пристальнейше присматривается Голливуд), а скорее об экспериментах самого автора – детективы о Харри Холе стали too big. Слишком экзотичные (из Австралии в Таиланд и Африку), слишком масштабные (вместо пистолета – базука, сжигают не в топке, а в жерле вулкана), слишком – слишком.

Повод ли это полностью перейти на «младо-скандинавов», благо хороших авторов много? Шведы Лиза Марклунд, Пер Вале и Хокан Нессер, исландец Арнальд Индридасон, датчанин Юсси Адлер Олсен, норвежец Гунар Столесен, финка Лена Лехтолайн... LiveLib по тэгу «скандинавский детектив» дает столько авторов², сколько отпусков не взять в ближайшую пятилетку. Да, они зачастую такие же закрученные, hard-boiled жесткие, о том же скандинавском независимом одиночестве и демонах. Они хороши, конечно.

Конечно, мы ждем нового Несбё.

Бибихин: но поэзия!

Владимир Бибихин. Другое начало. Издание второе, исправленное и дополненное. СПб.: Наука, 2017. 400 с

«Другое начало» – второе издание книги Владимира Вениаминовича Бибихина, без какого-либо преувеличения самого важного философа последних российских десятилетий, переводчика и трактатора Хайдеггера и, что отмечается уже не так часто, потрясающего стилиста. По сути, книга – сборник статей. Статей, рецензий, даже выступлений на симпозиумах и ответов на опрос «Искусства кино», то есть текстов как бы по случаю. Потрясающе уже то, что подобное издание, скорее всего бывшее бы собранием всего пестрого и неопубликованного, читается как самостоятельная цельная книга с очень ярким и острым даже высказыванием. Другое начало, по Гераклиту, «от всего отличное», дает, прежде всего, действительно новое основание для восприятия «своего» и «чужого», близкого и чуждого, нутряного и Другого.

Не берясь даже помыслить о попытке какого-либо анализа бибихинского космоса, не возьмусь и за описание всего мира этой книги. И лишь упомянуть хотелось бы об упоительном совершенно анализе стихотворения О. Седаковой «Деревня в детстве», синергично-паламистских выкладок С. Хоружего, софийных взглядов В. Соловьева, эстетизма, аскетизма и прозы К. Леонтьева, отношения В. Розанова к П. Флоренскому. Розанов, по Бибихину, воспринимал не людей через целое, а целое через людей, отсюда столь пристрастно-личное отношение к выразителю слишком жестких для мягкого, семейного, плотского даже розановского мира догматических выкладок. Сам же Розанов, по Флоренскому, тоже был не только слаб, семейственен и бытов – «Вас. Вас. есть такой шарик, который можете придавливать – он выскользнет, но который не войдет в состав целого мира... Бейте его – он съжится, но стоит перестать его бить, он опять возьмется за свое». Тогда как Флоренский был, говорит уже сам Бибихин, таким гвоздем. Наступил на горло своему церковному гимну во имя служения советским идеалам, то есть не так просто – проделал немислимую работу по их объединению, слиянию, синтезу. Это смог, но против сталинской системы не выстоял – он же стал для нее еще опасней, та и уничтожила.

«Флоренский почти врос. То было сверхчеловеческое усилие, перед которым бледнеют экспедиции на Южный полюс; подвиг приспособления с сохранением человеческого достоинства. Не вышло. Схватка жизни и железа оказалась слишком неравной. Хотя Флоренского пришлось выслать на мороз, на голод, на Соловки, под сырой ветер; и там он снова был готов и мог жить и работать, обрастать корнями; и тогда надо было его физически уничтожить, да не на месте, где он мог ожить, а отвезя под Ленинград, к опытным мастерам дела».

Бибихина хочется даже не цитировать, не выписывать, а – переписывать, как стихи. Как напоминание себе и другим – вот, возможен такой уровень мысли, такого понимания, такой глубины и при этом вежливого спокойствия к оппонентам, к чужой мысли, к иному мировосприятию.

Об этом и хотелось бы поговорить отдельно, на самую животрепещущую сейчас и мерзкую тему. «Патриот» или «западник», «охранитель» или «космополит», «консерватор» или «реформатор», «ватник» или «укроп» – все кавычим, потому что каждое слово очень и очень далеко мигрировало от своего первоначального значения, обрастало коннотациями, как беженец-бомж стружьями и коростой.

«Новизна ситуации в том, что заимствовать у Запада уже нечего, “западный модерн уже не предлагает моделей, которым можно и нужно было бы подражать”, “модерн сам в кризисе, речи о модернизации рискуют завязнуть на прошлой ступени мирового развития”. России

теперь придется самой искать путь решения экологических и социальных проблем, вставших перед индустриализованным обществом». Так начинается книга и дает основания заподозрить В. Бибикина в антимодернизме, антизападничестве, в том, что стало в иных местах почти неприличными словами, в патриотизме и размышлениях о судьбах России. Просто А. Дугин и традиционалист какой-то? Бибикин продолжает, говоря о Петре Первом, что западный опыт, вполне возможно, отнюдь не лучший, осознавая, думаю, прекрасно, что сам становится потенциальной мишенью для критики (про разгромные дискуссии разных лагерей вокруг довольно невинных на современных взгляд публикаций Д. Галковского в «Новом мире» и «Нашем современнике» – один из эпизодов книги). Благо критика эта по сути неизменна, началась далеко как не вчера: «перепад отчаяния-обещания должен быть полным, чтобы от абсолютной нетерпимости текущего положения дел вывести абсолютную необходимость срочной перемены. С этим тысячелетним русским настроением ничего не делается, оно остается точно тем же у Чаадаева, Ленина, Явлинского».

Да, Бибикин писал статьи, вошедшие в эту книгу, в те тяжкие перестроечные и постперестроечные годы, которые симпатий к европейского кроя реформаторам и их креатурам («еще одна денежная реформа возобновит и поддержит желанный ритм скачки. Мы дышим воздухом апокалипсиса») прибавить вряд ли могли. «Уверенность перестройки, какую бы она ни была, призвана кроме того прикрыть неопытность или растерянность организаторов». Что опять же не ново, отсылает к петровским судорожным реформам. «Фраза об ускорении сказана незадолго до прутского котла, куда армия попала по неосмотрительности. Так в нашей последней революции паруса ускорения были лозунгом перестройки до взрыва чернобыльского атомного реактора, происшедшего из-за ускорения перехода от одного рабочего цикла к другому».

Рифм у того, что пишет Бибикин, много очень и с нынешними днями – универсальное всеразмерно и внесезонно. «С тех пор прошло почти триста лет³ и снова делаются робкие попытки ввести подобие независимого суда присяжных» – до сих пор делаются, да. «Ключевский работает по векам незыблемой схеме: в этом народе все как-то не так и этот народ во всех смыслах способен на все» – согласитесь, Ключевского можно поменять на какого-нибудь современного либерального публициста. «Возможность, пошатнувшаяся, важнее свободы слова, за которой часто стоят инструкции и деньги, идущие из-за границы» – под этим точно подпишется и сейчас самый махровый «государственник». Все зависит от оптики, ее можно подкручивать, смотреть с разных сторон подзорной трубы в очках разного цвета, но суть не меняется: «для массового западного человека ужасные вещи происходили в Германии, в Китае, в России, в архипелаге Гулаг, в Камбодже, для единиц интеллектуалов – среди бела дня в Париже, в Алабаме. Для российского диссидента они были близко, для массы населения СССР – может быть в Америке, в Южной Африке. Ужасные вещи небывалого и жуткого свойства, составляющего уникальную особенность нашей эпохи, приближаются или отдаляются». «Поражает легкость, с какой власть идет на смену идейных сценариев» – вот буквально сейчас в новостях, позавчера после кемеровского пожара губернатора не снимали, а сегодня отставку одобрили. Мыслитель вспоминает с отвращением цензурные тенета Советского Союза, но, умерев в 2004 году, видит прекрасно то, что было в прошлом веке и стало в этом: «в России XX века, прикрываясь глобальными идеями коммунизма и капитализма, упрочивается безответственность важного среза общества перед судом». «Одна из побед современной уличной публицистики – внедренная ложь, будто между свободой и собранностью, демократией и строгостью надо выбирать. Они принадлежат друг другу как правая и левая рука» – а это уже ближе к собственно бибихинской позиции, к ключевому.

³ Пунктуация – бибихинская: «канцелярия велит ставить запятую перед чтобы и причастием, но насколько больше движения и смысла во фразе без этих колодок». Выход из колодок, в том числе идеологических и метафизических, – вообще главный посыл этой книги.

Потому что, конечно, умница Бибихин – ни «ватник» и не «либерал», не разделяет узости – всегда – славянофильства и западничества. «Идеологический уровень мешает вести речь о государстве на должной глубине. <...> Все, в чем есть сила и глубина, служит стране независимо от конъюнктурных политических оценок и часто вразрез с ними. Антирусскость и русофильство – одномерные отражения естественной симметрической парности и полярности живого государственного тела». У него свой подход, отношение. И он даже не как Булгаковская Маргарита, бросающая лающим на коммунальной кухне женщинам «обе вы хороши!» Ведь все гораздо сложнее, чем два лагеря, чем стенкой на стенку. «Как в основном вся русская мысль, эта гнушалась техническими приемами, доверяясь естественному языку. По мере того как полагающихся на него становилось меньше, публицистика делилась на два русла, одна становилась крикливее, другая научнее. С отчаянием истерика-инвалида одна располагается врезать так врезать, но усилие уходит впустую; размах такой, чтобы разможжить на месте, а ничего. Другая уходит от скандала в научную стерильность. Техническое философское по-русски или совсем не звучит, или угнетает. У Леонтьева много от чаадаевской воли, хотя конечно и от ее надрыва тоже. Сейчас, когда тот размах почти забыт, кувалда его мысли, когда он например не видит беды в насилии, может работать у потерянных идеологов на то смесительное упрощенчество, которое ему было хуже холеры. Сейчас почти неизбежно коротко замыкать пророчества Леонтьева на том, что наблюдается в современной планетаризации. Их более далекий замысел усмотреть трудно из-за уменьшения восприимчивости к единству поэтического и строго философского в его слове»⁴. Он, Бибихин, – и те и эти и не те и не эти. Потому что у «тех» и у «этих» слишком много плюсов и минусов, своих и чужих. «Народ без вкуса к земному устройению, без дисциплины школы, закона и порядка имеет опыт края и имеет вкус к нему, готов неготовым встретиться с предельным. Правитель знает, что с таким народом можно и нужно делать всё. Заносчивость революционных проектов отвечает народному ожиданию божественного грома. Земное устройство получается при этом кое-какое. Так, шведское административное деление, шведские должности были введены по всей России без базы шведского тогдашнего общества, без приходской общины, ячейки местного самоуправления с фохтом и выборными из крестьян, вершившими суд первой инстанции» – все это было уже при Петре Первом. Народ же, конечно, весьма особенный, не без этого: «раньше чем в снаряде, атомной бомбе и в реакторе чернобыльского типа огонь горит в глухом молчании страны, в ее режущей, сжигающей решимости: если нет рая, то не надо ничего, и пусть все мы пропадем в грязи, разрухе, голоде и свалке. Огненная райская птица велит идти до крайности ради рая, чтобы его продолжало не быть. Он смертельно пугает. Всё кроме него ничтожно». Действительно, и поныне, кажется, «русская мысль, которой не хватает вкуса к прагматической стороне существования и к развертыванию сложных структур, ищет надежную опору в признании ненадежности нормой человеческого существования».

Все, повторим еще раз, гораздо сложнее в мире Бибихина, то есть в этом мире – а он не навязывает, к стати, свое, как настоящий критик и филолог⁵, он анализирует лишь – в нашем мире. И критика либерального толка была задолго до Курбского даже, и реформы исподволь шли⁶, и пагуба тоже с Петра начало берет, и западное-русское слито было, переливалось неужи-

⁴ Да и у самого Леонтьева все гораздо сложнее, чем сейчас упрощают, загоняют, не читая, в стойла, наклеивая с чужих слов стикеры-характеристики: «К славянскому миру, к России у Леонтьева нет ничего кроме презрения, Европу же он страстно ненавидит как раз потому что хочет сорвать с ее нынешнего облика коросту прозы, пошлости, серого благополучия и вернуть ее к возрожденскому замыслу исполинского, люциферического, человекобожеского, гуманистического самоутверждения. Ненависть-любовь к Европе, взывающая к былой люциферической красоте, Булгакову слышится в словах Леонтьева, которые мы должны всё-таки услышать немного подробнее чем как их цитирует православный фантазёр».

⁵ Филологом был и Ницше, а филология в те времена – почти универсальной наукой, но это в дальних скобках.

⁶ «Здесь уместно то наблюдение историков, что собственно органическая перестройка России уже шла до Петра в сторону нетоталитаризма, разделения человеческого и божественного порядков, т.е. западноевропейской, ранней дисциплины и школы. Петр и его люди (как Иван Посошков) в таком медленном движении отчаялись. Реформы Петра были политически

данным и единым часто: «на поверхностный взгляд иностранцы в правительстве, шведские и прусские порядки, Петербург мерещатся чем-то чужим, но нет: так неожиданным путем к нам вернулась военно-монашеская закваска, без которой ничто претендующее быть историей на Восточноевропейской равнине не имеет шанса, обречено на смуту и свалку. Возможно, есть праздничные области мира, но у нас трудовая, где монастырь стоит на горе. Поэтому немец с прусской орденской закалкой всегда мог органично обрусеть».

Описав сложность процессов в их историческом многообразии даже больше, чем осудив плохое и оценив положительное в обоих лагерях, предлагает ли что-то Бибихин свое, мысль над анализом, мысль-цель? Может, как Розанов, «бежать бы как зарезанная корова, схватившись за голову, за волосы, и реветь, реветь, о себе реветь, а конечно не о том что правительство плохо»? В соединении западного прагматизма и технэ с русским перманентным состоянием метафизического предела – «пока бытийная мысль, изгнанная наукой, одна видит и осмысливает возможность, которая могла бы быть и возможностью техники: хранить бытие, оберегая его даже от нас самих»?

Неожиданнее и внезапнее ответ Бибихина – вместо православной симфонии монарха и церкви он предлагает: «Но поэзия. В опоре на мощь языка она замахивалась говорить на равных с правителями. Обнявшись крепче двух друзей, высокая поэзия и власть общаются в петербургской России между собой на языке силы далеко за пределами расхожей идеологии и на уровне, мало доступном для рационального понимания». Поэзия как Слово, как высшее оправдание, как самоотречение, как живая трансценденция здесь и сейчас в и ради небесного. «Неужели мало было страданий? Настала пора. Зря они не могли быть. Но и роды не бывают по заказу и с гарантией. Как пресны плоские соображения, как явно они толпятся занять чужое место, как уместен пророк и поэт. Дело для России идет больше чем о ней одной. Без правды и без мира, заявленных Россией, история не может закончиться. Мы еще не поняли, как просто и велико ее дело. Речь идет не о выживании, а об оправдании человека, какой он есть. Оправдать не может себя человек сам. Кто и что выше человека оправдывает человека? Без оправдания уйти с Земли человек не вправе. Отсрочить суд надолго не может. Мы щебечем о недрах, валюте, рабочей силе, когда единственной настоящей нуждой остается спасение. Себя оправдать? Всё зло делается ради этой цели. На худшие преступления идут, когда слышат справедливый укор. История продолжается потому, что жить без оправдания человек не может и принять оправдание себя от самого себя тоже не может. Правда правит историей нечеловечески сурово. Она не терпит ни умиловления, ни частного обустройства, ни отлагательств». Может показаться сейчас немного выпреним и «пафосным»: «если даже сила на время и на новую беду возьмет желанную ей силу – в немощи, бессилии, в своей темноте страна может допустить это, не обеспечена она и от последнего иссякания, нельзя и это исключить, когда вся ее жизнь будет мобилизована на ненужные цели, – то все равно поднятая подвигом Россия мысли, слова и жертвенного поступка уже состоялась в ее поэзии и вере, в предельном напряжении на краю бездны, под угрозой казни и смерти, и со своего места в истории не сойдет». Или прекраснодушным (тоже уже старорежимное слово, анахронизм!) и наивным, как о Пушкине⁷: «Храня честное желание быть со всеми, делать общее дело, поэт всегда будет любить восторг восставленного человечества, мягкой, послушной, верной природы. Тот же голос мы слышим в поэзии и теперь; то же дарение продолжается». Но все равно актуальным – «русское слово то

диктатурой, церковно – срывом тихой русской реформации XVII века в пользу государственной религии».

⁷ И у самого Пушкина «противоречия» и – синтез: «в том, что Пушкин одновременно хотел освобождения крестьян и процветания дворян, нет никакого противоречия, как и в том, что Петр, подкосив уже в который раз «бояр» и введя автоматическое дворянство служащих государству, т.е. фактически оставив дворянство только как должность, одновременно еще больше закрепостил крестьян. Так нет никакого противоречия, что разночинные, т.е. не дворянские революционеры считали освобождение крестьян катастрофой, а та власть, которая уже полностью смела дворянство и аристократию, ввела обязательную всеобщую прописку и приписку, каких никогда еще раньше не бывало в истории России».

есть. И в 1991 году мы точно знаем, что если сейчас снова в день слиняет наша свеженькая свобода собираться и говорить что Бог на душу положит, всё равно ничего не рассыплется и кто-то оставленный, забытый, ничуть не суетясь, будет продолжать делать то, что всегда делал, пока его совсем уж силой не возьмут под руки и не оттащат от стола».

Япония: приседания и потерянный ключ⁸

Конечно, плавание фрегата «Паллада» к японским берегам не было первым контактом русских и японцев. И японцев к нам закидывало (потерпевший кораблекрушение Дэмбэй был назначен Петром I первым, наверное, преподавателем японского в нашей стране), и капитан Головнин хоть и не по своей воле (японцы захватили его, когда он проводил описание Курильских островов), но два года мог наблюдать Японию из тюремного окошка. Не было и первым свидетельством в России (статью Е. Корша «Япония и японцы» Гончаров, по всему видно, штудировал), ни тем более на Западе.

Но именно таковым оно и осталось в сознании тех читателей, кто не защищался по истории российско-японских дипломатических отношений. И осталось не зря, потому что «Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова на многие годы заложил матрицу восприятия Японии в нашей стране. Да и, без преувеличения можно сказать, того образцового травелога, до вершин которого в России дойти доводилось немногим (аналогом ему на Западе по географическому и всяческому охвату я бы назвал «Путевой дневник философа» Г. Кайзерлинга). Из-за «невыездного» характера некоторых эпох нашей истории и, возможно, какого-то особого завитка в отечественной ментальности – так вот тот же автор «Фрегата» пытается своего слугу о названии мест, где он с ним побывал, ведь приедешь домой, расскажешь, а тот не помнит, как-то не первостепенно для него это...

Не говоря об упоительном стиле, которым дышишь, как экологически чистым воздухом путешествий («Много рассказывают о целительности воздуха Мадеры: может быть, действие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладостью, которой он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на берег. Я дышал, бывало, воздухом нагорного берега Волги и думал, что нигде лучшего не может быть»), «Фрегат» действительно демонстрирует все лучшие качества жанра травеложения. Тут и общественно-политический очерк – но очень умеренный, корреспондент его посланий, подчеркивает Гончаров неоднократно, все это знает или легко почерпнет из книг на полке (из «Википедии» и путеводителей Lonely Planet, только и поправить сейчас). Основы экономики и ВЭД он дает подробнее – да, тут уже материи важнее. Детально, в красках, вкусе и почти в 5D предложен и гурманолог – что ели, что пили, как на вкус, где покупать, чуть горчит херес. Шоппинг, кстати, отдельная и тоже «раскрытая» тема – где «брать», как торговаться действительный статский советник описывает, как сейчас в глянцеважурналах. И вообще вписывается в нынешний дискурс «здорового консюмеризма» – «путешествуя, следовательно, наслаждаюсь».

Да, повторюсь, он и по остальным «дискурсам» актуален так, будто вчера колонку для какого-нибудь luxигу издания для «продвинутых путешественников» писал. Так, почти вслед за Беньямином поет оду не обязательному обегу всех достопримечательностей, но утонченному фланерству: «Вообще большая ошибка – стараться собирать впечатления; соберешь чего не надо, а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй. Оттого я довольно равнодушно пошел вслед за другими в Британский музей». Признает, например, что обычный «европейский» туризм всем уже приелся, а «тянет на экзотику»: «у какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции – стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества?» Да и мало очень, замечаешь, с тех что пор изменилось: «Лондон первая столица в мире, когда сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или год, какой страшный совершается прилив и отлив иностранцев в этом океане народонаселения» / «большая часть одеты со вкусом и нарядно;

⁸ К юбилею со дня рождения автора «Фрегата “Паллада”» И. А. Гончарова.

остальные чисто, все причесаны, приглажены и особенно обриты» – Абрамовича с «Челси» и светской хроникой добавить, и хоть сейчас в печать. Возможно, «Фрегат “Паллада”» во время своего плавания через экватор попал во временную воронку (моряки пугают автора такими хитрыми штормами-воронками), как бы иначе он угадал, говоря о будущем Лондона, нынешний технологический прогресс – электронный будильник, гаджеты или печь СВЧ («...и готовит себе, с помощью пара же, в три секунды бифштекс или котлету»)?

Таким же образом, как он разобрался с основами жанра травелога, Гончаров дает и фундаментальное на многие годы описание японцев. Не очень, конечно, глубокое, с ошибками в транскрипции, без очерка религии, истории и политики, но тут оправдания существенные. Во-первых, он и не претендует, оговаривается постоянно, что «мы к вам заехали на час», описал, что увидал. Во-вторых, Япония очень скрупулезно проводила политику «сакоку», закрытия страны от «тлетворного влияния Запада» – с кондачка не попадешь, выделены порты и места для высадки «рыжебородых дьяволов», за «гайдзинами» тотальный контроль. Вот и все время пребывания в «японских территориальных водах» длится спор о разрешении там находится, пришвартоваться у рейда ближе, получить мифическое за сроком ожидания «письмо из Едо» (Эдо, старое название Токио). Так что «Фрегат “Паллада”» о визите в Японию на самом деле – описание невстречи, непосещения Японии. И тем большее восхищение вызывает Гончаров, что оставил если не настоящее пособие по особенностям ведения переговоров с японцами, то одно из самых точных и смешных описаний их ментальности наравне с японскими сценами в «Чапаеве и пустоте» В. Пелевина. Там и там – узнаешь, крикаешь от точности, смеешься и охаешь. Ну ведь правда так!

Нужно сказать о гончаровском подходе к описанию иноземных стран в целом – его бы в нынешние времена осудили (хотя, если почитать форумы и посмотреть телевизор, кто-то бы и одобрил...). Гончаров очень любопытен, иногда «очарованный странник», рад отметить рост, красоту, успехи иностранцев, но – страдает подчас от того, что сейчас бы назвали колониальным подходом, синдромом «бремени белого человека». «И японец может быть интересен, но как редко»; японцы потешно одеты, едят, о Господи, «лоскуты» сырой рыбы; слишком много кланяются, гримасничают, «косички и приседания» и вообще «все младенцы человечества любят напыщенность, декорации и ходули». Этот снисходительный подход был свойственен собственно всем, а радикально сменился только после поражения в русско-японской войне – тогда японцев у нас да и на Западе не только начали воспринимать всерьёз, присматриваться и изучать, но и, парадоксальным образом, пошла та мода на все японское, 3-ю волну которой (вторая – увлечение дзэном на Западе, работы Судзуки и все вытекающие последствия) мы можем наблюдать до сих пор. Но тогда Гончаров разделял общий промах, как и ошибся он в футурологическом взгляде на китайцев и корейцев, отказывая им в национальности, патриотизме и вообще всем.

В остальном же – хоть пролистывай японские страницы «Фрегата» перед очередными переговорами с японскими коллегами.

Гончаров начинает с того, что именует Японию «ларцом с потерянным ключом». Подобрал ли ключ сейчас, когда упростили(сь) визовые процедуры, русские уже ездят в Японию и, благодаря собственному интересу и очень настойчивым усилиям японцев по продвижению собственного имиджа за рубежом в духе «мягкой силы»? Тем более что видят теперь часто не то, что есть, но что хотят: «хоть бы японцы допустили изучить свою страну, узнать ее естественные богатства», сокрушался Гончаров, но с тех пор Япония открылась, распахнулась, волны глобализации высотой с цунами в Фукусиме накрыли ее, смыли очень многое исконно японское... Но и, заметим уже в скобках, сплав национального и космополитического в Японии сам по себе необычен донельзя. Не зря же угадал все автор «Паллады» – и что все свои обыкновения Япония позаимствовала из Китая, и что Америка излишне осваивает-подчиняет Японию в торговом плане (сейчас – политическом, военном и экономическом)...

Да бог с ней с геополитикой, когда автор «Паллады» описывает японца – «молодой человек лет 25-ти, говорящий немного по-английски, со вздохом сознался, что всё виденное у нас приводит его в восторг, что он хотел бы быть европейцем» – это социологическая проблема наших уже дней (иностранцы в Японии не любят говорить по-английски, потому что японцы просто используют их как *native speakers*, отвечают по-английски на по-японски заданный вопрос...). «Кликни только клич – и японцы толпой вырвутся из ворот своей тюрьмы. Они общежительны, охотно увлекаются новизной; и не преследуй у них шпионы, как контрабанду, каждое прошептанное с иностранцами слово, обмененный взгляд, наши суда сейчас же, без всяких трактатов, завалены бы были всевозможными товарами». Конечно, уехать из прекрасной тюрьмы хочет чаще всего молодежь, да и далеко не вся, определенная прослойка более свободных и пассионарных, но что есть, то есть – иностранец, особенно англоязычный, зачастую до сих пор такая же королевская экзотика для японцев, а заморские страны – творческая, карьерная или матримониальная мечта.

Гончаров на берегу всего пару раз побывал и под присмотром, шаг влево, шаг вправо, харакири башка, но до самых мелочей скрупулезно добрался. «От японцев никакого запаха» – действительно, пахнуть чем-либо вообще крайне неприлично, духи не в ходу, а недавняя инициатива запретила некоторым сарариманам (клеркам) есть и хоть что-либо острое в ланч.

Да, про бизнес и дипломатию с японцами у автора «Обломова», пожалуй, замечательнее всего. Сами японцы не говорят ничего – но пытаются обо всем, фиксируют и перепроверяют для дальнейшего отчета («Отчего у вас, – спросили они, вынув бумагу, исписанную японскими буквами, – сказали на фрегате, что корвет вышел из Камчатки в мае, а на корвете сказали, что в июле?»). Предметом долгих переговоров, споров, многих встреч являются полнейшие, на наш взгляд, мелочи церемониала вроде того, на чьих лодках поплывут русские на встречу с губернатором Нагасаки, на каких стульях сидеть и в каком составе делать перерыв на кофе-брейк. «На другой день рано утром явились японцы, среди дня опять японцы и к вечеру они же. То и дело приезжает их длинная, широкая лодка с шелковым хвостом на носу, с разрубленной кормой. Это младшие толки едут сказать, что сейчас будут старшие толки, а те возвещают уже о прибытии гокейнсов. Зачем еще? «Да всё о церемониале». – «Опять?» – «Мнение губернатора привезли». – «Ну?» – «Губернатор просит, нельзя ли на полу-то вам посидеть?..» – начал со смехом и ужимками Кичибе». Решить же глобальное – когда наконец русскую делегацию примет губернатор – никак нельзя без санкции сегуна и самого микадо, а резолюцию Эдо-Токио приходится ждать буквально месяцами. Это, кстати, адмиралу на «Палладе» стало уже несмешно, а в наши дни крайне замедленный *decision-making* и боязнь взять на себя ответственность за решение японского менеджмента приводили к трагическому – последствия катастрофы на АЭС Фукусима-1 можно было сильно минимизировать, будь решение о дополнительном электропитании принято раньше...

Нет, конечно, Гончаров совсем не только снисходительно критичен, он максимально – по тем временам – объективен, признает как и «глубоко обдуманную государственную систему» Японии, так и что «японцы народ более тонкий и, пожалуй, более развитой: и немудрено – их вдесятеро меньше, нежели китайцев». Подобные кирпичики еще по нашу пору в ходу, когда речь заходит о Японии.

Но сами японцы у Гончарова все равно гораздо больше любят «Обломова» – чувствительный и созерцательный герой вызывает понимание у японцев. Возможно, за его самозатворничество его даже когда-нибудь поименуют первым «хикикомори».

Другой моцион В. В. Набокова⁹

У маленького Володи – тут, кажется, русский может автоматом подставить только одного Владимира, который Ульянов, – было прекрасное детство. Рай и его изгнание – это объясняет так же много, как в истории Адама, Евы и Лилит. Он стал певцом утраченного на одном пьедестале с Прустом. «Набоковские мячики под кроватью», прочел я давно у кого-то и – уже не могу вспомнить, у кого. Это тоже симптоматично – если Ленин у Летова в знаковой песне разложился на плесень и липовый мед (а у Курёхина стал грибом – кто-нибудь уже подал грант на работу по ленинской флоре, фауне и микологии?¹⁰), то Набоков разошелся на архетипы, почти мемы. Честолюбивый донельзя, вряд ли он был бы против. Хотя, конечно, других таких же облил бы глазурью саркастических *bons mots*.

Дальше убийство прекрасного, библейского отца, и изгнания из родного дома, бегство из России – сюжеты ветхозаветные в том ключе, как переосмыслял их Байрон и другие романтики. Набоков, вооружившись вычурным даже для символистов псевдонимом Сирин, и реализует эту матрицу, полностью влезает в романтическую шинель – стихи, стихи. О которых до сих пор все вежливо спорят – графомания / нет, нравится / ок, не его, но талант плещется, гений проглядывает.

Предвоенный Берлин с женой-еврейкой, бедность, голод и литературные, интеллигентские (уроки и т.д.) заработки – *volens polens* ли, но образ складывался сам по себе. Но мы бы знали его среди писателей-эмигрантов первой волны и второго-третьего ряда, если бы он не творил мифы сам. Эмиграция в Берлине (Париже, Праге и далее нигде) – в наших читательских мозгах сейчас во многом креатура его и Газданова, Бунина и Мережковских. Масляный асфальт берлинских улиц, запах картофельного супа, фонари, бедность и изысканность, русское и европейское (тоже тема билингвы Набокова и еще какая, зачавшая тему будущих изгнанников вроде перешедшего на английский Бродского и вообще весьма тема XX века) – видим ли мы, даже походив по ним, проспекты и улочки Берлина сами или через набоковскую отчасти оптику?

Но Набоков – нынешнее вульгарноватое, но иногда и подходящее, размерное выражение – не только про гипермифы, но и про локальные. Любовь в эмиграции и пошлость обывателей – и, например, тема бытового такого сверхчеловека. Взятая не с голливудским размахом, как у аляповатого ницшеанца Горького, а опять же в макросъемке: ««Уехать бы», – тоскливо потягивался Ганин и сразу осекался: а как же быть-то с Людмилой? Ему было смешно, что он так обмяк. В прежнее время (когда он ходил на руках или же прыгал через пять стульев) он умел не только управлять, но и играть силой своей воли. Бывало, он упражнял ее, заставлял себя, например, встать с постели среди ночи, чтобы выйти на улицу и бросить в почтовый ящик окурок. А теперь он не мог заставить себя сказать женщине, что он ее больше не любит». На «Что? Где? Когда?» или «Угадай мелодию» ходить не нужно, чтобы опознать «Машеньку». Набоков вообще помнится не сплошным сюжетом, не страницами, а – таким, этим вот выброшенным в полночь окурком в мозгах за(о – тут не так благозвучно, вспомним набоковские словесные игры)сел. Архетип гения, безумия, шахматной партии со смертью? Нет, мы скорее увальня и растяпу Лужина вспомним. Помним ли мы суть претензий его к Фрейдю – или хлесткого «венского шарлатана»?

Владимир Владимирович (тут его, кроме Маяковского, подвинул еще один политик) вообще всегда был одновременно «в тренде» и нет. Символичнейшее для вызванного, как

⁹ Конкурс эссе к 120-летию Владимира Набокова журнала «Новый мир».

¹⁰ Чанцев А. Посмертная жизнь Владимира Ленина // Неприкосновенный запас. 2010, № 4 (<http://www.zh-zal.ru/nz/2010/4/ch16.html>).

злой дух, XX века «Приглашение на казнь» – и не столь важно, лукавил ли Набоков или действительно не читал «Процесс». Или даже более зловещая, ибо удушающе-интимно-замкнутая, «Камера обскура» – Фрицу Лангу, Роберту Вине или иным тевтонским экспрессионистам экранизировать только.

Ненавистник пошлости, масс, всеобщего, Набоков отклонялся в странные, свои темы, сознательно выбегал из круга, *out of step*. То роман о Чернышевском напишет, как сейчас Данилкин о Проханове, Ленине и Фоменко, то, уже будучи Набоковым и(ли) в Америке, *The Real Life of Sebastian Knight* и *Bend Sinister*. Для кого? Да, видимо, это был заход – сработавший с «Лолитой» – понравится, примостится в литературе новой реальности. Но, почтенный Владимир Владимирович, вы же умнейший человек, на какую «целевую группу» вы рассчитывали с этими романами-кроссвордами, шарадами, играми слов уже с названий начиная? Не безъязыких, как улица у Маяковского, точно уж не англоязычных наших эмигрантов, на то, что местные интеллектуалы внимательно склонятся с лупой и словарем (у самого Набокова на прикроватном столике для языкового моциона – словарь Даля) к страницам?

Тогда пришло время «Лолиты». Гениально продуманный хит. Искусственная вещь (желания и страхи обывателя, «Американская мечта», «Средний пол» и «Отчаянные домохозяйки» в одном молочном коктейле) – и то, что не могло не волновать в заветных уголках самого В. В. Та нимфетка-л(о/и)литка, о которой говорено-переговорено столько, что лучшая отечественная набокови(а)на В. Курицына так и называется – «Набоков без Лолиты».

Хит, после которого – уже мог себе легко позволить любимые эксперименты, игры с бледным холодным огнем. И дальше свои филологические изыски (перевод-вокабуляр «Евгения Онегина») и субъективность (раздавать конфетки или изящно сталкивать ликом в грязь классиков). Бегать с сачком за бабочками для имиджа, моциона удовольствия – или укрываться от репортеров в «Монтрё-Паласе». И закрученнейшую, как инцестуальный клубок отношений ее героев, «Аду», непрочтенную, как все тома «В поисках утраченного времени», и неоценённую, как Джойс до, после да во время «Улисса».

Ценен же Набоков более всего тем, где отклонялся не сознательно, не в главном, но действительно даже в самых дьявольских деталях был Другим (до изобретения товарищами-философами этого термина). Надменнейшим снобом, эстетом и франтом, как Булгаков, в жизни, и одновременно крайне плотским, как Джойс (еще один синоним-антипод Набокова, как и Кафка с Прустом. Да, он не разменивался на авторов не олимпийской весовой категории!), когда в переписке с женой о псориазе и супе¹¹. Своими метафорами. Весной в Фиальте. Самим пением этих букв, отражением букв в воображении – весна в Фиальте...

В 8 классе я так увлекся, что не мог расстаться с книгой Набокова и на уроке алгебры. К закономерно изъязвившей книгу учительницы алгебры после урока подошел с робкой фразой, можно ли мне забрать книгу. Сейчас я построил фразу иначе, в зависимости от настроения: «извините?», «можно?» или «я заберу?» Мир с тех нежных гимназических пор на Кутузовском изрядно огрубел вокруг и внутри. Тем и единично ценен Набоков с его «*the style is all I have*» и изысканностью. Которую можно перечитать. Даже не так немного стыдно и разочаровательно, как детские и юношеские книги, – действительно можно. Наверно(е).

¹¹ См. чуть далее о переписке Набокова с женой.

Мураками-70¹²

12 января в возраст почетного сэнсэя вступает Харуки Мураками, обладатель титула «японский писатель № 1 в мире». Пока не произошла полная канонизация и ему еще не вручили Нобелевскую премию (в 2018 году, напомним, из-за модных в этом сезоне сексуальных скандалов премия по литературе не вручалась, в этом же году грядет двойная порция), поздравим его с имеющимся и подумаем над причиной его популярности.

Возьмем, как лото из корзинки, не лучшую и не худшую, не раннюю и не позднюю его вещь – хотя и разнятся книги Мураками не сильно, он из тех, кто раз попал в «десятку» и по другим мишеням с тех пор не бьет. Вот сборник его рассказов «Ничья на карусели». Впрочем, в своем предисловии к сборнику – из 150 страниц! – он затянато утверждает, что это не рассказы, а чуть ли не новый жанр, некие зарисовки, услышанные от знакомых истории, он же любит слушать других, а не говорить сам...

Да, во всех без исключения девяти рассказах более или менее отдаленные знакомые или случайно встреченные люди вдруг начинают излагать рассказчику по имени Мураками какие-то самые интимные истории, трагические или странные случаи (зная скрытность японцев, верится с трудом). Мураками же – видимо, памятуя о работе за стойкой собственного джаз-кафе, когда он, по легенде, и начал писать, – из раза в раз реагирует глубокомысленными «Ну, да», «Пожалуй» и «Все может быть» (японское универсальное поддакивание «соо ка!...»).

Это прием интервьюера, «разводка» человека на рассказ о себе? Но ему особо и нечего сказать – «Мое “ну да” вовсе не обязательно означает, что я согласен с этим высказыванием. Просто готов признать существование такого взгляда на вещи». А если герой и высказывается, то звучит: «Главное – это любовь и понимание», «Смерть – особое событие». Рассказчику и собеседники по большей части неинтересны – он с трудом вспоминает их, использует, чтобы дожидаться окончания дождя («Укрытие от дождя») или возвращения жены из магазина («Ледерхозен»).

Впрочем, его можно понять – люди эти с их проблемами действительно могут быть интересны только личному психологу за немаленький гонорар. Ироничный английский эксцентрик Дж. Кокер пел, как он ненавидит common people, обычных людей. Но у Мураками это даже не люди, а архетипы современных невротиков, озвучивающие нужное любимые японские роботы. Девушка пережила мучительный развод родителей – и сама стала сильной личностью, но замуж выйти не может; другую девушку уволили, она рассталась с любовником – и пустилась во все тяжкие, но в итоге преодолела кризис; герой понял, что прожил половину жизни, и начал страдать от кризиса среднего возраста; и т. д., и т. п. Нет, это, скорее, target groups – типические случаи для тех, кто и читает Мураками. Довольно точно, надо признаться, откалиброванные для нужд потребителя – все женщины, как на подбор, сильные и незамужние, а мужчины «ходят налево», рыдают и инфантильны крайне. Ведь все это повторяет то, о чем бьют тревогу японские социологи в газетах и на ТВ, – японские женщины уж слишком прониклись западным феминизмом, не хотят выходить замуж и рожать детей, а мужчины – не желают быть опорой семьи и соответствовать своей гендерной роли. Вот и проблема рождаемости, старения населения и прочие японские «мондай».

Невротика в кризисе, одиночестве и поиске – не во всех ли книгах Мураками? Да, собрат Мураками, французский писатель №1 Мишель Уэльбек – тоже мономан, рапсод одной темы. Но эта тема – не разложение, но конец мира, не меланхолия, а отчаяние и суицид. А отчаяние – оно все же честнее, нет?

¹² К юбилею писателя.

Для них и их западных аналогов и пишет Мураками – без нюансов, языка, деталей, будто из раза в раз повторяя – да, согласен – профессионально и «с чувством» заученную джазовую меланхолическую мелодию.

Кстати, «Джазовые портреты» Мураками (название, к слову, как и имя Кадзуо Исигуро, написано катаканой, японской азбукой для заимствованных слов – такое вот шкловское «остранение» на Запад). Прекрасная идея – писатель, у которого прочтут все, даже его книгу о том, как он любит бегать трусцой, пишет о своих любимых джазменах, бескорыстно (гоно-рар не в счет) сеет добрые и вечные джазовые стандарты. Именно что вечные и стандартные донельзя. Билли Холидей, Элла Фицджеральд, Майлс Дейвис, Каунт Бэйси, Луи Армстронг, Телониус Монк и другие – да, великие навсегда, всегда *on my strereo*. Но – из тех, что слышали и знают, по имени или с двух нот, все. Из тех, что все любят – не знаете, что включить на первом свидании, поставьте винил олдскульного джаза, понравится всем (или сделается вид, что нравится). Ведь это, увы, уже давно не *music*, но – *muzak*. Та фоновая музыка, что навязла всем на геномном уровне в торговых центрах и ресторанах, скелет, симулякр музыки. Нет, я не прошу Мураками писать про гагаку или джапанойз, но все же, все же...

Да, эту джазовую мелодию, чуть разбавляя мистикой, – куда без нее, после его загадочных овец и девиц с ушами (а бывают без ушей?) читатели требуют еще. И необременительной философией, в духе того же Вербера, Коэльо и иже с ними в топах, чатах и на одних полках. *Duty free* литературы, интернет-коучей по ментальной йоге для фрустрированного среднего класса и к нему примкнувших. Такое «есть, молиться и любить».

Кстати, заметили, чем герои Мураками занимаются чаще всего и хоть с каким-то энтузиазмом? Герой, укрывшийся в своем стрессе дома от всех, почти хикикомори, самозабвенно готовит себе еду – рецепт прилагается. И то верно и метко – не только еда крайне важна на Востоке и в Японии, такой элемент тимбилдинга и материальная и не только культура сама по себе (Вы уже поели дневной рис (обед)? А что вы ели? Как вам японская еда? О, я вчера попробовал сукияки по-хоккайдски и сакэ из Аомори! А, соо ка?!..), но и – заедать стресс. Заедать и зачитывать.

Да, он не «бата-кусай» («воняющий сливочным маслом», то есть не свойственной для восточных людей едой западных «рыжебородых варваров» – термин для озапащенных вещей). Он действительно японский. И не его вина, что его герои так скучны и безлики – вопрос даже не призовой игры, вспомнить имя одного из его персонажей? Да они часто безымянны или скрываются, как в интернет-чатах, за псевдонимами – они среднее производное от массы его японских поклонников. Того общества времен упадка империи, к которым все негативные – советские ли, актуальные ли – социологические термины аккуратно подойдут. Одинокие, атомизированные, застрессованные, в скучной убивающей фирме-кайся или на вечном байто (фрилансе), отказавшиеся уже от брака, даже секса (см. исследования вроде бьющих тревогу производителей презервативов, возлагающих надежду лишь на грядущую олимпиаду в Токио). Ведь, да простят меня в Японии, 90 процентов японцев – винтики и те гвоздики, которым не след высовываться (японская поговорка про выпирающий гвоздь, которому не поздоровится), да они и не хотят. И 10 процентов – действительно интересных, сумасшедших, тех, кто вдруг срывается и едет учиться в Англии, волонтерить в Лаосе, тусовать в Туркмении, кто снимает, поет и сочиняет то, за что мы действительно любим Японию. Читают ли они сами Мураками, кстати? Те, кого пытал я, предпочитают, например, Осаму Дадзая и Арсения Тарковского, а на обоих Мураками, Харуки и Рю, понимающе снисходительно-извиняющиеся фыркают.

Кстати, корень «кайтэн», составляющий слово «карусель», чаще всего звучит в другом слове – «кайтэн-дзуси», то есть ресторан «конвейерных суси», когда посетители сидят вокруг круглой стойки, а перед ними на механической ленте проезжают разные суси «на любой вкус». Берешь любимые, потом платишь по количеству блюдецек. Есть такие заведения и в Москве. Надо ли говорить, что заведение это уровня среднего общепита? Не Мишлен и не то кафе на

три столика в глубине квартала, найти еще надо, где готовят семейно, к тебе, если расположится, подсядет шеф, нальет бесплатно пива, выпьет сами. И состоится задушевно-анонимная беседа, прямо по Мураками?

С днем рождения, сэнсэй! Живите долго, пишите меньше!

Вопрос Б

**Сэмюэль Беккет. Опустошитель / Пер. с фр. Е. Баевской;
пер. с англ. П. Молчанова. М.: Опустошитель, 2018. 224 с**

Местоположение Беккета среди известных писателей-билингв наравне с Конрадом, Чораном, Бродским и другими известно. Не настолько, кажется, в общественном сознании присутствует тот факт, что переход на другой язык, кроме понятных биографических обстоятельств, имел важное текстологическое значение для писателя, менял, иначе калибровал поэтику произведений. Переводом которых занимался сам ирландский беглец во Франции (переводили, конечно, его и обычные переводчики – Беккет изводил их требованиями, редактурой и переписыванием собственных вещей) – в книге даже приводится шутка-фактоид о том, как Беккет просил ему напомнить, на каком языке, английском или французском, он изначально написал свою вещь.

Этот пучок обстоятельств и сподвиг составителей и издательство «Опустошитель», названное когда-то именно в честь этого рассказа-новеллы Беккета, на не очень частый у нас и интересный эксперимент – издание одного произведения в переводе с двух языков. Детали, нюансы и оттенки переводов стоит оценить читателям, но даже смысл названий – *The Lost Ones* и *Le Déreupleur*, Потерянные и Обезлюживающий (Опустошитель/Дегуманизатор даже) – это, как говорят в городе Ришелье, две большие разницы или четыре маленьких. Я бы проголосовал за более экзистенциально жесткий и при этом сухо поэтичный перевод с английского – а, как наострились спрашивать SMM-щики в блогах, как вам?

«Вокруг престарелого смирившегося из третьей зоны теперь только такие же неподвижные и согбенные по его образу и подобию. Кроха которую все еще стискивает светловолосая женщина сейчас не более чем тень на ее колене. Видимая спереди рыжая голова опущена до предела открывая взору часть макушки. И вот этот самый последний если это мужчина открывает глаза и некоторое время спустя прокладывает путь к этой первой из смирившихся столь часто принимавшейся за ориентир» (от запятых Беккет избавился в обеих версиях – еще сложность для восприятия и богатство семантических обертонов). Духота описываемого Беккетом места нигде-и-никогда, вкус «грязного мартини» и – сознательно ли закладывал сюда Беккет смутные, как вся его, особенно поздняя, проза и драматургии, аллюзии на Рождество и поклонение волхвов? В ту эпоху после религии, после человека и после всего, страх и опустошение от которой он описывает.

И про толкования Беккета – больше половины книги занимает статья Анатолия Рясова о Беккете. Тут действительно стоит снять шляпу (шляпа-котелок не раз фигурирует в беккетовском «Уотте» – можно снять ее). Не только потому, что беккетиана на русском вообще не отличается шибким объемом и разнообразием. Здесь же сбалансированно, без отступлений и вообще лишнего нам дается все, что вы хотели спросить и знать. Биография Беккета. Очерк его книг. История их переводов и само-переводов. И попытка их экзегезы. С очерком всего, что рядом с именем Беккета и необходимо для непростой весьма задачи по пониманию Вопросы Б. Будь то Хайдеггер и Беккет, Беккет и театр абсурда, Беккет и (пост)структурализм и вообще новая и новейшая философия (А. Рясов, возможно, справедливо считает, что ближе всего к адекватной трактовке Беккета подобралась философия, ведущие хотя бы разговор с конгениальных, по выражению Чорана, «вершин отчаяния»).

Или Беккет и постмодернизм даже – здесь хорошо видно, что разговор не только о беккетианской текстологии и частностях, но и об очень больших и важных вещах. «Постепенно интертекстуальность, включающая в себя в качестве подвидов пародийность, цитат-

ность, стилевое многообразие и т. д., начинала восприниматься массовым сознанием как синоним постмодернистского стиля. Причем в эту парадигму заранее оказывался включен и каждый новый манифест, провозглашавший раскавычивание кавычек, восстановление беллетристической сути, рассказывание истории заново, новую искренность и т.п. В нескончаемом диалоге прошлого с будущим проблемы конца литературы и невозможности письма все чаще начали представляться как чрезмерное сгущение красок и как будто бы исчезали. И одновременно в филологических исследованиях, ассоциировавшихся у большинства читателей с постструктуралистскими технологиями, в качестве наиболее популярных методов прочно утверждались принцип аналогий, интерпретации одних литературных текстов через другие, нескончаемый поиск литературных параллелей и т.п.».

Не поспоришь. Как и с тем, что Беккет – это скорее из областей постлитературы, к которым с обычным филологическим инструментарием так просто не подойти. Посему и переводы с двух языков тут в помощь.

И вновь продолжается логика сна¹³ **(об 1 сцене в «Воскресении» Л. Толстого)**

Не будет, вероятно, ошибкой назвать одной из ключевых, опорных точек второй части «Воскресения» Толстого сцену в 37 главе (у Толстого цифры римские – можно заметить, как они не дожили до наших времен), в которой Нехлюдов следует за телом умершего от солнечного удара заключенного из этапа, которым шла Маслова. Пролетка с трупом едет мимо пожарной части, останавливается у полицейской, труп выносят. Нехлюдов следует за ним. Формально для этого есть основания – он отдал своего извозчика. Но дальнейшие перемещения выглядят уже странно. Покойного освидетельствовал фельдшер, его, как в какой-нибудь комедии положений, постоянно перемещают, не дают *покоя*. В приемном покое сумасшедший из больных пристает к Нехлюдову. Да если и не сам герой, то вся сцена проникнута духом некоторого безумия, легкого кошмара. В ней точно отсутствует видимая логика:

«Сумасшедший, вода бровями, стал, очень быстро говоря, рассказывать, как его мучают внушениями.

– Ведь они все против меня и через своих медиумов мучают, терзают меня...

– Извините меня, – сказал Нехлюдов и, не дослушав его, вышел на двор, желая узнать, куда отнесут мертвого.

Городовые с своей ношей уже прошли весь двор и входили в подъезд подвала. Нехлюдов хотел подойти к ним, но околоточный остановил его.

– Вам что нужно?

– Ничего, – отвечал Нехлюдов.

– Ничего, так и ступайте.

Нехлюдов покорился и пошел к своему извозчику. Извозчик его дремал».

Логика нехлюдовских движений не линейная, если рисовать ее траекторию, то получится бегство преследуемого от преследователей, зигзаги, повороты, петляния зайца со сворой борзых на хвосте, приводящие в итоге в тупик. Проще всего ее описать состоянием ажитации, бреда. Подобная моторика – онейрического свойства, когда не человек управляет собой, но неведомая логика сна диктует поступки, выстраивает композицию и маршруты. Так из одной в другую локацию попадал герой «Америки» Кафки или «Старухи» Хармса, одних из самых сновидческих книг, или преследовал дьявола (который водил его за любопытный нос – вспомним одного мемуариста о том, как Булгаков при выборе сыров обнюхивал их «своим лисьим носом») Иванушка Бездомный.

Между тем, у суетливого следования Нехлюдова за трупом есть свой высший мотив. Духовные изменения, воскресения в нем успешно продолжают свою трудную и неоднозначную, как старания разнорабочих на платоновском котловане, работу, он укрепляется в своем стремлении начать новую жизнь. И не только фактически (раздает свои земли, помогает арестованным, следует за Масловой в Сибирь), но и, что, возможно, едва ли не сложнее в привычном ему кругу, среди родственников и знакомых, свои взгляды он открыто высказывает тем, кто почти крутит пальцем у виска за его спиной и полощет его в светских сплетнях. Главная же сплетня того сезона, которую Нехлюдову пришлось услышать многожды, была про смерть единственного сына некоей благородной женщины на довольно несурзадной дуэли. Нехлюдов же, очевидно, умирает для мира, но воскресает для жизни вечной. В терминах Григория Сковороды – мир ловил его, поймал, но Нехлюдову почти в последний момент удалось разорвать силки и выбраться на волю. «Мы уйдем из зоопарка», по Егору Летову, почти буквально: из

¹³ К 120-летию со дня публикации последнего романа Толстого.

богато обставленной квартиры – в скромную обстановку, из города – к крестьянам, из метрополии – в Сибирь. Опираясь пространственной лексикой, можно вспомнить христианский термин метанойя – «изменение ума», отвергающее прежний уклад обращение к Богу через покаяние.

Но метанойя эта, как современные счетчики воды или (само)идентификация в Facebook, двухфакторная. Изменение происходит, обеспечено – абсурдом (здесь, кстати, уже прямая аналогия с дзэн-буддизмом, где сатори-просветление достигается путем решения не имеющих решения загадок-коанов или же великий сэнсэй в нужный момент палкой по башке огрел, все ненужные мысли повыпадали, дхьяна или «состояние одной мысли» утвердилась).

Абсурд первый – если Нехлюдов немного протрезвеет (а у него как раз бывают такие моменты) от своего прекраснодушного увлечения идеалом служения и исправления, то поймет, что все его усилия что-либо изменить в обществе и окружающих не имеют смысла. Он отдает свою землю крестьянам – те видят в этом подвох и отказываются; в сидельцах и Масловой он их человеческую природу изменить также бессилён, а уж про реформирование общества, судов, классового строя и говорить смешно. Сам Толстой, кстати, с осторожностью строит свои прогнозы: «С этой ночи началась для Нехлюдова совсем новая жизнь не столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что случилось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение. Чем кончится этот новый период его жизни, покажет будущее». Дескать, пока все хорошо, тьфу-тьфу, не сглазить, но давайте, товарищи, не впадать в излишний оптимизм, ничего пока не могу обещать, жизнь покажет.

Другой абсурд это, очевидным образом, то государство, что Нехлюдов, как позже тот же Летов, стремится убить в себе¹⁴. И эта сцена этапа из города (city) в Сибирь – ее апофеоз для Нехлюдова. Незадолго до этой главы он высказывался о том, что не верит в суды, тюрьмы, тюремных и прочих священников¹⁵, в то, что кого-то может исправить тем, что тот сидит и получает, не работая, питание в тюрьме или за 500 казённых рублей перемещается из Курской губернии куда-то за Урал. «Что ж, пришли подивиться, как антихрист людей мучает? На вот, гляди. Забрал людей, запер в клетку войско целое. Люди должны в поте лица хлеб есть, а он их запер; как свиней, кормит без работы, чтоб они озверели», еще пуще радикализирует этот дискурс в разговоре с Нехлюдовым арестант-сектант. Отметим в скобках и ветхозаветный, в духе «око за око», максимализм и самого Нехлюдова – что физическое наказание за физическое же преступление может исправить, он при этом верит. Сцена же этапа, повторим, апофеоз этой не исправляющей системы исправления нравов: «Ведь все эти люди – и Масленников, и смотритель, и конвойный, – все они, если бы не были губернаторами, смотрителями, офицерами, двадцать раз подумали бы о том, можно ли отправлять людей в такую жару и такой кучей, двадцать раз дорогой остановились бы и, увидав, что человек слабеет, задыхается, вывели бы его из толпы, свели бы его в тень, дали бы воды, дали бы отдохнуть, и когда случилось несчастье, выказали бы сострадание. Они не сделали этого, даже мешали делать это другим только потому, что они видели перед собой не людей и свои обязанности перед ними, а службу и ее требования, которые они ставили выше требований человеческих отношений».

¹⁴ Надо ли говорить, что в советские времена расхождение человека и государства и тенденции к эскапизму лишь усилились: «Эти отношения (между советскими гражданами и системой. – А. Ч.) строились на частичном смещении человеческого существования как бы в иное измерение – находясь внутри системы и функционируя как ее часть, субъект одновременно находился за ее пределами, в ином месте». Юриак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: НЛЮ, 2014. С. 257. Впрочем, «антисоциальное поведение» свойственно для обществ любых формаций – можно вспомнить западных дауншифтеров или японских хикикомори...

¹⁵ Ленин был чуток, отмечая полный анархизм Толстого, когда тот «обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, выразил непосредственный и искренний протест против общества лжи и фальши». Ленин В. Предисловие // Толстой Л. Воскресенье М.: Художественная литература, 1977. С. 2. Любопытно, что стихийные анархисты Летов и Лимонов к солидным годам стали имперцами, государственниками, Толстой же под конец жизни убежденно отравился на борьбу с левифаном-государством.

Это уже логика кафкианская не «Америки», но «Процесса» и «Замка». Но все равно логика сна. Как во сне не мы выстраиваем наши отношения с реальностью, но реальность вписывает нас в свой сценарий, так и тут человек бесправен, зачеркнут логикой общества, та вообще алогична – полагается погнать сегодня в жару, погнали, в результате только потеряли время из-за умерших в пути. Еще постоят на жаре, еще умрут – то же брожение вокруг Замка без исхода, топтание на одном месте без цели. И сон все не заканчивается.

Цель выдумывается Нехлюдовым, но, как мы видели выше, стараниями подопечных крестьян и арестантов тут же опровергается. Одновременное крушение двух нарративов, тем более действительно крайних и противоположных, выжигает привычное мышление Нехлюдова, приводит его к полупросветленному состоянию и заставляет алкать жизни нового века. Но не очередная ли картинка в калейдоскопе сна? Ведь «nothing changes on New Year's day», как пели U2.

И человеческая жизнь оказывается все так же нагруженной массой лишних, не нужных для истинной жизни, но крайне коверкающих, уродующих жизнь даже повседневную надстроек, деталей. «Может быть, и нужно укладывать камнями выемки, но грустно смотреть на эту лишенную растительности землю, которая бы могла родить хлеб, траву, кусты, деревья, как те, которые виднеются вверху выемки. То же самое и с людьми, – думал Нехлюдов, – может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно видеть людей, лишенных главного человеческого свойства – любви и жалости друг к другу».

Если про метанойю Нехлюдова и даже сопутствующее ему преобразование Масловой можно питать осторожный оптимизм, то с главными человеческими свойствами ничего не изменилось. Только те живые камни, у которых была возможность к преобразованию и вознесению¹⁶, стали мертвым асфальтом и плиткой.

¹⁶ «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

Копать бездну¹⁷

Г. Гачев в «Образах Божества в культуре» пишет о России, что она «страна равнин и степей, без значительных гор, так что Природа как бы отказала ей в вертикали бытия. И вот, как бы в компенсацию за это отсутствие, в России в ходе истории выстроилась искусственная гора гигантского Государства с его громоздким аппаратом». А я думал, продолжит, что выстроилась гора духовного и культурного. В целом же, вполне можно, кажется, с Платоновым сравнить, как его герои копают котлован – тут и катакомбность (революционеры еще вчера, создатели нового мира в катакомбах, как первые христиане), и анти-государство (государство новое, советское против государства прежнего), и борьба против духа (не вверх, в рай, а вниз), и андеграунд (которым был, стал Платонов и его, как сказали бы сейчас, фрики и маригналы, а раньше – сказали бы прекраснодушные и мечтатели, по отношению к официальной социалистической культуре), и вообще бездна смыслов открывается, пока они копают.

А вот в другом месте уже предсказуемо Гачев, но и неожиданное в предсказуемом. О женских ипостасях России: «Ведь еще в “Слове о полку Игореве» битва как свадьба описана, как смертельное соитие. Если германская тактика – “свинья,” “клин” = стержень, то русская – “котел”, “мешок” – как вагина, влагалище». О женском начале в битве, в – смерти.

Эти процессы конечны. Но не в России, где даже самые конечные процессы (смерть) отличает незавершенность. И Гачев пишет о незавершенности как эмблеме России – романы («Мертвые души», «Евгений Онегин») и процессы («путь-дорога»). Не завершено же у нас действительно все – планы («пятилетка», «500 дней»), реформы, контрреформы. Их начинают и забывают. Главное даже не процесс (процесс, «Процесс» – это к точной протестантской Европе, озабоченной результатом) даже, а – посыл, позыв, лозунг, энтузиазм, всеобщая «тотальная мобилизация» (привет Юнгеру – Россия и Германия недаром всегда равнодушны друг к другу были). Символом обоих – незавершенности и энтузиастического подъема, замаха на эту незавершенность – и являются работы, проводимые по строительству котлована, артель номер такая-то, ответственный такой-то, как сейчас пишут на табличках на всех огороженных строительствах (огорожена всегда вначале – пустота, начинается все – с ямы, пустоты под фундаментом). И контактные данные, и срок завершения работ. Но тут – знак бесконечности, ибо даже если напишут точную дату, каждый понимает, что это ничего не значит. Как время в Индии, Таиланде или арабских странах – сказано, в 10 начнется мероприятие, значит, в 10 можно неспешно кофе заказать. Ведь времени нет. Но там, на Востоке, это к благу, неге и тотальной растворенности в бытии, у нас – очередная эпоха убита, время зачеркнуто, а новое еще только планируют создать. Когда-нибудь. Пока же – «бездна, звезд полна».

Тут ведь действительно космос. «В России обратная связь слаба: лишь из центра и Государства импульсы, но не слышна реакция ни Природы, ни Народа, ни Личности, ни Жизни», пишет Гачев, опять о другом, кстати, по ходу, по ходу мысли, говорения, как философствовали лучшие, те же его современники В. Бибахин и М. Мамардашвили. Да, сигнал, будто с нашей планеты внеземному разуму послание передается, он рассеивается, в Москве звучит децибелами фоновой музыки muzak и белого шума, к Сибири, даже к Соловкам полностью рассеивается, становится radio silence (привет по-буддийски просветленному БГ). И земля котлована здесь значима. Земля нема. Она может только поглощать. Как та же вагина, как могила (итоговый образ – *vagina dentata*, «nobody gets out of here alive», а если и выберется живым, то совсем не прежним, измененным, инициированным). Бог или Роза Люксембург у Платонова тоже остаются немые, как земля, – люди копают свой анти-рай, мечтая о рае коммунистическом, могилу старому, фундамент новому, но знака принятия и правильности не получают.

¹⁷ Конкурс эссе к 120-летию Андрея Платонова журнала «Новый мир».

Апостасийно брошенные, они продолжают, рождая смысл и порыв в своих голодных телах. По сути, – снова вспомним Кафку – они копают ров вокруг Замка, делая недостижимое еще более недостижимым. Копают большую канаву, в которую зачем-то повернут потом, например, море. Возможно, будущий Беломорканал (Платонов просился в поездку писателей на стройку, его не взяли) тут узники своими костями уже завтра будут рыть.

И рытье, раскопки эти продолжают до сих пор. Россия ныне же занята – добычей углеводородов (газ, нефть – и это заметили все, от Парщикова про нефть до «время пахнет нефтью» Летова), сокращением/обнаружением доходов (люди прячутся и сбегают, государство вóдой догоняет и возвращает – процесс тоже метафизически долгий и пустой), уходом от санкций, уходом от международного (вышли из договора, не признали решение международного суда и т.д.) в свою норку. Наша страна – бескрайнее поле, по которому проносятся дикие охоты, от которых люди, души-джан закапываются в норки. Или могилы. Вообще, при всей метафоричности Платонов – это вечная отрицательная гипербола, литота, уменьшение, работа с масштабным (стройка века! паровоз!), но – копание с мельчайшим, сломом, трещинкой чувства в самом маленьком человеке, с прахом, ростком. Не о пустыне, но о черепашке в ней, о почти замёрзшей внутри панциря ее джан, «душе, ищущей счастье». С опустевшим панцирем будет играть ребенок – который только и мог бы лепетом передать что-то о Платонове.

Люди копают котлован, Бог молча смотрит на это дело, только вот Платонова нет сейчас описать процесс этот бесконечный. Отсутствие, пустота состоялись – хотя бы один процесс завершен...

Шатобриан – могила, разверстая в будущее

Споры о том, кого числить предвестниками и соратниками постмодернизма, является ли «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Лоуренса Стерна первым предпостмодернистским романом (еще и с элементами «потока сознания»), – не утихают и после того, как многие из споривших потоптались в очереди бросить горсть земли на могилу с пустым гробом По Мо. Но «есть могилы, которые вечно остаются разверстыми» – Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) в своих «Замогильных записках» предвидел и подобное развитие событий.

Да, можно возразить, что в книге объемом в 2784 страниц (галлимаровская серия «Библиотека Плеяды»¹⁸) можно найти все. Но практически все и в любых аранжировках можно обнаружить и в отечественном, сильно сокращенном переводе¹⁹ – всего 736 страниц, весом 945 гр. (спасибо всезнающему «Озону», манеры которого иногда напоминают рыночного торговца – состояние хорошее, обложка такая-то, доставим завтра, скидочку дадим).

Цитата для библиофильской викторины – кто это высказался про космополитизм, мультикультурность и европейский миграционный кризис? «Было сказано, что город, все обитатели которого будут равно наделены и имуществом и образованностью, явит взглядам Божества картину, превосходящую ту, какую являли города наших отцов. Нынче всеми овладело безумие: люди жаждут привести народы к единообразию и превратить род человеческий в одного-единственного человека; пусть так, но, приобретая всеобщие свойства, не утратят ли люди целую череду частных чувств? Прощай, тихий домашний очаг; прощай, прелесть жизни семейственной; среди всех этих белокожих, желтокожих, чернокожих созданий, нареченных вашими соотечественниками, вы не найдете брата, которому сможете броситься на шею. Неужто не было ничего хорошего в прежней жизни, в том маленьком клочке земли, который вы видели из обрамленного плющом окна? За горизонтом вы угадывали неведомые страны, о которых вам рассказывала перелетная птица, единственный путник, какого вы встретили по осени».

Можно попробовать «запостить» с вопросом об авторстве и получить Дугина, Уэльбека, Доминика Веннера или еще кого-нибудь «более махрового, более одиозного» («Василий Розанов глазами русского эксцентрика» В. Ерофеева и есть подобный «Что? Где? Когда?» с атрибуцией неизвестного автора).

Или вот. «В Новом Свете я встречаюсь с Вашингтоном; я удаляюсь в леса; уцелев при кораблекрушении, я ступаю на берег родной Бретани. Меня ждут тяготы солдата, нищета эмигранта. Во Францию я возвращаюсь автором “Гения христианства”. В изменившемся обществе я нахожу новых друзей и теряю старых. Бонапарт встает на моем пути с окровавленным телом герцога Энгиенского и останавливает меня; я также останавливаюсь в своем рассказе и провожаю великого человека от его колыбели на Корсике до его могилы на острове Святой Елены. Я участвую в Реставрации и вижу ее конец. Таким образом, мне были ведомы и общественная и частная жизнь. Я четырежды плавал по морям; я двигался вслед за солнцем на Востоке, бродил среди развалин Мемфиса, Карфагена, Спарты и Афин; я молился на могиле святого Петра и поклонялся Господу на Голгофе. <...> Из французских авторов моего поколения я едва ли не единственный, кто похож на свои произведения: путешественник, солдат, публицист, министр, я воспевал леса в лесах, живописал Океан на корабле, рассказывал о сражениях в военных лагерях, познал изгнание в изгнании, изучал властителей при дворе, политику в должности, а законы в собраниях». Тут чуть-чуть подрихтовать евроремонтом осовременивания и – легко

¹⁸ <http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Memoires-doutre-tombe-I-II>. Сходные объемы планировались и героем «Тристрама Шенди»: «...сочиняя и выпуская в свет по два тома моего жизнеописания в год».

¹⁹ *Де Шатобриан Франсуа Рене*. Замогильные записки. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1995 / Пер. с фр.: Гринберг О., Мильчина В. Далее все цитаты по этому изданию.

выдать за вечно автобиографического Лимонова, подпишется и Прилепин, в последнем романе «Некоторые не попадут в ад» живописующий свою войну, свои поездки по Европе и ужин с Эмиром Кустурицей и Моникой Беллуччи.

А уж совсем – после весьма заинтересованного описания путешествия по Штатам и достойного мемуара о встрече с Дж. Вашингтоном – радикальное, в духе того, что «не следует искать в Соединенных Штатах того, что отличает человека от других тварей, того, что сообщает ему бессмертие и украшает его жизнь: вопреки стараниям множества преподавателей, трудящихся в бесчисленных учебных заведениях, словесность новой республике неведома. Американцы заменили умственную деятельность практической; не вменяйте им в вину их равнодушные к искусствам: не до того им было»? Михаил Задорнов мог бы такое со сцены в поздние годы сказать.

Опять же найти у старинного автора цитату про современность – игры еще 1–2 курсов²⁰. Тем более что Шатобриана с его взглядами для критики современности привлекать просто милое дело. «Нашествие варваров сменилось нашествием идей; современная разложившаяся цивилизация гибнет по своей вине; жидкость, содержавшаяся в сосуде, не излилась в другую чашу, ибо самый этот сосуд разбился» – привет Чорану, еще Кутзее, передающим привет Кавафису. «Демократия затопляет их; они поднимаются все выше и выше, с первого этажа под самую крышу своего дворца, откуда выбросятся через слуховые оконца, надеясь спастись вплавь. <...> Что касается старой Европы, то жизнь ее кончена. Больше ли надежд у молодой Европы? Современный мир, мир, лишившийся власти, данной от Бога, похоже, находится меж двух невозможностей: невозможностью прошлого и невозможностью будущего» – это уже очевидно традиционалистская линия, идущая от Генона и Эволы ко всем, кто к ним пожелал потом обратиться, плюс мизантропический скепсис Чорана, плюс высокая меланхолия Юнгера, плюс пафос католического возрождения.

Но – закончим с воззрениями Шатобриана в двух абзацах, да (никогда не) простит он – и со взглядами у него все гораздо тоньше, кстати. Тот же, например, Жозеф де Местр в «Рассуждениях о Франции» и других книгах гораздо более скорбит об утрате «истинно католических ценностей», больше делает для их возрождения – поэтому те же традиционалисты почти однозначно голосуют за него в качестве истинного предшественника правых. А вот со старым лисом Шатобрианом сложнее. Он, рыцарь и джентльмен, не устает повторять, что служит старому – тем королям, что свергли, тем политикам и друзьям, что в опале и на плахе, старому христианскому Богу. Но – ортодоксальность у него все же не обнаружить. Есть гибкость (модное *flexibility*), трезвый скепсис и горькая вера в одно. «Христианство, неколебимое в своих догматах, подвижно в своей мудрости; перемены в нем объемлют перемены всемирные. Когда оно достигнет наивысшей точки, мрак рассеется; свобода, распятая на кресте вместе с Мессией, вместе с ним сойдет с креста; она вручит народам тот новый завет, что был составлен в их пользу и поныне не вступил в силу. Правительства уйдут, нравственное зло исчезнет, оправдание человека возвестит конец эпохи смерти и гнета – плода грехопадения. Когда же наступит этот долгожданный день? Когда в обществе вновь восторжествует животворящий принцип, чье действие покрыто тайной? Никто не может этого сказать; невозможно исчислить силу сопротивления страстей. Смерть не раз поразит род человеческий, не раз прольет молчание на события, – так снег, выпавший ночью, заглушает скрип колес. Народы не растут так быстро, как отдельные люди, из которых они состоят, и не исчезают так стремительно. Сколько приходится ждать одного-единственного свершения!»

Мне же действительно кажется, что гораздо интереснее не взгляды Шатобриана, но то, как он их подает, вся обертка: стиль, композиция и даже писательская стратегия.

²⁰ Вспомним обыгрывание у Стерна *argumentum ad ignorantiam* – риторического довода, рассчитанного на невежество.

А она занимает достойное место в синклите литературно-исторических анекдотов. Свои финальные, обличительно-исповедальные «Записки» Шатобриан намеревался издать изрядно после смерти. Он и могилу себя загодя купил (французов он жаловал не сильно, немцев, впрочем, костил тоже – возможно, ему бы понравились японские control freaks), то есть – за заслугу перед местной администрацией получил. А право на издание книги после заселения оной могилы пристроил издателю – за гонорар и пожизненную ренту. Но долги и другие издатели подвели – пришлось печатать частями в газете не первой свежести. «Заложил собственную могилу». Но и тут Шатобриан обхитрил всех, защищая свое авторское право, – он переписывал уже вышедшие части, обещая «всю правду» только *post mortem*.

Отсюда главам предшествуют двойные надписи «Париж, 14 апреля 1846 года» и – «Просмотрено 28 июля 1846 года». Настоящая *work in progress* отсылает к временной многослойности книги. Милая всем постструктуралистам деконструкция и опоязовское остранение. «Память моя беспрестанно противопоставляет мои странствия моим странствиям, горы горам, реки рекам, леса лесам, и жизнь моя разрушает мою жизнь» –вспоминая реку во Франции и Италии, он отмечает (Прусту далеко!), как при этом вспоминал реки в Америке. Итого уже три времени, плюс «просмотрено»–четыре. «В лесах Америки я не раз вспоминал на закате комбургские леса: мои воспоминания перекликаются одно с другим» – плюсуем еще и прием «обнажение приема». Структура уже далеко отошла от ностальгирования романтиков и дышит в затылок постмодернистским играм с темпоральным, понимаешь ли, дискурсом.

Если еще не хватает «цветущей сложности» (термин, кстати, еще одного «махрового и одиозного» – К. Леонтьева), то преломленный временной сеткой нарратив подается с различнейшими интонациями-настроениями: будто для фотографии перед постингом фильтры скролишь. Куртуазный и сентиментальный, саркастичнейший и законченный пессимист, Шатобриан с элегического мемуара перескакивает на грозный политический памфлет, альковный подвиг тут же занижает констатацией *de vamtatt mundi et fuga saeculi*²¹ в духе Паскаля-Экклезиаста, похвальбу о политических и личных достоинствах «отбивает» перечнем своих пороков и констатацией стоической скромности.

Возможно, именно структура на самом-то деле фраппировала своей нарочитой непривычностью современников, не желавших скрывать свое раздражение от личности Шатобриана, ее подачи и вообще интенций этой книги. Ведь против сонма (и русских там множество) его поклонников – веские голоса: Жорж Санд и Кюстин (будто не «язва» сам!) бранили Шатобриана за отсутствие сердца и морали.

Сам же Шатобриан из коллег-писателей (про политические битвы – отдельная тема, он почти в лицо критиковал благоволившего к нему несмотря на противоположные взгляды Наполеона, а вот буквально одна из характеристик Талейрана – «ленивый и невежественный, беспутный по натуре и легкомысленный по духу») больше всего сводит счеты с Вольтером и – Руссо. Понятно, конечно. Писатель, мыслитель и публичная фигура, которую Шатобриан готов признать примерно равной собственной и – прямой конкурент с его «Исповедью». Тут Шатобриан даже сдерживает ехидство, лишь скупой меткой перечисляя пороки Руссо-человека, перешедшие к Руссо-писателю (пишет о своих кражах, интрижках, онанизме и гомосексуальном в автобиографии). И очень интересно следить за тем, как оба камуфлируют свои интенции. Руссо говорит, что его книга де – индивидуальный вариант «книги судеб», полный и беспристрастный отчет, хоть сейчас на Страшном суде при входе готов предъявить²². Шатобриан же хитрее – тоже, дескать, ничего не скрывал, судить читателю, при этом плохое особо не выпя-

²¹ «Суетность мира и быстротечность жизни» (лат.).

²² О руссоистской традиции автобиографической интенциональности см.: Лежён Ф. Руссо и автобиографическая традиция // Новое литературное обозрение. № 157 (3/2019) ([https:// www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/157_nlo_3_2019/article/21140/](https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/157_nlo_3_2019/article/21140/)).

чивал (вредно о вредном читать), просто сохраниться в тексте в веках хочет²³. И миролюбиво резюмирует: «Впрочем, ошибочно полагать, будто революции, великие несчастья, знаменитые стихийные бедствия – единственная летопись нашей природы: каждый из нас поодиночке создает цепь всеобщей истории, и из этих-то отдельных жизней и складывается мир человеческий, как он предстает пред очами Господа».

Ради «Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский» городить тысячу страниц – возможно, конечно. Но, опять же, структура говорит о том, что намерения похоронили первоначальный замысел, то есть – замысел превзошел, вырвался на волю, зашкалил вообще в стратосферные дали. (Хотя не стоит думать, что у Шатобриана просто так удачно «получилось» – еще по поводу небольшого «Атала» он писал, что «боролся с принципами старой литературы и философии, прибегнув уже не к роману, но к рассуждениям и фактам».) Книга Шатобриана, в принципе, открыта любым интерпретациям и прочтениям (вспомним образ разверстой могилы). Читающиеся и сейчас на одном дыхании (только завидовать современникам, для кого они по актуальности были равны посту в Фейсбуке) «Былое и думы» тут воистину «отдыхают» – в «Замогильных записках» мы находим мини-ЖЗЛ Наполеона в пару сотен страниц и эпитафию погибшему другу, нежные детские воспоминания и рецензию на рецензию, перепечатку (а ведь это не случай Дюма-старшего или Дмитрия Быкова, которым платили за «количество знаков»!) своих печатных и устных выступлений и философские максимы²⁴, романтические пейзажи и тюремные хроники²⁵, похвальбу о своих писательских, политических и личных победах а-ля Лимонов, ботанику имени Юнгера («мои осенние радости» от деревьев в саду), японскую ваби-саби созерцательность («я был человеком и не был им; я становился облаком, ветром, шорохом»), травелоги странноведческо-политические в духе Гончарова или литературно-культурологические, в духе уже Чатвина...

И это не говоря о том, что мемуары Шатобриана – это далеко не классические воспоминания, но свойственные самому новейшему времени полная вовлеченность, настоящая иммерсивность, «человек в истории» и «мой XIX век» (так же, кстати, плотно присутствует в своем художественном тексте посторонний ему – в традиционном для тех лет нарративе – автор в «Тристраме Шенди»).

Уже много раз не терпелось сказать, что подобный палимпсест легче встретить даже не в постмодернизме, а в постмодернистских пастишах, оммажах и прочих играх и стебах над интертекстуальностью, но взглянем все же, как это у Шатобриана работает.

«Большая часть моих чувств покоится на дне моей души либо высказана в моих сочинениях устами вымышленных героев. Ныне, все еще скорбя о моих химерах, хотя и не преследуя их более, я хочу подняться вверх по течению моих лучших лет: эти “Записки” станут храмом смерти, воздвигнутым при свете моей памяти», провозглашено в самом начале книги. Вполне, казалось бы, романтический зачин – разочарование, сплин, отвращение к миру постороннему. Но – это даже не постромантизм, а – дальше и позже. Ибо даже не обязательно прочесть потом фразы и фразочки в духе Чорана (публика – ничтожества, люди – не более чем изъян, а уйти из жизни, если уж угораздило родиться, лучше как можно раньше, «утром, по холодку»²⁶) и Селина («падеж венценосного скота»), но – просто вслушаться в эту шатобриа-

²³ Вообще же свойственная по умолчанию жанру исповеди традиция самообличения идет от «Исповеди» Блаженного Августина. Ср. о ее импликациях: «Академик Н. И. Конрад хотел издать “Исповедь” Августина вместе с “Исповедями” Руссо и Толстого, чтобы представить развитие субъективности от тезиса искренности через антитезис притворства к синтезу самонализа, – но этому проекту не суждено было осуществиться». Марков А. Слава искреннего сердца // Августин Блаженный. Исповедь. М.: Рипол классик, 2018. С. 11.

²⁴ Монтень тут – главный «собеседник через века», Шамфор и Ривароль – скорее общественные фигуры, знакомцы, чем авторы.

²⁵ Как и Лимонов, он только радуется заточению – какой опыт! Да и можно спокойно читать и писать.

²⁶ Ср. со схожим оптимизмом у Лоуренса Стерна: «несчастья моего Тристрама начались еще за девять месяцев до его

новскую интонацию «беспричинного отчаяния» и «меланхолического сладострастия». Интонация тотального скепсиса и разочарования, которую европейцам в полной мере суждено было п(р)очувствовать после окончания Первой мировой войны, знаменовавшего крах всех прежних идеалов и возвестившего возможность тотальной антирациональности и дегуманизации отдельно взятого континента да и всего земного шара. Это даже не разочарование (предполагающее, как и у романтиков, наличие какого-то идеала, как и атеизм дефолтно признает Бога, с которым сражается), а то, что после, в ситуации не отсутствия смысла, а его, как у Беккета, невозможности. Где-то здесь, устав лить слезы, метать «признания и проклятия» (Чоран), люди решили забиться глуповатым постмодернистским смехом.

Постмодернизм же после десятилетий беспроблемного и почти единоличного владычества надоел даже самому себе и стал, возможно, одной из причин популярности нон-фикшна – честные сведения и возможность эрудиции вместо сложносочиненной химеричности (химера – одно из самых частотных слов у Шатобриана). Но на смену ему пришел, как мне давно уже кажется, буквально в последние годы новый жанр – одновременно преодолевающий тотальную постмодернистскую эклектику и апеллирующий к ней, но с принципиально иных позиций. Так сделаны, вернее – все же написаны – последние книги поминавшегося уже не раз Лимонова вроде «“Император” и другие мнения». Да, в последнее время фикшн и нон-фикшн мигрируют, смешиваются в странные коктейли. И да, Лимонов, хоть и выстраивает очередную свою книгу по алфавиту, словарным статьям энциклопедии не Брокгауза и Эфрона, но имени Лимонова, сами тексты чаще всего – из его «Живого журнала» (заметки о заметках – синонимично воспоминаниям о воспоминаниях Шатобриана). Однако же все это – короткие эссе в пару страниц, зарисовки, почти афоризмы иногда – было еще в «Дневнике неудачника», одной из лучших книг Лимонова, задолго до того, как девственная русская литература узнала о возможностях захода фикшна в нон-фикшн и обратно, прочла Зебальда и стала заниматься его импортозамещением в виде «Памяти памяти» М. Степановой. И уж очень задолго до тени зачатия «ЖЖ» – поэтому веришь, когда Лимонов утверждает: «Мои проекты не фантастические, они должны быть реализованы сейчас, просто я живу на 25 лет (как минимум) впереди Вас, червей!». Этот сплав мемуаров и эссе, политических прожектов и отчета о знаковых событиях, дневника и романа – то, как литература еще может функционировать, когда она уже почти умерла, а сил и желания провозглашать манифесты о рождении какого-либо нового течения нет. Шатобриан писал уже так – не зря позиционируя свою книгу из разверстой могилы в далекое будущее.

Гениталии гесперид

**Владимир Набоков. Письма к Вере. М.:
КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. 704 с**

Совершенно обязательная книга для всех, интересующихся феноменом набоковианы, рецензию на которую, впрочем, лучше всего было бы прочесть от Вячеслава Курицына, автора блистательного исследования «Набокова без Лолиты», или же переводчика Геннадия Барабтарло, чьи переводы и исследования конгениальны переводимому.

Кстати, Барабтарло поучаствовал в подготовке этой откомментированной Брайном Бройдом книги наравне со многими другими действительно незаурядными учеными – так, только по культуре русской эмиграции консультировал Омри Ронен.

Книга, как уже понятно, проходит не по разряду спешно состряпанных изданий, но – о, редкость – изрядно подготовлена: больше ста страниц комментариев, предисловие, указатель имен, хронология жизни и творчества ВВН и так далее. Тем более что самого доступа к письмам ждали терпеливо и долго. Охраняя образ мужа и свою частную жизнь, Набокова почти никого к ним не подпускала (читала частично сама, вымарывала места, уничтожила свои ответы). Но сын Набоковых Дмитрий оказался по-американски более открытым. В полном объеме эпистолярный Набоков вышел на английском в 2014 году.

Это достойный оммаж не только Набокову, среди прочего, комментатору «Евгения Онегина», но и его любви с Верой Евсеевной Слоним – едва ли не самой безоблачной и долголетней в истории отечественной словесности. Он посвятил ей стихотворение через несколько часов после самой первой встречи, его последняя книга посвящена Вере, между – более полувека совместной жизни. И посланий – Набоков описывает свою поездку в 3000 слов или присовокупляет три слова к букету-поздравлению.

Жизнь эта – сама произведение искусства своего рода. А переписка показывает сближение и сроднение: если в начале Набоков, описывающий Вере свою одежду и еду каждого дня разлуки, туманно намекает на изящно прозрачные таблетки от живота, то потом уже идет «прослабило» и хронометраж пребывания в туалете.

Своим хронологическим срезом и интересна, кстати, эта книга – Набокова мы видим почти во всех ипостасях. Романтическим берлинским поэтом («я так отвык от того, чтобы меня – ну, не понимали, что ли»), истово ищущим новую страну-убежище и заработок популярным среди соотечественников и не только автором, маститым американским университетским лектором, умиротворенным в своей известности и достатке швейцарским старцем.

Находится, соответственно, в «Письмах Вере» место всему. Настоящим приколам, шардам для Веры, рисункам для сына. Описаниям – «вчера был вечер, сошедший с фламандского полотна, неподвижный в туманной поволоке». Афористичным рассуждениям о сокровенной природе творчества: «теперь я знаю, что действительно, разум при творчестве – частица отрицательная, а вдохновенье – положительная, но только при тайном соединении их рождается белый блеск, электрический трепет творенья совершенного». Здесь есть сентиментальность и экстаз, бравада и нежность. Словом, «поговорили обо всем, начиная от гениталий гесперид и кончая Гитлером».

Хотя пишет Набоков, конечно, крайне эгоцентрично – о перистальтике, псориазе или проблеме тупых бритв и отельного меню здесь узнаешь гораздо чаще, чем о Бунине (тот очень досаждал приглашениями на застолья и сравнениями популярности). Тем ценнее редкие вкрапления о писателях. «Несчастном, веселом, красном от вина, беззащитном, замученном Ходасевиче». Дебелой, беложеей Теффи «в декольте на сорок восемь персон». Похожем

на евнуха и шахматную фигуру Ремизове. Или Бунине – тот «похож на старую тощую черепаху, вытягивающую серую жилистую, со складкой вместо кадыка шею и что-то жующую и поводящую тусклоглазой древней головой». Да, всем, даже (почти) другу Ходасевичу, тут достается по серьгам сарказма. Кроме разве что (отчасти) равновеликого, по мнению пишущего, Джойса: «он крупнее ростом, чем я думал, с ужасным свинцовым взглядом».

И тут неумолимая логика знакомства с этими письмами выносит нас на пороги дискутирования моральной дилеммы. Набоков не предназначал эти письма для печати. Точно уничтожила свои письма Вера. И что бы случилось бы с Набоковым, узнай он о корректурах, внесенных в его бронзовый self-made image эти посланиями? В которых слишком превалирует не просто быт, но да, poshlost', враг номер один Набокова в его вечном себе и троллинге мещан-филистеров из common people. Все эти бесконечные «мяско» и «мясики». Зашоренность к странам и писателям во имя отчета о своем меню, пищеварении и его итогах. «Ты же обо мне, радость моя муренька, не беспокойся: я отлично живу, сытно питаюсь, много читаю и пишу». Это даже не письма Платонова, где боль из быта стартует в циолковскую стратосферу, но послание пролетарского писателя с продрозверстки.

Но Набоков актуальнее всех актуальных. То смайлик изобретет, то в 1930 году выдаст «вчера он произвел подряд 157 лайков, мы считали».

Внутренняя проза

Павел Зальцман. Средняя Азия в Средние Века. М.: Ad Marginem, 2018. 472 с

Нельзя уже жаловаться, что Павел Зальцман не издан. Выходили стихи «Сигналы Страшного суда» (2011), роман «Щенки» (2012) и даже книга дневников и воспоминаний «Осколки разбитого вдребезги» (2017), плюс альбомы и даже перевод на немецкий и английский. Можно лишь сожалеть, что не прочитан. Не пришел к нам раньше, не вошел в канон. Как, собственно, и все авторы, последние представители авангарда, трудно определяемые, слишком яркие и камерные одновременно – Всеволод Петров, Владимир Казаков...

Между тем, Зальцман проходит не только по литературному ведомству. Рисовал с Филоновым, общался с Хармсом и Введенским, снимал на «Ленфильме». Все оказалось прервано и отнято, как Ленинград: репрессии, война, потом статус полуссылного в Алма-Ате, на студии «Казахфильм». Рисовать не было физической возможности, писать мог тайком по ночам, как и лучшие авторы тогда, – без малейшей надежды даже прочесть друзьям на кухне.

Роман «Средняя Азия» не закончен. По оставшимся рукописям его восстановила семья Зальцмана с Татьяной Баскаковой, густо прокомментировавшей и тщательнейше прокомментировавшей и осмыслившей книгу (ее статья «Красный платок, или Странники на пути любви» – больше, чем просто послесловие, как по объему, так и по жанру, взять хотя бы сравнения с близкими по ее переводческой деятельности персонажами вроде Арно Шмидта и Ханса Хенни Янна).

В такой подаче «Средняя Азия» и нуждается. Не только потому, что сам Зальцман перекопал массу литературы, был сторонником детальных сносок, но и – потому что жанр «Азии» определить очень не просто. Здесь все – столь необычное в ту эпоху, заметим – житейские обыкновения «среднеазиатцев», мифы (здесь и там фигурирует знакомый по книге Владимира Медведева Заххок, царь с серебряным лицом и двумя змеями, растущими из плеч и питающимися мозгами ежедневных человеческих жертв), религия и эпика, нежная любовная история и буквальным образом водоемы крови, мистика и богословие. И это, кстати, вообще свойственно художественному методу Зальцмана – брать бытовую, низкую «жесть» и разводить ее, как спирт самым изысканным соком, чем-то сказочным. Было это и в его стихах и прозе. Идет, возможно, от любимых авторов – Эдгар Алан По и Пу Сунлина, Густава Майринка и Яна Потоцкого. Сходное, опять же, у Владимира Казакова, в самые застойные глухие годы писавшего странные куртуазные стихи и абсурдистские пьесы на условно средневековом материале.

Новая сказка или, как предлагает дочь Зальцмана, магический реализм? Возможно, вполне возможно. Ведь росло действительно из сказок (для дочери написанных и в книге приложенных), суфийской мистики (тайный проводник мистиков в зеленых одеждах – интересно, что этот образ был актуализирован уже в наше время в рок-песне Сергея Калугина «Туркестанский экспресс»), из собственной жизни (имена главных героев, мальчика и девочки, взяты в семье, где переночевал как-то Зальцман) и т.д. Кстати, так же наличествующий в книге дневник его съёмочных странствий для «Казахфильма» не только дает ключи, но и строит такой приватный памятник-документ той эпохи. «Ночью меня разбудил Файнберг и, торопя, повел в палатку. Он втолкнул меня в свет – в трусиках, сонного, – и дал в руку кружку. Я выпил в два глотка (около трети) водку, мне дали в другую руку кусок помидора и быстро увели обратно спать».

Что получится у Зальцмана из всего этого? Примерно то же, что и у Петрова с его ремейком «Манон Леско» на военной почве. Проза, играющая с жанровыми определениями, стиль,

который определить, только подобным стилем и оперируя. Если бы ранний Рушди всю свою экзотику (Заратустра и воины, грызущие ноги боевых слонов своими зубами) описывал стилем Платонова, было бы «тепло». Если бы А. Иванов битвы кочевников из «Тобола» писал с медитативной экспрессией того же Янна, то не «убил», конечно, но почти «ранил» бы.

«Стремительно думает», «тяжелая радость», «холодная тишина» и счастье, что «не хочет сердце, которое не поранено, не хочет глаз без слез. Все к лучшему. Рядом с этим счастьем и вера, и михраб ничего не стоят, откровенно говорят. Даже не будем думать, что вместо такого камня – что в пояс ни вставь, все будет, как глина». Михраб – это «ниша внутри здания мечети, ориентированная в сторону Мекки, обычно перекрытая аркой с орнаментами и надписями и чаще всего расположенная в середине стены». Такая же орнаментальная и сокрытая и эта проза.

Переводное

Эффект Мадонны и железные треугольники

История Японии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Д. В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2015. 560 с

Проблема новых учебников для школы и ВУЗов сейчас очевидным образом актуальна как никогда – старые устарели, новые имеют иногда тенденцию быть идеологически заряженными, как та вода Чумака, или же (само)цензурированно обкромсанными. Особенно остра проблема в востоковедении – тут и так не то что о богатом выборе, о самом наличии адекватных современных учебников зачастую не приходится говорить.

Тем радостнее, что целый коллектив авторов взялся за такое благородное, не имеющее надежды на большие тиражи дело (да, при финансовой помощи Японского фонда – а многие ли «некоммерческие» книги издательства сейчас готовы издавать без оной поддержки?..). Результат – всеобъемлющ: от палеолита до санкций. Компактен: а 560 страниц для Японии, не только по праву гордящейся содержательной историей, но и возводящей свой императорский род к богам, отсчитывающей свою историю чуть ли не со «дня основания японских островов» богами же, – это действительно почти небольшой объем. И радостный, например, для меня тем, о чем – ниже.

Бог (или – боги синто и буддизма) с ним с палеолитом, неолитом (Дзёмон), бронзово-железным веком Яёй – о них и писали раньше, и более или менее понятно. Понятно и с не менее достойным Ямато и Асука (592–710 гг.). Эпоха Нара, блистательный Хэйан, эпоха «воюющих провинций» («сэнгоку»), сёгунские столетия Токугава, открытие страны – повесть интересных лет написана информативно и выпукло. Не фильм/книга «Сёгун», но подчас не менее захватывающе, зато без развесистой сакуры и прочих ляпов.

А вот начиная с эпохи Мэйдзи – читаешь уже настороженнее. Потому что очень сложно тут выдержать беспристрастный тон, не принять антияпонскую, прояпонскую, американскую, антиамериканскую или иную про/анти точку зрения. Благо (хотя скорее – не благо) новая и новейшая японская история дает тому изрядно оснований. Но вот даже название главы – «Япония в период Мэйдзи» («Мэйдзи исин»): невосю имеющее хождение «революция Мэйдзи», не «реставрация Мэйдзи» (коннотации понятны), не даже «эпоха Мэйдзи» (пафос разделили бы сами японцы, которые, кстати, в XX веке обставили празднование столетия начала Мэйдзи как начало блистательных реформ). Да, говорится о негативном (чрезмерное поклонение императору Мэйдзи, насаждение синтоизма за счет буддизма), но буквально тут же по достоинству оценивается положительное (реформа образования, модернизационная политика того периода в целом).

Про прошлый же век писать беспристрастно – на порядок сложнее. С нашей страной – войны, до сих пор не решенные территориальные проблемы, на мировой арене – вообще уникальное и, разумеется, сложное положение страны, пострадавшей от ядерного оружия, конституционно отказавшейся от собственной армии (другой вопрос, что это положение сейчас фактически обходится)... Но подход авторов (а в коллективе, кроме начинающих исследователей, наши ведущие японисты – А. Н. Мещеряков и Д. В. Стрельцов) остается непредвзятым, как Будда в медитации, они умудряются буквально на соседних страницах отметить отрицательные моменты (подчеркивается чрезмерное американское влияние на японскую послевоенную

политику и даже экономику) и тут же дать положительные (стратегический союз с США давал свои плоды не только на макро-уровне, когда Япония смогла перевести деньги из военного сектора в НИОКР, но и микро-уровне – во время корейской и вьетнамской войны Америка банально размещала военные заказы в Японии). Мало того, картина дается не просто объективной, но и объемной, настоящий эффект 3D возникает, когда дается весь спектр взглядов, даже далеких от магистральных трактовок: «необходимо признать ответственность Японии за агрессивную политику и развязывание войны в Китае» / «существует мнение, что Рузвельт и Хэлл намеренно спровоцировали Японию на нападение» / «про “британский фактор” упоминают некоторые японские историки; сторонники схожей точки зрения есть в англоязычной и отечественной историографии».

На этом учебнике вообще странно смотрится само слово «учебник», настолько сильно впечатление, что читаешь просто очень добротную монографию по истории Японии. В которой, кстати, нашлось место и таким вряд ли имеющим хождение в массовом сознании деталям, как «железные треугольники» (неформальные союзы политиков, корпоративного сектора и высшей бюрократии в годы послевоенного экономического бума), «эффект мадонны» (допущение женщин в политику) и «вакон ё:сай» («японский дух, западное знание»).

О том, что перед нами все же учебная литература, напоминают списки рекомендованной литературы и контрольные вопросы после каждой главы. Возможно, я сравниваю со временами своей постсоветской учебы, когда преподаватели за отсутствием новых учебников читали свои курсы иногда вообще без них, но, не знаю, как нынешним студентам, а мне, право, было бы приятно отвечать на проверочные вопросы по такому учебнику.

Проклятые фланеры на марше

Шарль Бодлер & Вальтер Беньямин: Политика & Поэтика: Коллективная монография / Отв. редактор С. Фокин. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 336 с

Сборники по итогам конференций – а таковым является эта книга – обычно компенсируют собственные недостатки (неодинаковый уровень представленных текстов, неполная адаптация устного выступления в статью и т.д.) своими же достоинствами – стереоскопическим взглядом на проблему, срезом разнообразных исследований на заявленную тему. Так, собственно, и в «Бодлере & Беньямине».

Однако главным недостатком здесь является заметный «крен» в сторону фигуры Беньямина – ему посвящена большая часть текстов, все они, не смотря на формальную *критичность*, почти дифирамбны по своему характеру. Безусловно, Беньямин хотя бы за свои действительно прорывные работы, потрясающую эрудицию и тяжкую жизнь, заслуживает и не такого. «Философ по образованию, искусствовед по теме диссертации, критик и эссеист по форме письма, художник по технике наблюдения, фланер по убеждению, он обладал способностью видеть в мелочах повседневности как характерные черты настоящего, так и манифестации будущей всеобщности» (из статьи В. Савчука с незабываемым названием «О каннибализме критики Вальтера Беньямина»). Все это так, и можно только порадоваться, что сейчас дело дошло до перевода даже небольших вещей Беньямина («Берлинское детство на рубеже веков», «Центральный парк»). Статьи этого сборника будут как раз большим подспорьем для восприятия этих книг.

Мы узнаем об особенностях стратегии Беньямина как переводчика Бодлера и Пруста (из нескольких статей, с разных ракурсов), о непростых отношениях с Коллежем социологии и лично Батаем (Беньямин за любой эстетизацией политического боялся увидеть оскал фашизма), о пересечениях с сюрреализмом (их объединяли урбанистическая мифология и общие кумиры – Бодлер, Рембо и Лотреамон), об архитектуре незаконченного беньяминовского мега-опуса «Passagen-Werk» (вот что необходимо перевести, а данный коллектив авторов, кстати, помог бы с весьма большой комментаторской работой), об имплицитной проповеди «божественного насилия» у Беньямина, восходящей к его иудейскому мировоззренческому бэкграунду...

За таким разнообразием исследовательских импульсов чуть ли не бледнеет фигура Бодлера, представленная тут – через беньяминовскую оптику: «он получил в путь в качестве суточных одну ценную старинную монету из накопленного богатства этого европейского общества. Она имела на “решке” костлявую смерть, на “орле” – погруженную в мечтания меланхолию. Эта монета была аллегорией» (цитата из «Центрального парка»). Благо, что зрение Беньямина в отношении Бодлера особенно пристально – проклятый француз был не только кумиром, но и тем объектом исследований, вокруг которых эти самые исследования и возводятся.

И если разговор о «силуэте эксцентричной личности в творчестве Бодлера» нельзя назвать революционно новым, то весьма любопытны статьи (доклады) о переводе Бодлером «Ворона» По (также «основополагающего» поэта для Бодлера), его отношении к фотографии (когда многие активно осуждали новую технологию, адвокатствуя живописи, Бодлер охотно фотографировался, тащил в фотосалоны даже свою мать, давая инструкции фотографам) и о русском и, одновременно, действительно одном из первых благожелательных рецензентов Бодлера – Николае Сазонове, революционере, изгнаннике и мечтателе-авантюристе-пьянице, друге Герцена, которому тот посвятил прочувствованные воспоминания и некролог.

Действительно, не надо задвигать Бодлера – он ведь может и обидеться: «Бодлер выкрасил волосы в зеленый цвет и явился к Дюкану, а тот делал вид, что не замечает необычного, и даже на прямой вопрос отвечает, что все нормально, у всех волосы зеленые, вот если бы ваши были голубыми, было бы чему удивляться. Бодлер немедленно уходит и, встретив на улице знакомого, предостерегает его: “Не стоит сегодня ходить к Дюкану, у него убийственное настроение”». Бодлер как персонаж «Случаев» Хармса, право.

Мы спасены?

**Джон Максвелл Кутзее. Детство Иисуса / Пер.
с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с**

Жизнь – все, что уже здесь, данное прежде всякого выбора, – жизнь с ее интригами лишена всякого смысла, если не ринуться в гнилостную глубину личин, чтобы выплыть оттуда беспамятным, забыв и о своем гниении.

Равным себе, словно сведенным к нулю равенством, что сводится к равновесию.

Жан-Франсуа Лиотар. За подписью Мальро

Два существенных отличия от последних книг великого южноафриканско-австралийского мастера сразу же бросаются в глаза. Во-первых, Кутзее вернулся от конкретной фикциональности своих последних вещей («Элизабет Костелло», «Медленный человек») к той притчевости, которой, собственно, он и сразил когда-то в своих лучших романах. Во-вторых, по сравнению с этими же последними вещами своего «австралийского» периода Кутзее вернул себе прежнюю форму всеокрушающего литературного тяжеловеса.

А перед нами действительно притча. И очень уместно вспомнить его роман 1980 года «В ожидании варваров» – архетипический сюжет (привет варварам Кавафиса-Бродского), противостояние условных «пришельцев» и не менее условного «центра цивилизации», никакой географической привязки. Герой «Детства» по имени Симон, беженец, прибывает в некий город, где привечают подобных спасающихся – от какой напасти? – беглецов-иностранцев. Там говорят на испанском – но никаких «ключей» это не дает, это может быть с равным успехом страна в Африке или Латинской Америке. Прибывает он, важно сказать, не один, а с ребенком, который к нему прибил, потеряв родителей. Было у этого ребенка письмо, поясняющее запутанную историю, герой надеется найти его мать – первый, почти детективный, сюжет Кутзее просто бросает, а второй решает так, как никто не ожидал бы в самом необычном детективе.

И тут, кстати, начинается вроде бы ожидаемая тема – бюрократии (их хотят заселить, но не могут – нет ключа, ушел сотрудник центра), унижения (другая сотрудница вроде бы оставляет их переночевать у себя дома, но «селит» во дворе, предлагая построить навес из досок). Модный уже которое десятилетие на Западе «постколониальный дискурс»? Конечно, нет. Потому что Кутзее оперирует абсолютно на другом уровне анализа человеческого сердца. Даже в этой ситуации: ему интереснее реакции этих условных беженцев, пожилого человека с ребенком, как быстро они привыкнут есть простой хлеб и мочиться в углу двора «добродетельницы»? Почему та вроде бы возжелала этого самого беженца, но оскорбляет его? Когда умрет его гордость? Почему так непонятно в этом мире? Как скоро, по совету его новой подружки, он сможет ощутить забвение, осознать себя безвозвратным? И как сочетается в мыслях человека принятие этой тотальной непонятности, мир и бунт против него?..

«– Пить хочу, – жалуется он. – Когда ты найдешь кран?

– Тс-с, – говорит он. – Слушай птиц.

Они слушают странную птичью песню, чувствуют кожей странный ветер».

«Детство Иисуса» – даже отдаленно не «Процесс» и не «Приглашение на казнь». Кутзее не очень тщательно, но камуфлирует те темы, что могли бы свести его разговор к банальному (и «банальности зла»). Опять же эта страна – в ней нет новостей (а зачем? Кому это вообще может быть интересно? Да и все новости «у них»), в ней не купить мяса и нормальной еды. Зато автобусы и стадионы бесплатны, и есть некие институты, где проводятся свободные лекции;

и туда ходят не ради бесплатной еды, но из действительной страсти к знаниям. Привет уже нео-тоталитарной теме? О нет, у Кутзее все абстрактно и при этом предельно конкретно, как мельница Дон Кихота (по адаптированному Сервантесу ребенок, кстати, научается читать и писать, но скрывает свои знания в классе – его хотят отобрать, послать в «школу для дураков»).

А проблема смыслообретения здесь как раз в центре, если можно говорить о центре и периферии там, где никакой навигатор не определит даже страну. Так, Симон ради заработка устраивается в порт разгружать суда. Он и другие работяги хвалят эту работу – они разгружают зерно, это полезно, даст еду. Но они делают это вручную, когда рядом бездействуют лебедки и краны. И, более того, далее следует фраза, что зерно обратится в дерьмо, которое стечет отходами в эту же самую гавань.

Ребенок между тем чему-то учится. Языку от встречных людей, очень заботится о нем и Симон: «числа – они не такие. Числа составляют благую бесконечность. Почему? Потому что числа им нет, и они заполняют собой вселенную, прилегая друг к другу плотно, как кирпичи. Так что мы спасены. Падать некуда. Скажи об этом мальчику. Это придаст ему уверенности».

Можно было бы, наверное, прочтя примерно треть книги, решить, что перед нами – такой весьма жесткий роман воспитания (а Кутзее, кроме жанра притчи, вообще тяготеет к классическим формам, недаром он и сам классик без скидок). Но речь не о воспитании, даже не об утрате иллюзий. А о том, что смысл может быть, может и не быть, это такая же данность, как и человек, что в одиночестве под неизвестного вида деревом ест бобы с мясными ароматизаторами. Вот и герой вдруг отдает ребенка чуть ли не первой попавшейся женщине, решив, что у той есть средства, братья, она может стать ребенку матерью, ведь ему нужна мать. Отдает он ей еще и свою полученную от центра помощи квартиру, а сам будет ночевать, как платоновский герой на рынке, в портовых складах (самоуничужение – еще одна тема Кутзее, недаром он написал целый роман о Достоевском).

Сухим, как трава в пустыне, языком Кутзее пишет новую притчу, будто надиктовывает на последние гроши телеграмму в страну, где у беженцев никого не осталось, кроме еще не атрофировавшейся надежды, рассказывает сказку своему приемному сыну – о красоте (да, и о ней!), знаниях человечества и преданности, что «важнее любви». Преданности, в том числе, и этому злему, прекрасному и бессмысленному миру.

Актуальная энциклопедия турецкой жизни

Орхан Памук. Мои странные мысли / Пер. с турецкого А. Аврутиной. М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2016. 576 с

Можно было бы удивиться, что Орхан Памук написал необычный для себя роман. Если бы не знать, что он шел к нему всю жизнь.

Почти сорок лет, с конца 70 до почти наших дней, масса героев, вся турецкая история и почти полная топография Стамбула, но при этом – да, та восточная медитативная неспешность, с которой потягивали кальян под турецкий кофе или не менее вкусный турецкий чай настоящие турки (кальян, как и курение, в турецких кафе, кажется, запретили несколько лет назад – были даже протесты).

Есть тут и главный герой Мевлют, такой Дон Кихот уходящей Турции. Он торгует бузой – традиционным напитком с символическим, как у того же нашего кефира или подбродившего кваса, содержанием алкоголя. Когда алкоголь был запрещен, турки считали, что в бузе-то «градусов» нет, теперь же, когда алкоголь фактически разрешен, бузу никто не покупает. Но для Мевлюта это отнюдь не повод бросать – ведь без него буза вообще исчезнет, кто будет оглашать ночные улицы Стамбула криком «буза! Кому бузы?» Но это не вся правда, Мевлют немного лукавит. Он просто не может без ночного города, что рифмуется с его «странными мыслями»:

«Когда он кричал “Буу-заа” на полуосвященных улицах, он не просто взывал к закрытым шторам, скрывавшим жизни целых семей, к голым неоштукатуренным стенам или псам, чье незримое присутствие он чувствовал на темных углах улиц; он также обращался ко вселенной у себя в голове. Поэтому каждый раз, когда он кричал “Буу-заа”, он чувствовал, что образы его мыслей вылетают у него изо рта, словно пузыри со словами в комиксах, чтобы раствориться на усталых улицах, подобно облакам. Каждое слово было предметом, и каждый предмет был образом. Он ощущал теперь, что улицы, на которых он продает бузу, и вселенная у него в голове – одно и то же. Иногда Мевлют думал, что он, может быть, единственный, кто открыл эту замечательную истину».

Он, конечно, не один – даже в утрачивающей свои традиционные устои Турции все знают друг друга, велика, хоть и редет потом, его семья, множество родственников, кланов, людей с одной улицы, из одного района (улицы и страницы столь населены, что в конце книги Памук добавил даже родословное древо и именной указатель!). И здесь будут не только мысли, но и настоящий экшн – украденная невеста, убийство, грязные финансовые схемы и битком набитые скелетами семейные шкафы.

Но все равно – роман не об этом, но «о чем-то большем», да, так, прямо как у БГ. Ведь «Странные мысли» Памука – настоящая «энциклопедия турецкой жизни». Потому что чего тут только нет – все, кажется, есть. Как торговали бузой и домашним йогуртом, как работал извозчикий бизнес, в какой одежде ложились спать, чем кормили в начальной школе (рыбим жиром от ЮНИСЕФ) и кто озвучивал первые импортные фильмы (одни и те же турецкие актеры), как «деды» лютовали в армии и кто поддерживал секты исламистов. Даже – если вы и не очень хотели это знать – как относились к онанизму, мухлевали уличные банды незаконных парковщиков и отбирали дома у изгнанных греков. Да, Памук, как свой наивный и в чем-то очень упрямый герой Мевлют, если уж начал говорить, то скажет всю правду (Памук, кстати, и против геноцида армян и притеснения курдов высказывался, так что власти с ним бы разобрались, не будь он главным турецким писателем).

Вообще, критиковать сейчас Турцию после всех с ней политических разборок наших властей будет не очень хорошо, но и живется Мевлюту довольно тяжело. Религиозные огра-

ничений, полный контроль соседей и всех, взятки, все по знакомству, убит лучший друг, не выкарабкаться из бедности... Но едва ли не самое страшное для него это необходимость оставить родной дом (сносят под новую застройку, его бы все равно выкинули) и тот день, когда полицейские, борясь с уличной торговлей, «арестовывают» и разбивают его тележку для плова. Хотя, кажется, это актуально уже для москвичей, буквально на днях отметивших «Ночь длинных ковшей» и распрощавшихся с киосками...

Очень актуальная книга, я же и говорю. И хотя всего этого старого Стамбула уже нет, прибои нового времени унесли старое, но если вдруг кому-то понадобится, его можно будет восстановить, как Дублин по «Улиссу» Джойса или Токио по «Токийской истории» Одзу. Такие вот странные мысли...

Книжная полка – 2016

Время сердца: Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана / Пер. с нем. Т. Баскаковой и А. Белобратова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 416 с

Эта переписка двух писателей и очень, очень остро чувствовавших людей – почти идеальная основа для театральной или кинопостановки. Со своей драматургией – расставаниями, паузами даже в несколько лет, односторонними потоками посланий, короткими отписками, бытом и стихами, стихами... И, конечно, с большой «массовкой», потому что кто тут из их общих знакомых и просто писателей только не поминается – братья Юнгеры, Франкл, Бенн, Блох, Фриш, Ахматова, Бель и Вальзер.

Переписка, как и сам роман, начался в 1948 году в Вене, когда Целан, тогда еще простой беженец без гражданства, влюбился в австрийскую аспирантку, красавицу Ингеборг, по ее собственным словам, «великолепным образом», а потом стал для нее «ее жизнью. Я любила его больше жизни» (из романа «Малина»). Он продолжался, с перерывами на психиатрические больницы Целана (да и у Бахман были жестокие срывы) до самоубийства последнего в 1970 году.

Кстати, тут есть многое и для понимания этого поступка – тот случай с обвинением Целана в плагиате (на самом деле, плагиат был обратный, использовали стихи и переводы самого Целана), после которого тот требовал от всех безусловной поддержки, рвал дружеские и вот любовные связи, все глубже уходил в депрессию («как тяжело нести на себе даже одного человека, впадающего в одиночество под воздействием болезни и саморазрушения. Я знаю, мне надо быть еще сильнее, и я смогу», горько констатировала она). Это, можно предположить, и запустило механизмы старой травмы – родители Целана были убиты фашистами на Украине, он никогда, кажется, и не хотел оправиться от этого горя.

Кроме тех, кого я немного поверхностно назвал массовой, переписка вовлекает в себя самых близких для корреспондентов людей – вдову Пауля Жизель Целан-Лестранж, с которой потом переписывалась и встречалась Бахман (двух женщин объединило горе одного мужчины, а о жене своего любовника Ингеборг писала тому – «прости меня: но я полагаю, что ее самоотверженность, ее красивая гордость и ее терпение по отношению ко мне гораздо весомее, чем твои жалобы»), Макса Фриша, с которым жила одно время Бахман... «Жгуттики души» (из стихотворения Целана «На берегу Рейна») дотянулись и до них.

Отметить хочется достоинство не только персонажей, но и книги – именной указатель, сноски и полностью представленный научный аппарат (правда, чуть неадаптированный для русского издания – если немецкие авторы послесловий пишут о книге, которая «должна выйти в 2009 году», не грех бы ее и упомянуть).

Джонатан Котт. Сьюзен Сонтаг. Полный текст интервью для журнала Rolling Stone / Пер. с англ. В. Болотникова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 128 с

Можно даже сказать, что Сонтаг (во всех транскрипциях ее имени) у нас даже стало много. Хотя до ее интервью очередь дошла вполне логично – при всем имидже интеллектуала, она была профессиональным «публичным интеллектуалом», то есть выстраивала имидж, высказывание, речь...

Беседа велась в Париже и Нью-Йорке, с временным разрывом, и, разумеется, в полном виде опубликована в Rolling Stone (журнале, который почему-то считается музыкальным, отечественными издателями представляется «ежемесячным мужским журналом» (!), я бы без большой натяжки назвал культурологическим) быть не могла.

Очень повезло Сонтаг и с интервьюером – слушающим, понимающим и интеллектуалом под стать: не только автором бесед с Ленноном, Бернштейном и Гульдом, но сходу цитирующим Рильке, Арто и Ницше.

И это вообще очень книжная беседа – не зная, что она писалась на диктофон, можно было бы предположить, что ответы писались и редактировались, как мини-эссе по случаю.

Хотя больше всего тут симпатизируешь не гладкости речи, но бьющейся, на глазах рождающейся (пусть и давно продуманной) живой мысли и – бьющей в определенную цель. Больше всего, кажется, Сонтаг тут говорит – будь это рассуждение о ее пережитой и осмысленной в книге болезни или о философском осмыслении феномена фотографии – об одном: сломе конвенций, отказе от глупых, давно устаревших обыкновений. Да о свободе же.

Она выступает против оппозиции не только мужское-женское, но и старость-молодость (эта поляризация – «два главных стереотипа, которые лишают человека свободы»), о делении на ...летия («по-моему, просто ужасно превращать пятидесятые, шестидесятые и семидесятые в теоретические конструкторы»), в безусловную защиту маргиналов («одно из главных достижений прошлого состоит в том, что многие выбрали для себя роль маргиналов и у остальных это не вызвало возражений»). И это не просто нонконформизм (хотя Сонтаг безусловна сама «из этих самых», говорит о походах на концерты Патти Смит как о ярчайших из своих впечатлений от выходов в свет!), а имеет под собой вызывающую более чем уважение основу. «Есть рабочее понятие нейтральности, которое люди не воспринимают. “Я не становлюсь ни на чью сторону”, нет, тут дело в сострадательности: вам лучше видно, что разделяет людей или разные точки зрения».

Это и позволяет самой Сонтаг быть не только философом очень разных и новых вещей (та же философия рака – если романтично бледные от туберкулеза девушки и даже сифилитичные безумцы Ницше и Мопассан рассматривались культурологией, то рак отвращал своими опухолями, непонятностью происходящих процессов), философом действительно широкого поля, но и рассматривать то, что другие бы из ее круга отпихнули с омерзением – многие ли бы даже сейчас осмелились писать об эстетике фашизма²⁷ или признаваться, что, кроме П. Смит (а ту легче понять, выведя из Ницше!), она ходит и на чуть ли не фашистский панк в клуб SVGB? «Ведь я – вовсе не весь мир вокруг, мир не идентичен человеку, однако я занимаю в нем свое место и концентрирую на нем свое внимание. В том и состоит задача писателя: внимать миру вокруг себя».

«Тогда как вы думаю, сказали бы что, поскольку...» – такая симпатичная книга, право, заслуживает, чтобы корректор и редактор ее все же прочитали...

Жиль Делез, Феликс Гваттари. Кафка: за малую литературу / Пер. с фр. Я. Свирского. М.: Институт общегуманитарных исследований. 112 с

Наконец-то у отечественных переводчиков дошли руки до этой книги – «проходной», ведь книга писалась между двумя томами «Капитализма и шизофрении» и представляет собой скорее сборник, чем полноценное исследование феномена Кафки, но – весьма и весьма важной. Как для самих авторов (они всю оперируют своими терминами – «Как войти в творчество Кафки? Это – ризома, нора», и идеями – сама идея противопоставления малых литератур

²⁷ Эссе «Магический фашизм» из сборника «Мысль как страсть».

большим нарративам, как того же революционного множества – господствующим институциям), так и, можно сказать совсем не комплиментарно, для понимания Кафки.

«Эти три темы, самые неудачные среди многих интерпретаций Кафки, – трансцендентность закона, интериорность вины, субъективность высказывания» – заявляет дуэт авторов, и разворачивает веер собственных интерпретаций. Заявив при этом, что «мы даже не пытаемся интерпретировать и говорить, что это хочет то. Более того, еще менее мы ищем некую структуру с формальными оппозициями²⁸ и полностью созданными означающими» – наш дуэт лих, как и всегда. И предлагает довольно неожиданные трактовки – как бы в духе фрейдизма (но и не зная об их шизоанализе, даже в этой книге можно увидеть «дюжину ножей в спину» учения «венского шарлатана»). Так, например, они выдвигают концепцию сексуальности бюрократов (с чего это те столь часто выступают у Кафки в обтягивающих одеждах, как посетители какого-нибудь американского садомазокула?) и желания холостяка, более интенсивного, чем гомосексуальное и инцестуальное желание, и более опасного («без семьи и супружества холостяк является куда более социальным, социально-опасным, социально-предательским и коллективным в его полном одиночестве»), но, тем не менее, конечно же, параллельного общественным институциям и прямым психологическим трактовкам (творчество для холостяка Кафки – никакое не убежище, но сложносочиненные ризома и паутина).

Но как же действительно они входят в творчество Кафки, ведь они только что красиво показали, что Кафка заведомо блокирует все подходы, запутывает пути (классический пример – дорога к Замку, процесс Процесса), отказывает в окончательных решениях и делает это совершенно сознательно (эмблема подобной блокировки – склоненные головы, как у персонажей его творчества, так и у героев рисунков)? Так, возможно, ответа нет в принципе, не-ответ, состояние не-ответа – и есть не ключ, но та самая возможная интерпретация: «и еще, нет больше ни субъекта высказывания, ни субъекта высказываемого, который является собакой²⁹... <...> Но есть цепь состояний, формирующая взаимное становление внутри необходимо множественной или коллективной сборки».

Тут уж впору вспомнить Воланда с «что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет!», да не тут-то было. Авторы выдвигают концепт, в который со скрипом, но может поместиться часть художочного немецкоязычного пражского еврея Кафки³⁰ – той самой, тех самых малых литератур. Они обусловлены, конечно, своим маргинальным положением – «малого» языка субэтноса в большом, довлеющем этносе. Если большие литературы вольны рассуждать о буржуазной семье, мелких проблемах индивида, то тут речь даже не об индивидуальном, а – о том, что на самом остром краю политического. Да, они крайне политизированы всегда. Эти малые литературы – «кочевники, иммигранты и цыгане в собственном языке»³¹.

Соответствуя тезису о «малых литературах» и тираж этой книги – всего 100 (!) экземпляров. Читатели ее, видимо, тоже – иммигранты в собственной культуре...

²⁸ То, от чего призвала отказаться Сонтаг (удушающие оппозиции по типу «мужское-женское» и т.д.), для французских философов уже не релевантно в принципе – снимем шляпу или отдадим им честь, кому как больше нравится.

²⁹ Собаку я оставил в цитате не зря – она еще «выстрелит», когда мы будем обсуждать сборник о фильме Годара «Прощай, речь!» с собакой в качестве одного из трех главных актеров («в главной роли» – собака и ее настоящая кличка). Пересечения можно множить и дальше: у Годара герой взыскует «бедности в языке», одна из частей фильма называется «метафора» (и смысл ее – в более чем изжитости всех образов) и т.д.

³⁰ К вопросу уже литературной идентичности: за особенности стиля Э. Канеттии называл Кафку единственным истинно китайским западным писателем.

³¹ Язык периферии (общины, малого народа и т.д.) vs. язык метрополии – давняя тема одного из наших авторов: «Не в этом ли и заключается шизофреническое предназначение американской литературы – заставить английский язык раскручиваться, принуждая его ко всякого рода отклонениям, ответвлениям, сокращениям или добавлениям (в отношении стандартного синтаксиса)? Ввести немножко психоза в английский невроз? Придумать новую всеобщность?» (Делёз Ж. Критика и клиника / Пер. с франц. О. Е. Волчек и С. Л. Фокина. СПб., 2002. С. 51).

Спенсер Канса. Звезда Полынь: Магическая жизнь Марджори Кэмерон / Пер. с англ. Зеры, Н. Токаревой. М.: Клуб Касталия, 2015. 286 с

Кэмерон была очень многим – самобытным художником и иллюстратором, поэтом, магом-кроулианцем, актрисой, женой и вечной вдовой (хотя у нее и были другие браки-союзы) одного из видных разработчиков твердого ракетного топлива и опять же оккультиста Джека Парсонса. Но прежде всего она была духом (элементом, как сказала бы она сама) той эпохи, эпохи, очень богатой на таких персонажей, вокруг которых вихряются круги из интересных людей, фонтанируют идеи, случаются вечные праздники и трагедии. Тот же – простите, как говорится, если кого обидел – Уорхол: как-то можно представить себе мир без его картин и тем более документальных фильмов, но где бы, если бы не на его «Фабрике» возник поп-арт, продюсировались Velvet Underground и появилось еще так много дерзких новых вещей?

И Кэмерон определенно из тех культурных героев, у которых одна биография сама по себе стоит многих фильмов и книг. Тетя хотела, чтобы Кэмерон стала монахиней – в 15 лет она делала домашний аборт. В американской армии женщин во время Перл-Харбор было по пальцам пересчитать – она записалась на флот, там умудрилась делать что-то шпионское, в том числе на свою красоту и уже необычность вылавливать германских агентов. О муже уже говорили, вокруг него – иерархи телемитского учения, будущий еще саентолог Хаббард, состоявшийся уже фантаст Хайнлайн и кто только не. Джек погибает в собственной химической лаборатории – но Кэмерон уже начинает путь собственной известности.

Если она где-то жила, то это оказывался район джазовых королей, начиналась вечные совместные вечеринки (Ч. Паркер играл голым). Если шла на маскарад, то целовалась с А. Нин. Если снималась в кино, то у К. Энгера (действительно импрессионистско красивый, под музыку из «Глаголической мессы» Л. Яночека фильм «Торжественное открытие храма наслаждений») или с другом Д. Хоппером (фильм «Ночной прилив» – еще задолго до его «Easy Rider»). Антон ЛаВей и отец Умы Турман опять же соседями и знакомцами... Дальше уже, похоже, апокрифы, но говорили, что Боб Дилан написал «Sad-Eyed Lady of the Lowlands», будучи наслышан о ее долгих медитациях в парке Джошуа Три, а многие реплики М. Брандо в «Последнем танго в Париже» были посвящены ей же.

К сожалению, от нее осталось довольно мало. Все эти фразы, жесты (а она была произведением самой себя), фразы – плохо поддаются архивной каталогизации в принципе, а уж в ту бит/хиппи эпоху... Многие свои картины она уничтожила сама, считая, что они все равно сохраняются в одном из астральных планов, или могла просто раздаривать даже прохожим, которым они приглянулись. Парочка фильмов, в которых она приняла участие актрисой и художником по реквизиту. Несколько поэм. Даже биографий ее мужа и то, кажется, выпущено больше. Сражавшейся с бедностью, непониманием (была бисексуальной и «ведьмой», одна из первых жила с чернокожим любовником и демонстрировала обнаженное тело в артхаусном кино), не самой удачной личной жизнью, а потом и с болезнями.

А сейчас Кэмерон крупно не повезло с русским переводом. Еще как-то можно, видимо, понять, что переводчицы переводят «Howl» А. Гинзберга как «Стон» (принято же «Вопль»), или, не зная, что счетный суффикс для кораблей в английском – she, вдруг одушевляют корабль и делают его какой-то таинственной незнакомкой, а поезд отправляют в путь без вагонов (cabins), но с кабинетами... Интереснее, как делался сам перевод – легкой ретуши подвергался компьютерный? Перелагали с помощью вызванных духов? Толмачили, воздавая дань автоматическому письму?

«Марджори прекрасно выглядела, ее кельтские колориты, казалось, подтверждали теорию, что семья Уилсон тоже была шотландцами ирландского склада» – чтение становится

настоящим квестом, «trip through your wires», но Кэмерон с ее хорошим чувством юмора, любовью к экспериментам и потустороннему стиль мог бы и пригнуться...

**Прощай, речь? Философия фильма Годара и современная
концепция человека / Коллективная монография
под ред. Н. Н. Ростовской. М.: Летний сад. 2015. 120 с**

Приятно уже то, что по итогам круглых столов – в данном случае обсуждение фильма состоялось на кафедре философской антропологии философского факультета МГУ – выходят даже не сборники, а полноценные книги. Еще приятнее в данном случае удачный пример междисциплинарности (простите за модное слово) – философы, писатели, психологи собрались, чтобы обсудить фильм.

Предисловие задает некоторый вектор будущим рассуждением, утверждая – сейчас эпоха «смерти смерти Бога». После полной негации всего время не провозглашать, но хотя бы дискутировать новые ценности постпостмодерной эпохи.

И – одной из, разумеется – трактовок фильма дискуссионкам представляется то, что – фильм зачищает поле старых, столько раз скомпрометировавших себя ценностей, очищает взгляд ищущего. Ведь «по Годару, мы обречены на ослепленность сознанием» (А. Бычков), «из-за дистанцированности репрезентации от реальности ее всегда можно заподозрить в подлоге» (В. Мартынов), «воображаемое, а не реальность является следствием присутствия человека в мире» (А. Гиренок).

И здесь не только выражение своих концептов применительно, даже по поводу фильма (так, В. Мартынов изящно испытывает на фильме концепцию из своей уже не новой книги «Время Алисы»), но и отталкивание от фильма – с проникновением в его ткань. «В той объемной деконцентрации, в этом отходе в фон, в “дзенском” обращении к синефильской таковости нашего внутреннего опыта, к алогичности внешнего мира сквозят и другие послания» (А. Бычков) – смотревшие позднего Годара, начиная с «Фильма-социализма» (2010)³², будут благодарны за инструкции «по применению Годара».

За освобождением от старых ценностей – сколько уже этих освобождений, заметим в скобках, было (вспомнить только Ницше), да ценности, видимо, как накипь на чайнике, нужно удалять регулярно – логично следует медитация над возвращением к исконным временам. Кто-то говорит, что, возможно, свернули не там, начиная с Руссо (Бычков), кто-то посылает еще дальше, к киникам (Гиренок). Но это только возможность возможности. Ведь фильм Годара, в чем сходятся многие из обсуждающих, «зачищает» прежде всего язык, то есть и самую возможность подобных предположений, даже говорения. То же воображаемое, призывает Ф. Гиренок, нужно освободить от языка. «Язык – это заместитель природы, соглядатай за субъективностью, это то, что на свободу аффекта отвечает произволом семантики. Язык умеряет неистовство грез. Социум умеряет неистовство языка. Язык и социум – такие враги одиночества субъективности, которые объективно помогают грезящему человеку сохранить себя в складках реальности, не будучи элементом самой этой реальности». Читающий в «Матрице» Бодрийера Нео, кажется, подписался бы.

С помощью анализа языка, семиотических знаков во всем их спектре – Мартынов в довольно большой статье привлекает картины де Кирико и Дюрера, Фу-Си и Кэрролла, Бретона и Арто – философы приходят к выводу, что «мы обречены видеть реальность только в зеркале знаков и образов», что мы не в состоянии увидеть саму зеркальную поверхность, так как «постоянно видим лишь то, что она отражает». И за этим у Мартынова следует тот вывод,

³² Если не раньше.

ради которого стоило не только смотреть фильм, но и читать книгу-комментарий к нему: мы не можем вернуться в прошлое, чтобы повторить его звездный час (или часы), но «кто сказал, что мы и дальше должны находиться на той эволюционной ступени, на которой находимся сейчас? Кто сказал, что мы и дальше должны заниматься знаками, эстетикой и магией? Неужели нет чего-то, что могло бы выходить за их пределы?» Ближе всего к декларации этого следующего эволюционного шага был, по Мартынову, Пьер Тейяр де Шарден, с чем можно только соглашаться.

Философ Наталья Ростова единственная набралась смелости отчасти покритиковать фильм, а психолог Вадим Руднев, вспомнив Аристакияна (подлинный крупный план – это такое положение вещей, когда камера будто умерла, но на самом деле «камера смотрит на зрителя, а зритель смотрит внутрь самого себя») и активно привлекая Делеза, ушел так далеко в своих рассуждениях о мире как галлюцинирующей галлюцинации, что я не решаюсь последовать за ним.

**Уильям Гибсон. Периферийные устройства / Пер. с англ. Е.
Доброхотовой-Майковой. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2015. 448 с**

Современная фантастика – говорю сейчас о киберпанке и отчасти стимпанке как о наиболее симпатичных автору обзора жанрах – развивается, как иногда представляется, по двум направлениям. Или берется какое-то локальное «происшествие», сюжет работает исключительно с ним (те же вещи Гибсона вроде «Распознавания образов» или «Страны призраков»), или же выстраивается целый мир, идет заведомое усложнение по всем фронтам.

В «Устройствах» (2014) – случай первый с элементами второго. Берется довольно небольшое происшествие – во время дежурства охранник становится свидетелем убийства, расследование которого выводит на осознание того, что этот мир – не только прошлое для участвующих в нем игроков из будущего, но и одно из возможных прошлых, развилка, «срез», в терминологии романа (Гибсон тут честно признает, что «идея превращения альтернативных континуумов прошлого в страны третьего мира целиком восходит к “Моцарту в зеркальных очках” (1985) Брюса Стерлинга и Льюиса Шайнера»). И вот тут уже раскручивается мифология сразу двух миров: одного будущего с разными кибер-примочками и другого, отстоящего от него минимум на 70 лет и отличающегося от него, как викторианская Англия от Англии сериала «Шерлок»³³.

Как люди из прошлого (пусть и альтернативного, не будем им лишней раз напоминать) меняют будущее – сюжет после того же Голливуда банальный. А вот то, как Гибсон – настоящий сэнсэй в этом плане, не только создавший со Стерлингом классику киберпанка, но и серьезно занимающийся футурологическими прогнозами по заказу весьма влиятельных американских think tanks – работает с деталями мира будущего, уже любопытнее. Если мы уже начали со схоластического разделения, то тут возможна дихотомия – феноменов, будто продленных из настоящего, получивших развитие, и (почти) совсем новых креатур.

С первыми занятно проследить аллюзии. Инвалид вселяется в «накаченное» тело-экзоскелет – привет герою «Аватара». У красоток будущего в моде доброкачественные опухоли на теле – деталь была явлена в рассказе И. Левшина «Учитель истории». Сгибающиеся экраны – от распускающихся, как крылья вылупившейся из кокона бабочки, мониторов у Стерлинга до нынешних изогнутых телевизоров/ смартфонов. Последняя пчела умерла до «джекпота» (так называется апокалипсис, и с ним тоже интересно – он заключался не в конкретном взрыве или катастрофе, но стал целым комплексом событий, результатом отношения человека к природе и себе)? Так это почти целый жанр, начавшийся с предсказаний еще А. Эйнштейна, что чело-

³³ Первый фильм третьего сезона «Шерлока», демонстрировавшийся 1 января 2016 года, тут хорошо рифмуется с книгой, совмещающая викторианский и современный хронотопы.

вечество погибнет через четыре года после последней пчелы³⁴. В Лондоне целые косплейные районы, где все ходят в костюмах викторианской эпохи, один Китай мощно выжил и поставляет всем товары, США ведут себя, как пьяный забияка, «только в масштабах государства и без чувства юмора» – да это и не совсем будущее вроде?

А вот новые прозрения о будущем любопытны тем, что они станут настоящим чуть позже. Меню телефонов на нёбе, плавающие острова на Темзе, разносящее на молекулы оружие, человекоподобные роботы из алюминия – так, это опять не так уж далеко. Так что к действительно далекому можно отнести лишь антропоморфные метаморфозы – плавающие по телу тату, дистанционные проекции людей и людей без жесткой формы (проходят сквозь стены).

Кстати, у Гибсона довольно много русских реалий – вполне благородные русские клептархические семейства, русская речь, СУ, ЗИЛ, «Урал» и даже «Аэлита». Вкупе с пассажем про Америку-жандарма – на кого Вы работаете, мистер Гибсон?

Сергей Хоружий. «Улисс» в русском зеркале. СПб.: Азбука Азбука-Агтикус, 2015. 384 с

Физик, философ, исследователь исихазма и создатель синергийной антропологии – думаю, если бы Сергей Хоружий издал инструкцию для электрических чайников, я бы все равно как минимум пролистал его брошюру в книжном. Тут же сам Бог велел – Хоружий не только перевел Джойса, но и снабдил (все мы помним тот том, в довольно редком тогда еще супере) свой с В. Хинкисом перевод «Улисса» тем комментарием, который делал джойсовский том солидным интеллектуальным тараном.

Сейчас сложилась эта книга – трактовка как «Улисса», так и «Финнегана», биографический очерк Джойса, история перевода «Улисса» – как в СССР («подсоветской России», по хлесткому замечанию автору) и России, так и своей, личной джойсовианы. По степени срока и интимной глубины отношений автора изучающего и изучаемого из относительно недавних эту книгу можно сравнить только с работой В. Курицына о Набокове³⁵.

Банальная рекомендация от рецензента, но такие книги – must не столько для фанатов Джойса (они уже читали, знают сами), а тех, кто не так близок или вообще плохо знаком с мятежным ирландцем: интеллектуальное и стилистическое сафари захватит, возможно, если и не кинет в объятя Джойса, то в чем-то заменит чтение того же (в принципе нечитабельного³⁶) «Финнегана». Это как экранизация вместо книги, только в самом высоком смысле.

И каждый найдет свое – для согласия, спора или просто NB выписки, красивой интеллектуальной байки. Хорош, например, биографический дайджест: выделяются и анализируются реперные точки (вера-отечество-пол) Вселенной имени Джойса. Хороши и биографические находки даже там, где дело касается отечественных авторов – отмечены, кажется, все упоминания Эйзенштейном Джойса, которого тот действительно ошеломил. Несколько спорны, на мой взгляд, параллели между Джойсом и буквально всеми значимыми отечественными писа-

³⁴ В Америке добровольцы в последние годы искусственно разводят и распространяют пчел, погибающих от используемых в сельском хозяйстве генно-модифицированных подпиток (пчелам банально нечем питаться). См.: *Morris A. What Is Killing America's Bees and What Does It Mean for Us?* // *Rolling Stone* (американский выпуск). 2015. 18 августа (<http://www.rollingstone.com/politics/news/what-is-killing-americas-bees-and-what-does-it-mean-for-us-20150818>) и Гибель Божьих пчел // Информационный ресурс «Откровение» (<http://istina1888.narod.ru/12AA.HTM>). «По данным департамента сельского хозяйства США, они (домашние пчелы. – А. Ч.), опыляя растения, приносят в 10-20 раз больше дохода, чем стоит собираемый ими мед и воск» (Мариковский П. Насекомые и цветы. Алма-Ата: Кайнар, 1985. С. 4) – конечно, ведь целый ряд культур, от бахчевых, клевера до земляники и огурцов, не в состоянии сам опыляться.

³⁵ Книги сблизает еще и постоянная языковая игра, с которой исследователи отбивают мячи, запущенные адресатами их исследований.

³⁶ Автор несколько раз приводит и поясняет слова Джойса о том, что написанный на четырех десятках языков и содержащий почти сорок тысяч лишь по одному разу используемых слов роман нужно лишь прочесть вслух, тогда все станет ясно.

телями: с Хлебниковым и Введенским – по принципу словотворчества (критерий, слава Кухлину, не столь редкий в прошлом веке), с Платоновым – хтонического эроса. И восхитительно смешна и драйвова та часть, где Хоружий, стилизуясь под Джойса (хотя стилизация присутствует не только в этой части³⁷), рассказывает о своих мытарствах с пристраиванием перевода, приводит отзывы совписовских еще совершенно внутренних издательских рецензентов, реакцию на свой перевод у литературной Марьи Алексеевны или ляпы других комментаторов, не справившихся с английским Джойса или его англоязычных комментаторов (так, не называя имен, у одной очень титулованной исследовательницы Аристотель стал учеником Маймонида – как?!).

Андрей Лебедев. Рок-н-ролл, гастрономия и другие боевые искусства. New York: Franc-Tireur, 2015. 252 с

Андрей Лебедев, автор «Ангелологии», «Скупщика непрожитого», составитель «Vita Sovietica: Неакадемического словаря-инвентаря советской цивилизации», давно живет в Пикардии и – знает в этом большой толк. Чтобы никому не повадно было, сразу предупреждает, что он – обеими руками за старомодность, которая суть – право на медленность: медленные книги, медленное письмо, медленная пища (музыка, заметим без претензий, у него играет разная – и твистовая, и драйвовая).

Дальше лучше не читать – начинается чистое издевательство. В начале следует интродукто любимой музыки (от Ино до Кэша, с пересадкой на минимализме и фри-джазе) – уже хочется отложить книгу и покопаться в пластинках/интернете. Затем следует список³⁸ концертов, что ему довелось послушать. Дэвид Силвиэн из Жапа («мистический дельтапланеризм»), Лори Андерсон («ведущая небесного ТВ»), Леонард Коэн (самый убедительный «из пишущих речь на собственные похороны»). У вас еще не чешутся руки? Чтобы читатель чуть успокоился, подавил свою зависть (работа над собой, работа на просветление!), организован неподвижной лекторий – о БГ и Марте Аргерих.

Ок, мы перевели дух, но тут накрывает шквальным огнем. Списки вин из высшего легиона и ресторанов Ниццы. С россыпью фактов (ныне популярны органические вина, но настоящие виноделы, даже получив соответствующий сертификат, не указывают его, слишком плохое реноме), наводок (путеводитель по рынку Ниццы), монтеневскими максимами («верность – это тоже вино. Но не страстное красное, а утешающее и утешающее белое»)… Алхимические коктейли и молекулярная кухня идут на десерт, а нам тут бежать к холодильнику за огрызком «Докторской» «второй свежести».

Но трапезничание во Франции затяжное, как дождь в Подмоскowie. Аппетайзер из пастиса (исключительно!), настоящий трубочный табак (без ароматических добавок!), чай из очень особой лавки. Да, та медленность этого буддийского бонвивана, когда и смысл понюшки табака – «не в самоодурманивании, а в просветлении, тихих интуициях, достойных настоящего мудреца».

Не менее медитативно-эпикурейское отношение распространяется у Лебедева на посещение кабаре, обуви (берлуты, что из цельного куска кожи и с пирсингом, еще хранятся колодки Синатры, любители съезжаются раз в год навести блеск специальной бархоткой и «Вдовой Клико») и чему только не. Да он точно издевается!

³⁷ Прием оказывается в хорошем смысле заразным. Так, рецензию на эту книгу на сайте «Открытая критика» «написал» сам Джойс: Джойс Дж. Помалкивай, лукавь и ускользай // Rara Avis. Открытая критика. 2015. 23 ноября (http://rara-rara.ru/menu-texts/dzhejms_dzhojs_pomalkivaj_lukav_i_uskolzaj). Вскоре настоящий автор сделал «каминг-аут» в Фейсбуке – им оказался персонаж данного обзора А. Бычков.

³⁸ Списки, в том числе несуществующего, важная часть поэтики автора, но не будем сейчас отвлекаться, послушаем лучше вместе с ним музыку.

Под конец вечера автор включает кинопроектор (от Тарковского до сериала «Безумцы», короткие заметки в жанре кино-дзуйхицу) и открывает книгу (Лимонов и Бол-мат, Кобрин и Курков – они все более европейской, транснациональной природы).

Перед отходом ко сну Лебедев молится – очерки о Кастанеде и парижском кладбище домашних питомцев.

Дальше, понятно, тишина, которой вы не услышите – контрольный выстрел в голову уже отзвучал, как хлопок одной ладонью.

Владимир Мартынов. Две тысячи тринадцатый год. М.: Классика XXI, 2016. 176 с

Книги Владимира Мартынова выходят довольно регулярно – и не теряют своего интеллектуально-задиристого шарма.

Эта книга по началу обманывает своей дискретностью, притворяясь действительно сборищем текстов, заметок и мыслей за год, этаким «лытдыбром» после конца эпохи ЖЖ. Ведь когда Мартынов рассказывает о непростых бытовых условиях своего тибетского паломничества, описывает икону рядом с их греческим домом или вспоминает Харитонову и гей-сообщество 60-80-х, это очень похоже на байки, верно?

Но жанр здесь абсолютно другой, и вернее всего его сравнить – со средневековой притчей, разговором очень умного проповедника, почти святого с теми, кто пришел его слушать. Да, идет байка, яркое утверждение (что 4'33 Кейджа – абсолютный рэди-мэйд), посыл (если с корабля современности сейчас кого и скидывать, то как раз Кейджа, Дюшана и Малевича, иконы прошлого века, дальше которых пока никто не пошел), рассказ о гармоничной со всем оружающим песней араба на синайской горе... Да все что угодно – мы действительно увлечены умным рассказом. Но вот, как в силлогизме, следует еще шаг – идет неожиданное после самооценки вроде бы истории обобщение. Ого, становится захватывающе, как в триллере, быстрее листаются страницы... А тут – еще более генеральный и красивый вывод, уводящий далеко, понимание приближающий!

Так за рассказом о своих впечатлениях от картины де Кирико «Меланхолия и тайная улица» и байке о том, как посетившие дом де Кирико русские художники смогли увидеть лишь поздние его, совершенно традиционные полотна, приводится свидетельство, что и другие великие трансформаторы потом отходили далеко от своих экспериментов – тут не только Рембо, но и Малевич, Татлин, Кандинский в 30-е годы. Вывод – за переизбыточностью одной эпохи неизменно следует время обнуления.

Выводы вообще не очень утешны. Возможно, конец света уже наступил (как и Гибсон, Мартынов уверен, что произойдет это «не взрывом, но всхлипом», как-то незаметно почти). Многие вещи во всяком случае ушли – и без них плохо. Вот в тему поездок: «и тут я поймал себя на мысли, что меня давно уже перестала интересовать современная Европа – Европа, стремящаяся быть только современной и больше никакой, Европа, фактически отрекшаяся от своего христианского прошлого». Ведь «убив Бога, разрушив Космос и упразднив Историю, человек неизбежно должен был превратиться в единственно возможную мотивацию своего существования, что и произошло на самом деле и выражением чего стала идея прав человека, сделавшаяся основополагающей и доминирующей идеей нашего времени. Конечно же, права человека – дело, что называется, святое, но здесь не все так просто. Когда права качает отдельный человек, это всегда производит довольно неприятное впечатление. Когда же этим начинает заниматься все человечество, то дело принимает и вовсе дурной оборот».

Мед льется густо, маленькая книга по-философски долго будет с тобой, но добавим и обязательную дегтярную ложку – часть рассуждений из книги о Годаре тут присутствует практически повтором.

Alex Kerr. Lost Japan. Last Glimpse of Beautiful Japan. UK: Penguin Books, 2015. 240 c

А вот в этой книге структура действительно свободна, как цепь ассоциаций в жанре дзуйхицу или в ассоциативном японском юморе мандзай. Но пропускать ее только на этом основании отнюдь не стоит. Во-первых, это стиль Алекса Керра, его более известная книга «Собаки и демоны»³⁹ написана ровно так же; во-вторых, он популярен, получил даже первым иностранцем японскую премию Синтё Гакугэй в 1994, а новое издание этой книги я нашел этой зимой в центральном книжном Киото на полке бестселлеров.

У Керра необычная – а чем-то и типичная для тех иностранцев, что действительно любят Японию и иногда становятся больше японцами, чем они сами – судьба. Служба на военном флоте США забросила его отца и маленького Алекса в Японию. Потом он изучал японский в Йельском, а китайский – в Оксфорде. Живет (с перерывами на Таиланд) и работает в Японии. По его собственному признанию, когда он подумывал было посвятить себя все же Китаю, уехать из Японии в другую страну и т.п., Япония постоянно останавливала его своеобразными знаками – только хотел стать синологом, как преподаватель почти насильно отправил его на стажировку в Японию, только утомил Токио и современная Япония, как подвернулась возможность купить старинный заброшенный японский дом далеко в горах, только еще что-то, как американский миллиардер предложил ему стать его арт-дилером в Японии, а потом и помогать с бизнесом.

Об этом всем он и пишет – рассуждения о функционировании традиционных японских искусств (и если большинство вещей, которыми знаменита сейчас Япония, пришли в нее из Китая и Кореи, то сами традиционные искусства стали тем, что выделяет ее на фоне большинства стран) перемежаются тут прочувствованным рассказом о том, как он выбирал себе дом в далекой пустеющей префектуре, наскребал на него средства, а потом пару лет занимался ремонтом крыши (перетаскивал покрытия с соседнего дома – купить «экологическую» крышу-дранку из «натуральных» продуктов японской флоры стоило бы дороже самого дома в несколько раз).

Начиная опять про ту же злополучную свою крышу, переходит к эзотерическому буддизму и почти закрытым для посторонних храмам, потом бросается осуждать патинко⁴⁰, а от него – к осакскому диалекту. Восторг и отвращение также перемешаны, примерно в таких пропорциях: «добро пожаловать в Осака. Мало городов развитого мира могут соперничать с Осака по части общей непривлекательности городского пейзажа, состоящего по большей части из беспорядка построенных кубических зданий, паутины метро и обрамленных цементом каналов. Здесь мало небоскребов, еще меньше музеев и, кроме Осакского замка, почти нет исторических мест. Но все равно Осака – мой любимый японский город. Осака – это тот город, где есть веселье: лучшие кварталы развлечений в Японии, самый оживленный молодежный район, самые привлекательные гейши и самые яркие гангстеры. У Осака также своя монополия на юмор – для популярного комедианта практически обязательным является поучиться в Осака и освоить осакский диалект»⁴¹.

Как видим, абсолютно некритичным восприятием страны, как довольно многие иностранцы-гайдзины, Керр не болен – и это, к слову, тоже встречается, когда человек приезжает не только полюбоваться на цветение сакуры, но долго живет и работает в стране⁴². Керр утвер-

³⁹ Книгу в любительском переводе можно найти в дебрях Рунета.

⁴⁰ Японская азартная игра на деньги.

⁴¹ Перевод мой.

⁴² Крайний случай развившейся в результате долгого пребывания в стране японофобии – книга отечественного япониста

ждает, что Япония из-за стремительной урбанизации и «электрификации всей страны» (доля истины в шутке – в Японии действительно электрические провода не убирают в землю, поэтому над головой даже на небольшой улочке их целые лианы) становится «уродливой страной». Это как раз то, что нуждалось бы в *upgrade*’е при повторном издании – как почти идеальна сейчас ситуация с экологией, так и свое культурное и природное наследие Япония сохраняет как мало кто. А вот то, что тот же Киото, культурная столица Японии, становится банальным туристическим городом, что ярче и громче всего на японских улицах – те же *rachinko parlors* и прочие развлекательные центры, торговый центр где-нибудь в префектуре Тиба под Токио не отличить от «Меги» в наших Химках, а традиционная культура вроде каллиграфии, чайного действа и т.д. становится экзотическим убежищем крайнего меньшинства, – поспорить, увы, сложно⁴³...

и переводчика, публиковавшегося под псевдонимом Игорь Курай. См. нашу рецензию на его книгу «Японские ночи»: *Чанцев А. From Japan with Sorokin // НЛО. 2005. № 75* (<http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/rec29.html>).

⁴³ А верить Керру есть все основания – в той же книге «Собаки и демоны» он писал о том, что культура безопасности в Японии желает оставить подчас лучшего – случившаяся после Фукусима была тому трагическим подтверждением. Градус же алармизма по поводу утраты Японией своей традиционной культуры в книге был едва ли не выше, чем в этой, что говорит не об улучшении ситуации с точки зрения Керра, но – о трагическом и усталом принятии тенденции что ли.

БЫТЬ ПЫЛЬЦОЙ

Фернандо Пессоа. Книга непокоя / Пер. с порт. И. Фещенко-Скворцовой. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 488 с

Можно не говорить дежурных слов о том, что выход этой книги – настоящее событие, красный день календаря (до этого публиковались лишь отрывки в переводе Бориса Дубина) и как поздно у нас складывается хотя бы скелет европейского модернизма. А вот о модернизме поговорить можно было бы, потому что «Книга непокоя» по сути – эпифания постмодернистских концептов Борхеса и Эко. Книга, написанная от вымышленного лица (Бернарду Суареш, помощник бухгалтера в Лиссабоне), мало того, так и не собранная Пессоа при жизни из тысячи заметок на листах, бланках и салфетках, но и принципиально не имеющая общепризнанной редакции и структуры («организация книги должна базироваться на выборе»), спорящая со всеми конвенциями, от этических (об этом ниже) до грамматических («я пишу не на португальском, я пишу самим собою»).

Не таким ли и дискретным, как эти абсолютно разномерные отрывки, от афоризма до небольшого рассказа, и должен быть разговор о главной книге главного португальца? Ведь и разностилье здесь, кажется, принципиально – начинаясь с установочного вполне тогда декадансного маньеризма в духе Уайльда и Гюисманса (аналог – «Портрет художника в юности»), с остановкой на множестве стилей (уже «Улисс»), Пессоа нащупывает собственный язык, распрощавшись с традиционным («красивая юноша» – уже «Финнеган»?).

Хотя начинает Пессоа раньше декадентов. «Блуждающие огни преходящей славы, порождаемые нашей развращенностью, по крайней мере освещают тьму нашего существования. Лишь несчастье возвышает» – Монтень, Шатобриан или любимые им католики? «Вся жизнь человеческой души – это движение в полумраке. Мы живем в сумерках сознания, никогда не будучи уверенными, что знаем, кто мы или кем мы себя воображаем» – Паскаль?

«Горе тебе, если, рожденный свободным, самодостаточным, ты обрекаешься нуждой жить вместе с людьми». Как не спутать с Ницше?

Вот и Гюисманс: «Не имея возможности иметь веру, отвлеченную от человека, не зная даже, что с ней делать, мы имели лишь одну возможность: оставить себе, чтобы не потерять живую душу, эстетическое созерцание жизни».

И даже не нужно воображения, чтобы представить, что читаешь эти строки раньше, чем что-то подобное напишет Юнгер: «Вспоминаются мне в далеком свете маяка все рыдания, доказывающие, что воображение – это женщина: самоубийство, бегство, отречение, великие проявления аристократизма индивидуальности, плащ и шпага существований не на подмостках сцены».

На сцене в изощренной игре масок, псевдонимов и гетеронимов Пессоа не фланер ли Беньямина прогуливается по улицам Лиссабона? «Не существует никакой разницы между мною и улицами, близкими к Таможенной, за исключением одного: они являются улицами, а я – живой душой, но возможно, и это ничего не значит перед тем, что есть сущность всех вещей».

Или это прогуливается джазовый Виан, отсюда и синкопированный, вечно импровизационный ритм этой прозы? «У меня слипаются веки на ногах, которые еле волочатся по земле. Я хотел уснуть, потому что иду. Мой рот закрыт, будто губы склеились. Моя прогулка терпит крушение».

Под знаменем Чорана продолжается эта прогулка: «Если бы я только мог противопоставить громадной всепоглощающей бездне славу моего разочарования и поднять безверие как знамя поражения!»

Со средневековым изяществом и благородным шутовством Владимира Казакова: «Это так искренне... Зачем говорить об этом? Вы меня уязвили. Зачем лишать нашу беседу ее нереальности? ... Ведь это почти возможная беседа за чайным столом между прекрасной женщиной и выдумщиком ощущений».

Или совсем современного Михаила Бараша: «Этот рассвет – первый рассвет мира. Никогда этот цвет розы, желтеющей до горячего белого цвета, не запечатлевался так на фасадах домов, что смотрят застекленными очами, в лицо тишины, приходящей с растущим светом. Никогда не было этого часа, ни этого света, ни этого моего существа».

«Хранить в тени то благородство личности, проявляющееся в способности ничего не требовать от жизни. Существовать во вращающихся мирах, словно цветочная пыльца, что поднимается вверх в вечернем воздухе от дуновения ветра, и оцепенение ночи позволяет ей, чуть заметной, опуститься там, где придется. Быть этим, спокойно обладая знанием, ни радостным, ни грустным, постигаемым на солнце его сияния и при свете звезд его отстранения».

Так много цитат объясняется не только оторопью рецензента перед этим литературным колоссом, но и – желанием, закрыв книгу, не только перечитать ее, но и переписать. Уже в марте есть книга года.

20 кг человеческих глаз: 2 войны

Курцио Малапарте. Капут / Пер. с ит. Г. Федорова под ред. К. Жолудевой. М.: Ад Маргинем Пресс. 2015. 440 с

Радостная и одновременная печальная закономерность – действительные значимые, даже классические книги приходят к нам с огромным опозданием, не оставят книжных полок без пополнения. Так произошло и с переводом книги Малапарте – псевдоним итальянского писателя и журналиста Курта Эриха Зукерта. После конфликта с Муссолини он бежал от преследований военкором на Восточный фронт, который прошел вдоль и поперек. «Капут» вышел в 1944 году, в 1949 – продолжение «Шкура».

Не знаю, кто так писал о войне: тогда – военные и послевоенные высокие дневники Юнгера, после – разве что эстетский садизм «Благоволительниц» Джонатана Литтелла играет на пару лиг ниже.

Нет, ожидаемый в данном контексте гуманистический пафос у Малапарте (кстати, антоним Бонапарте означает «злая доля») есть, а осуждение немцев – даже зашкаливающее острое. Немцы – движимы страхом перед ущербными, они лелеют свою боль, не умеют быть свободными, а их судьба – превратиться в *kaputt*, то есть в жертву (немецкое слово происходит от древнееврейского). И герой – да полностью автобиографический, то есть – автор кинется, наплевав на собственную жизнь, если не спасти сбитых русских летчиц, то (они все уже мертвы) не дать немецкой швали надругаться над их мертвыми прекрасными телами.

И прекрасное здесь помянуто не зря. Ибо – маска ли, суть – эстетизм итальянского офицера зашкаливает – возможно, чтобы отстранить другое. Он – такой фланер войны, и «Капут» – прежде всего наблюдения по ходу. «Я направился в Копоу пешком. Возле университета меня остановил поэт Эминеску, приглашая взглянуть на свой памятник. В прохладной тени деревьев птичье сообщество располагалось на ветках. А один птенец сидел на плече поэта. Я вспомнил, что у меня в кармане рекомендательное письмо к сенатору Садовяну, человеку высокой культуры, счастливому любимцу муз. Вот он-то наверняка предложит мне стакан холодного пива и, конечно же, прочтет стихи Эминеску».

Если он останавливается на постой даже в простреливаемом брошенном городе, то непременно хорошее вино, патефон и книги. И, разумеется, его знает единственный продавец в городе, у которого можно обзавестись достойным чаем.

Он много общается с высшей знатью, дипломатами и просто в светском обществе. Шокирует их автоцитатой из своей книги о том, что Гитлер на самом деле – женщина (а вместо Христа распяли ко́та – но это так, уйльдовский *mot*). Это, разумеется, игра, ибо лучше он расскажет людям в салоне о той настоящей войне, которую не видели они и видел он: об убитом нацистами советском партизане 10 лет от роду или 20 килограммах человеческих глаз, что он принял сначала за очищенные устрицы. Или просветит гестаповцев, что весьма скоро советские солдаты займутся с ними весьма грубым сексом.

Он будет дискутировать с Мальро и Пиранделло, когда разойдется с ними во взглядах на политику.

Бросит фразу, что Гиммлер похож на Стравинского.

Развлечет и читателя почти гоголевской детализированной историей о ловли форели (зачеркнуто) лосося, огромного и строптивого финского лосося, который показывал характер и играл с высоким нацистским чином – тот не мог вытащить его три часа, приказал пристрелить, чтобы не опозориться поражением.

Он опишет трупы в духе *death porn*.

Сюжетом тут, конечно, странствия аристократа духа. Композицией – рассказ в рассказе, страницы бесед на французском, воспоминания, вот еще красивый образ. Стилем – то гоголевские же бесконечные пассажи о красоте украинских птиц, то бабелевский метал («солнце било молотом по чугунным плитам заливов»), то жесткий футуризм о летающих глазах, зеленых лошадях, гнедом запахе и вони железной падали. И все это – с силой почти откровения.

**Лоран Бине. ННнН / Пер. с фр. Н.
Васильковой. М.: Фантом Пресс, 2016. 416 с**

Аннотация, гордо сообщающая о присужденной роману Гонкуровской премии и издании книги более чем в 30 странах, подкрепленная к тому же восторженными отзывами (от Марио Варгаса Льюиса до Брета Истона Эллиса), заманивает, как бокал охлажденного белого вина в душный московский вечер.

Привлекает и сама история – убийства Райнхарда Гейдриха, любимца Гитлера, одного из «эффективнейших менеджеров» Третьего Рейха и идеолога Холокоста, прозванного во время управления им Чехословакией Пращским Палачом («мясник... который нас всех погубят», характеризуют его герои «Человека из высокого замка» Ф. Дика, романа, где немцы победили и Гейдрих может стать новым фюрером). Простые чешский и словацкий солдат осуществили долго планировавшееся покушение. Толпы гестаповцев несколько дней штурмовали пражскую православную церковь Кирилла и Мефодия, где они укрылись. Да, есть много книг и фильмов о героях, не говоря об экспозиции в той самой церкви.

Довольно медленно запрягая, автор приводит множество цитат из трудов, документов, даже видео и ТВ фильмов. Он серьезно подготовился, и мы замерли в ожидании скрупулезного воссоздания истории.

Но... еще одна заминка... дальше как-то странно. Бине продолжает рассказывать, как он хотел, но не купил биографию Гейдриха (дорого и сложно платить в интернете). Что сказала его девушка по этому поводу (извините, девушек он упоминает целых три, как и их ссоры и расставания). Как он любит смотреть канал исторических фильмов. Как он читал тех же «Благоволительниц» – успех этой книги явно его беспокоит, к Литтеллу и его герою он возвращается несколько раз, пока не припечатает их скопом прозвищем «Уэльбек у нацистов».

Это такой человеческий документ, личная история – написания романа об истории? Автор и не скрывает: «если уж создаю новый тип отношений с читателем, надо говорить яснее. В тот же вечер по телевизору показывают документальную ленту, посвященную старому голливудскому фильму о генерале Паттоне...» Что ж, и это может быть любопытным – в конце концов, история Гейдриха прекрасно задокументирована...

Но довольно объемный роман продолжает пухнуть не за счет деталей, но – все того же рассказа автора о поиске этих самых деталей, обиженной полемики с другими авторами и просто каких-то очевидностей. Диверсантов из Лондона в захваченном немцами Пльзене интересуется «вовсе не пиво», которым славен город, а находящееся там предприятие «Шкоды» / один из героев красавчик и похож «на общего сына Кэри Гранта и Тони Кертиса» (если бы у них мог быть общий сын). Избыточность уже откровенно оборачивается банальностью...

Когда же кровавого нациста расстреливают (он умирает в больнице через пару дней), хоронят, а героев находят, но не могут взять живыми в плен – вздыхаешь, прося прощение за святотатство. Наконец-то! Но «just remember that death is not the end», Боб Дилан был прав, – терпеливого читателя ждет еще множество виньеток о том, как Бине сочувствует пражским героям, жителям их родного села (нацисты сравнивали его с землей и расстреляли всех жителей), всем жертвам войны... Как закончили свою жизнь все даже второстепенные персонажи этой истории... И как автору не хочется заканчивать книгу. Последнему – безоговорочно веришь.

Размыкая космический круг

Роберт Е. Нортон. Тайная Германия: Стефан Георге и его круг / Пер. с англ. В. Быстрова. СПб.: Наука, 2016. 781 с

Банально так начинать биографический обзор, но с биографией Стефана Георге действительно не все очевидно. Без скидок умопомрачительная слава при жизни и – тот интеллектуальный вес и влияние на культуру, которое мало у кого было (Ницше? Юнгер?). В своем кружке интеллектуалов он действительно был царь и бог, с правом казнить или миловать, с днем рождения под конец жизни его поздравляли правители, в газетах упоминали в одном ряду с Вильсоном, Клемансо, Ганди и Лениным, а еще в Первую мировую солдаты нашивали на шинели дополнительный карман, чтобы положить туда его сборник стихов «Звезда союза». Но после смерти – уже Вторая мировая резко перелистала страницы эпохи? – его влияние быстро идет на убыль, и сейчас мало для кого он настолько актуален (автор книги, говоря о своих биографических штудиях, даже вызывал недоумение в Германии – кому дескать сейчас нужен Георге?). И опять же необычно в нашей стране. С одной стороны, в интернете его не цитируют, «Озон» предлагает лишь какие-то старые издания. С другой же, Георге мало, но метко продолжают переводить, ему посвящена весьма активно обновляющаяся страница «ВКонтакте»...

Биография Нортонна хороша тем, что это действительно – Георге и его круг и его эпоха, ведь жизнь Георге (1868–1933), хоть и пришлось на взрывоопасный период конца века – Первой мировой – Версальского договора – Веймарской республики – зарождения нацизма – удивительно бессобытийна. Он всегда в стороне (сознательно!), он всегда – в духе и слове. Более того, современные селебритиз могли бы учиться у германского поэта тому, как скрывать свою жизнь от поклонников (и самому подавать биографам отобранные факты) – он с юности не имел постоянного жилья, постоянно путешествовал (под конец жизни поклонники знали его требования к обстановке и кухне – сейчас это называется «райдер», практикуется рок-звездами), вел обширную переписку, но требовал вернуть ему письма или тут же уничтожить их, иногда просто исчезал, уехав куда-нибудь в Швейцарию (за границей это не считалось)... Между тем – еще парадокс – те же поклонники умудрились задокументировать его жизнь буквально до ежедневного шага, до каждой реплики...

Родился в старом патриархальном городке Бингене. Мать – ревностная верующая, отец – винодел-бонвиван. Должен был наследовать свое дело, но – слава Богу, отец не заставлял, все, видимо, скоро поняв. Был отправлен в гимназию и университет, где учил языки, много читал, был выше среднего культурного уровня на две головы в прыжке, но при этом показывал средние результаты. Запомнился надменностью – уже тогда планировал себе славу уровня Цезаря, ни с кем не общался. «Подчеркнуто отстраненный, отмеченный печальной и даже мрачной замкнутостью и, очевидно, обладающий незаурядной чувственностью, он, казалось, был уже совершенно безразличен к мирским увлечениям, занимавшим его сверстников». И тогда же проявились все его черты – влюбился в рано умершего одноклассника (тот, как и все, недоумевал), издавал с группой друзей-единомышленников-поклонников поэтический журнал, совершал странности (то гипноз и магическое действие, то стены в комнате общежития раскрасит). Создал и свой язык – тогда была такая мода, впрочем, эсперанто, волапюк и т.д. – с которого (!) переводил свои стихи на немецкий⁴⁴.

⁴⁴ Георге, впрочем, пошел дальше – реформируя свой немецкий язык: любил двоеточие вместо многоточия, ставил точку иногда посреди предложения, писал немецкие слова со строчной буквы и так далее.

Дальше – вялые движения в официальном поиске себя. Филологический факультет привлекает больше правового, но и он не оканчивается. Уже переводя (его переводы высоко ценили Метерлинк и д'Аннунцио) и желая отполировать языки, начинает путешествовать. Англия, континентальная Европа и – Париж. Париж символистов, круг Малларме.

Первые подражательные, в духе господствовавшего тогда символизма, стихи. И, пожалуй, два ярких события. Первое – до беспамьяства и глупых поступков, влюбленность в Вене в юного Гофманстала. Тот пошел вроде бы на контакт, но не настолько – затем его спасали его родители, Георге на всю жизнь невзлюбил Вену, откуда бежал, оскорбленный, но с Гофмансталем продолжал с переменным успехом общаться и через годы (редкий случай – обычно Георге и за самые незначительные погрешности вычеркивал из своей жизни полностью), тот послушно поставлял стихи и предлагал помощь для журнала Георге. Второе событие – прозванный и возвеличенный немецким гением, номер два после Гете практически, Георге слабо переносил Германию, мечтал уехать то в Мексику юношей, то серьезно подумывал стать французским поэтом. Его французский был практически native, как сейчас бы сказали, но стихи его, по мнению тех же поэтов из круга Малларме, все же звучали не так, как на родном языке. И Георге – опять же редкий случай, когда он слушал мнения других, а не внутренний голос призвания – решил остаться в Германии, на этот раз обрубив свои связи с Францией (символистов он скоро оставил позади). Теперь он полностью обращен к Германии – Рильке, Зиммель и Лу Андреас-Саломе сменили Малларме (он считал его бездельником, тот не писал ничего нового) и Верлена (нищий попрошайка).

На этом этапе – довольно рано, на рубеже третьего десятка – почти закончилась биография, обретя свою неизменную до смерти форму, и сложилась личность. Весьма неприятная – но попробуй сказать это его кругу георгеанцев («George-Kreis», кружок Георге). «Злая сила исходила от него, сила, которая заставила меня ощутить его бесчеловечность», отмечала поклонница из круга Сабина Лепсиус, а та женщина, которую он единственную сильно любил и на которой чуть было не женился, в свою очередь восхищаясь им до конца жизни и в другом браке, признавалась, что «испытывала к Георге нечто вроде физического отвращения, некую инстинктивную неприязнь к тому, кто, как она ощущала, проявлял некую неуловимую безжизненную холодность». Да, со своей своеобразной красотой, копной быстро поседевших волос, зловещим взглядом, он прекрасно сошел бы за вампира (он и работать любил очень рано, еще затемно), если бы их тогда еще ловили. И, подобно пауку, он сплел вокруг себя этот круг поклонников, настоящую паутину-network, довольно протяженного географически свойства: «удивительно, как Георге, который, казалось, всегда был в движении – начинал неделю, сидя в кафе Луитпольда в Мюнхене, на следующий день был уже в Бингене, затем отправлялся по какой-то надобности в Бельгию или Голландию, и заканчивал неделю тем, что немного задерживался в Берлине, – мог когда-либо находить время, чтобы писать, тем более писать поэзию такого рода, какой никогда не слышали на немецком языке ранее». Да, и за работой он не позволял себя видеть, даже рабочий стол полностью очищал, как разведчик, если в святая святых вторгался таки посетитель.

Вместо биографии начинается высокая поэзия – от «Гимнов» и «Года души» до «Седьмого кольца» и «Нового царства» (в оригинале, конечно, Reich) – Георге, кстати, написал по нынешним да и тем меркам довольно мало, всего 9 сборников, больше даже переводил (почти всего Данте, Шекспира, Бодлера). И – то, что можно условно назвать влиянием на умы. Он (не значась, впрочем, главным редактором) почти 30 лет вместе со своим кругом издает поэтический журнал «Листки искусства» (Blätter für die Kunst). Под конец жизни к этому прибавились еще сборники (среднее между толстым журналом и научным сборником) и – около двадцати книг от авторов его круга (Роберт Бёрингер, Карл Вольфскель, Фридрих Гундольф, Эрнст Канторович, Людвиг Клагес, братья Клаус, Александер и Бертольд фон Штауффенберг, Альфред Шулер и др. – фотографий его единомышленников в книге больше, чем самого Георге) – в том

числе очень «сыгравшие» книги о Ницше и Фридрихе Великом. Надо ли говорить, что ни одна запятая во всей этой печатной продукции не ставилась без высочайшего визирования Георге?

А теперь о неоднозначностях с его взглядами – то есть, скорее, с их рецепцией. Георге воспринимался не только как духовный учитель, вождь всей Европы, но и многие серьезно рассматривали его как потенциального правителя. При этом он не написал ни одной политической работы, от политики буквально воротил нос. Мало того, мало кто был так чужд личности, как он, – когда поэту решили вручить только что основанную премию Гете, он долго думал, потом нехотя принял ее, на вручении, разумеется, не появившись и планируя вернуть ее, если на следующий раз ее вручат кому-нибудь неподобающему («слава Богу, этот агнец своим решением сохранил мне много денег», в своем духе мрачно шутил Георге, когда через год номинировали Альберта Швейцера). Не поэтому ли, несколько раз обсуждая его кандидатуру в Нобелевском комитете, премию ему так не вручили?

Что же с его взглядами, транслировавшимися в его стихах, его редакторской работой, книгами его последователей? Можно ли согласиться с Вальтером Беньямином, очень ценившем Георге как поэта, но очень настороженно относящимся к его наставническо-идеологическим притязаниям? Взгляды эти скорее приближены к духовному традиционализму. «Принадлежащий к элите, настроенный в пользу иерархии, антидемократический, и весьма подозрительный ко всем формам рационализма, Георге придерживался убеждений и ценностей, которые разделялись антимодернистскими интеллектуалами Германии начала XX века», суммирует Нортон в предисловии. Встречаются зачастую и суждения, относящие Георге к «консервативной революции», но это несколько спорно. Как, и мы уже имели основание в этом убедиться, многое вокруг его фигуры. Так, Георге, например, приветствовал поражение Германии в войне, революционные преобразования, размышлял даже о большевизме, но – исключительно потому, что старые формы германской духовности ему (вспомним желание покинуть страну) опротивели уже с молодости. Да и такая частность, к слову, как пол: Георге был гомосексуален (в греческом духе⁴⁵, наставничества учителя физически прекрасному мальчику, правда, в обязательный тест для мальчика входило умение если не понимать стихи, то хотя бы правильно их декламировать, Георге или собственные), при этом исповедовал целибат и мизигонию (несколько учеников было с презрением изгнано из его круга после женитьбы, не дай Бог, еще и раньше положенного, по Георге, срока в 40 лет). Примеры, когда поэт выпадает из какой-либо стройной идеологической структуры, можно множить. При этом надо иметь в виду – он претендовал на *Sonderweg*, особый путь, на создание собственной духовной системы, исключительной и всеобъемлющей (и это хорошо видно по эволюции его стихотворных сборников – от символистской лирики до довольно тяжеловесной поэзии-учения, в духе Даниила Андреева).

Но сам Георге мог сколько угодно грезить о духовной аристократии (*geistigseelische Aristokratie*), что культурным и даже религиозным заветом поведет за собой народ возвыситься и преобразиться. Эпоха думала за него. Ты мог писать черным по белому, но никто не обещал, что тебя не прочтут белым по черному, как то было с Ницше и нацистами. Кстати, интересная тема – Георге очень внимательно читал Ницше, но имел к нему множество претензий (а – разменял себя на плохо усвоенную филологию, б – не оставил учеников). А они, кстати, были весьма похожи – и кочевническая жизнь без своего дома, и несчастливая личная жизнь. Однако, «увлеченность Георге Ницше, потребность сравнить себя с ним, чтобы только продемонстрировать собственное превосходство, означает более амбивалентное отношение к нему, чем Георге готов был признать. В мыслях Ницше было многое, что внутренне привлекало

⁴⁵ «Стиль Георге в стихотворении, несомненно, узнаваем, но тема неоязыческого празднования солнцестояния, наряду с пристальным вниманием к мужской сексуальности, отмеченным влиянием идей Шулера и стремлением символической археологии Бахофена ввести всеобъемлющую и детально проработанную систему, свидетельствуют о том, что Георге продолжал симпатизировать идеям Космического круга и они были ему близки».

Георге, оба имели один и тот же идеологический темперамент, но для Георге было невыносимо представление, что он мог зависеть от предшественника или, что какая-то из его идей не была его собственной. Самое большое, что Ницше было дозволено, – стать заслуживающим похвалы, даже принесшим пользу первопроходцем, но в конечном счете павшим в силу порочного характера».

И – интерпретация. Даже на уровне риторики еще до каких-либо нацистов его можно было бы записать в их ряды (кто у кого «списал», другой вопрос – как говорится, носилось в воздухе). Он, его ученики писали об утрате, пожертвовании себя ради коллектива, о необходимости новой героической эпохи, об образе духовного воина и учителя-вождя (да, Führer). Одинокий Художник, писал «Листок», он же Воин, должен поднять «меч войны» и «сокрушить тьму и чернь, покусившиеся на великие ценности». Однако затем высказывается противоположное мнение – Художнику «не следует заниматься такими низкими делами, как, например, “мир” – он слишком занят поддержанием “вечного огня”, чтобы это ни значило». Вспомнить еще, что Учитель упорно отказывался считать человеческими существами женщин, все народы не белого цвета кожи, ненавидел варварские страны Россию и Америку... Да и солярный индуистский символ свастику (один из его учеников даже совершил паломничество в Индию) в оформлении журнала использовался не раз...

Но опять и опять противоречия. Георге приветствовал тот же националистический принцип в своих собственных работах, но дружил с Клаусом фон Штауффенбергом, на покушение на Гитлера которого подтолкнуло впоследствии бесчеловечное отношение гитлеровцев с русскими пленными и евреями. На казнь фон Штауффенберг вышел, кстати, с совершенно георгеанскими словами «Да здравствует священная Германия!»

Еще до поражения Германии в Первой мировой он – ожидал этого поражения, тех изменений, что оно принесет внутри страны: война, по Георге, «является, скорее, прелюдией к более поздним и более важным происшествиям. Самое замечательное, что события уже вырвались из-под узды всех возниц и теперь несутся с роковым грохотом своим собственным путем». Он заочно как бы принял те изменения, как Блок⁴⁶ принял не революцию, но то, что чаял за ней. При этом находясь в состоянии внутренней эмиграции и тотального эскапизма – вне зависимости от времен на дворе: «стремясь убежать от мира, который был для них невыносим, Георге и его сторонники изобрели альтернативную вселенную, управляемую своими собственными высшими принципами и законами, сотворили новое царство, за которым Георге надзирал как первосвященник, верховный правитель и просветленный пророк».

Конечно же, обретшие силу нацисты мечтали пополнить Георге в свой клан. Замечательный пиар-ход их политтехнологи придумали, когда по закону о расовом происхождении многие ученые и художники евреи были изгнаны со своих должностей, покинули страну. Георге буквально на коленях и на любых условиях умоляли войти в Академию писателей (брatья Манн, Деблин ее как раз покинули). Пожалуй, единственный случай, когда Георге выступил с ответным письмом. Смутно отметив необходимость некоторых духовных реформ, в своей едко саркастической манере он подытожил свой категорический отказ (он абсолютно не рассматривал для себя возможность участвовать в Академии с личностями вроде Готфрида Бенна и Гвидо Кольбенеяера, но того же Томаса Манна, впрочем, ставил как писателя едва ли выше пустого места) – «я не могу сказать джентльменам из правительства, что они должны думать о моем творчестве и как оценивать его значение для себя». На этом Георге в очередной раз уехал в Швейцарию, где вскорости (так и хочется сказать – от греха подальше) и умер.

Больше к нему Геббельс не приставал, но отыгрался после смерти – правительственные телеграммы и публикации на первых страницах ведущих газет посмертно зачислили Георге в предвозвестники гитлеризма...

⁴⁶ Вспомним, что в одной из статей В. Розанов назвал Блока «красивым мертвецом».

И тут, конечно, учитывая все деликатные коннотации, важен тон биографа. Он выдержан и спокоен, за что уже достоин всяческих похвал. Нортон явно любит свой предмет, но, конечно, без безумия учеников-георгеанцев. Может даже и пожурить: «сравнение утонченного, сдержанного, гуманного Гофмансталя, обладающего тонкой и чувствительной душой, с душевнобольным императором, прославившемся своими кровожадными и безумными деяниями, являлось таким гротескным и столь неуместным, что выставляло в неприглядном свете скорее самого Георге, чем Гофмансталя». И Нортон весьма дотошен в отступлениях – там, где они действительно нелишни: расскажет историю родного города Георге, Пруссии во времена Веймарской республики или о тех, кто писал об императоре Элагабале-Гелиогабале-Альгабале, герое третьего поэтического сборника Георге (де Сад – Готье – Арто), о первых исследованиях и борьбе за права (хотя слово, конечно, не из той эпохи, как и само явление) андрогинов или уранийцев, как тогда называли приверженцев однополый любви. Похвалим сразу за все уж – разбор поэзии имеет место, но не заходит на чуждые биографу литературоведческие поля и не отличается ангажированностью.

Одно жаль – прекрасно изданная (шрифты, иллюстрации) и действительно объемная книга очень напоминает издания самого Георге – изысканно оформленные и малотиражные, «для великих посвященных». Тираж (700 экземпляров) и цена (около 2 тысяч рублей) делают книгу действительно изданием для избранных...

Аромат полярной звезды

Евгений Штейнер. Манга Хокусая: Энциклопедия старой японской жизни в картинках. Полная публикация, исследование и комментарий. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2016. 218 с

«Манга» Хокусая известна всем. Что это своеобразная энциклопедия японской жизни эпохи Эдо, также не секрет, но не все, возможно, догадывались, что полного ее корпуса на русском до сих пор не было. А тут – роскошь четырехкилограммового издания: 3 тома рисунков и отдельный том комментариев от известного японоведа и специалиста в числе прочего именно по японскому изобразительному искусству Е. Штейнера. Справочного аппарата, не только жизненно почти необходимого для полноценного восприятия реалий тех лет, но и – это именно тот случай, когда комментарии сами представляют собой законченную работу весьма высокой ценности.

Структура тома – о самих гравюрах Хокусая мы не говорим, их нужно просто рассматривать – такова: предисловие об эпохе, Хокусае, жанре, всем сопутствующем, затем переводы 15 предисловий к японским выпускам тех лет, и – комментарий к самим рисункам. Который можно осваивать, эти самые рисунки рассматривая, или же как самостоятельное чтение. Что мы и сделали – не оторваться, как от походов героев Ю. Несбё, честное слово!

Введение (2,5 печатных листа) чем-то было, видимо, ограничено, но все равно очень успешно претендует на всеобъемлющий характер. Как та же «Манга» с ее 9 сотнями страниц, почти 4 тысячами сюжетов, 6 сотнями исторических и мифических персонажей (одних японских и китайских божеств за добрую сотню перевалило!). Расхожая максима о том, что Дублин, случись что, можно восстановить по «Улиссу», применима и тут, вообще не удивлюсь, если японцы с их любовью к собственной старине и тщанием когда-нибудь воссоздадут жизнь эпохи Эдо из ДНК Хокусаевой работы. Этаким Edo Life Park, имени К. Хокусая.

Кстати, про наименования и слова. Манга – эта та же манга, которую сейчас листают фанаты косплея и прочего J-Pop'a по всему миру, но различия семантических коннотаций важно иметь в виду, как и смысловые обертоны всех имен, что брал Хокусай на протяжении жизни (не пишу «псевдоним», потому что ученические, вассальные, артистические, монашеские и посмертные имена – для японцев больше, чем просто псевдоним). «С шести лет у меня была мания к рисованию облика вещей. К полусотне лет я опубликовал великое множество картинок, но все, что я произвел до семидесятилетнего возраста, не заслуживает внимания. В семьдесят три я немного научился передавать настоящий облик птиц и зверей, насекомых и рыб и постиг (букв.: «обрел сатори»), как растут травы и дерева. В дальнейшем, когда мне будет восемьдесят, я поднимусь к иным высотам; в девяносто я приближусь вплотную к постижению внутренней сути; в сто – я достигну проникновения в тайны духа. Когда мне будет сто десять, все, что я захочу начертать – точку или линию, – будет живым. Я заклинаю тех благородных мужей, кто переживет меня, посмотреть, – не втуне ли я это говорил». И в этом в равной степени – японская скромность, некоторое кокетство художника и смирение духовно работающего над собой человека. А ошибки Хокусая Штейнер также отмечает – нарисовал тот, например, когти у слона, потому что слонов в Японию хоть и ограниченными поставками привозили на потеху императору (к слоновьему визиту во дворец животное пришлось проапгрейдить до 4-го придворного ранга – лиц рангом ниже императору лицезреть не полагалось), как тому же Ивану Грозному, но Хокусай их не видел, как и Бернини, изобразивший похожего в профиль на Ленина слона на римской площади Минервы. Само же имя Хокусай – сокраще-

ние от «Хокутосай», то есть «Студии Северной (Полярной) звезды». Надо ли говорить, что этимология этого имени, как и тема Полярной звезды, оказывается раскрыта?

Штейнер прослеживает истоки художественного метода Хокусая, похожие работы, пришедшую из Китая тему всеобъемлющих списков, проводит аналогии (одна из версий, что вся «Манга» была нарисована за ночь на сходке коллективного экспромтного рисования – коллективистские японцы с древности любили творить сообща, можно вспомнить тоже сочинение рэнга с последующим включением их в антологии), находит внутренние рифмы (а рисунки действительно перекликались, и не только через страницу, не зря же говорил мастер, что «строфы должны соединяться друг с другом по аромату, резонансу, подобию, струению, прихоти или какому-нибудь неопределяемому свойству в этом роде»), рецепцию (именно с «Манги» – которая попала в Европу однажды в виде оберточной бумаги для более жизненно важных товаров – в 1860 в Париже началось увлечение японской живописью, покатали первые волны западной японофилии).

Объем, как, простите, сейчас сказали бы, интертекстуальность, чуть ли не центонность (японцы всегда очень хорошо относились к заимствованиям – а работать с ними, переосмыслять в свое умели гораздо лучше европейских (пост)модернистов) не зря, кажется, заставляют вспомнить «Улисс». «Мангу» можно проецировать почти на все (и наоборот!), находить в ней неожиданное, протягивать сравнения – через континенты и эпохи. Тут дисциплинирующе спят на деревянных брусках, как Маяковский в свое время. Встречаются, как Гулливеру, карлики и великаны. Множество рисунков видов храмовых крыш, даже заборов, оружия и водных колес, как у Леонардо. А сами картинки запечатлевают быстротекущее и вечное, как дзуйхицу Сэй Сёнагон, Камо-но Тёмэя и Кэнко-хоси.

Замечательно же в этом со всех сторон прекрасном издании, что пишет обо всем этом Е. Штейнер, при всей энциклопедичности и хокусаевой же всеохватности, красиво сочетая анализ с очень живыми, ироничными и даже сенсуальными интонациями (сам Хокусай как истинный японец был отнюдь не чужд всему человеческому, а телесное в Японии никогда не маркировалось как профанное). Браво сэнсэям!

Македонский салат

Роберт Каплан. Балканские призраки: Пронзительное путешествие сквозь историю / Пер. с англ. С. Бавина. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2017. 368 с

Книгу эту, признается автор, отказались издавать сразу несколько издательств (регион никто не знает, он неинтересен), а в странах вроде Македонии долгое время не было даже западных журналистов-стрингеров. Потом, правда, дело исправила война в Югославии и бомбежки НАТО. На принятие решения о начале которой повлияла отчасти – и эта книга. Клинтон с супругой (так у автора!) прочли труд автора, она качнула чашу весов в президентских сомнениях. И это, кажется, не рекламная похвальба – на обложке приведен хвалебный блерб бывшего главы ЦРУ, автор печатался в ведущих СМИ от The Washington Post до The New York Times, потом служил в Совете по оборонной политике США и Центре новой американской безопасности.

И действительно, что мы знаем о Трансильвании, кроме Дракулы, и о Румынии в целом? А об Албании, кроме ее всемирно известной мафии и brutальных молодых людей формата «пацаны с района»? О Македонии? Даже о близкой и дружественной нам Сербии, где, например, как говорят мне знакомые сербы, опять могут сдетонировать политическо-исторические конфликты далекого прошлого? Ведь, прав Каплан, регион как стал решающим фактором мировой политики в начале прошлого века (убийство Гаврилой Принципом австро-венгерского престолонаследника Франца Фердинанда как спусковой курок Первой мировой) – так Балканы могут стать им и для завершения XX века, писал автор накануне югославского конфликта.

Тем более достойна внимания книга у нас – не только из-за вполне экспертного рассказа о фантомных болях бывшего имперского величия Греции, частых сравнениях распада Югославии и Оттоманской империи с крахом Советского Союза и вообще частотности упоминания нашей страны (цитируется даже стамбульский травелог Бродского), но и из-за более тревожных вещей. Страх перед распространением влияния коммунистической империи и его возрождения – вещь привычная. Но тут – влиятельного журналиста, эксперта-регионоведа и аналитика! – Каплана тревожат новые призраки в виде... православного влияния! В каждой стране он отмечает ее религиозную принадлежность с особым акцентом на православный бэкграунд (с ремаркой, что экономика католических стран развивалась быстрее, чем православных). Он почти готов уравнивать коммунизм и православную церковь. Делает вывод, что труд мешает православным в их увлечении мистическим созерцанием и, в отличие опять же от католиков, сомневается в интеллектуальности православных (не говоря о византийском богословии и сохранении культурного наследия в монастырской среде – та же философия Серебряного века вышла очень в большой степени из шинели религиозной мысли!)⁴⁷. Еще шаг, и корни нацизма он найдет на Балканах («нацизм, к примеру, может претендовать на балканские корни. В венских ночлежках, этом рассаднике этнических обид, близких южному славянскому миру, Гитлер учился столь заразной ненависти») и обнаружит истоки современного терроризма в православии («Балканы породили первых террористов XX в.» – о Внутренней Македонской революционной организации, исследует болгарские корни в покушении на Иоанна Павла II и – находит, конечно, глубинную связь с КГБ). Он действительно боится некоего «православного

⁴⁷ Не продолжая этот действительно глупый сам по себе разговор, можно лишь вспомнить начало «Исповеди» Руссо, где он, считая католиков интеллектуально беднее протестантов, выводит это из приученности католиков не мыслить, но повиноваться...

альянса» – «да, Греция до сих пор является членом НАТО, но, если обстановка с безопасностью на Балканах ухудшится, она может втянуться глубже в необъявленный, но психологически реальный православный альянс». При этом, путешествуя по Сербии, Каплан крайне впечатлен ее православными монастырями, признает, что их средневековые иконописцы точнее и талантливее в изображении людей, чем живописцы Возрождения, а сербский Стефан умел подписываться, когда король Германии, император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса лишь ставил отпечаток большого пальца...

Но это из проходящего по разряду развесистой клюквы – с остальным все очень хорошо и интересно. Автор был в 80-е и 90-е там, куда многие не добрались и сегодня – ездил, иногда совершенно без контактов, не зная, где будет ночевать сегодня ночью, по окраинам Румынии, Македонии. Из православного монастыря он перемещается в мусульманский диско-бар, пьет с албанскими спортивными фанатами, выслушивает исповеди опального болгарского журналиста, живет в румынских гостиницах, где за сто с лишним долларов в день вместо горячей воды и отопления предлагаются услуги валютчиков с черного рынка, цыганских спекулянтов и проституток (постоянное внимание к недостаточному качеству сервиса и акцент на непросвещенности аборигенов в первую очередь западными ценностями выдают в авторе, конечно, тот колониальный взгляд, с которым на том же Западе давно и упорно борются)...

И откуда еще, право, узнаешь, как румынский король Кароль не в мифические правремена, а в прошлом веке продал дворец, где в золотом склепе хранилось сердце его матери, и о том, какой палимпсест в Румынии (родине меланхолии, по Чорану) ткется из лежащей поверх латинской склонности к мелодраме – «византийской склонности к интригам и мистицизму». Или почему в той же Румынии в ВУЗах обучаются арабские студенты и чем именно они вместо учебы занимаются. Или что нужно делать в Скопье вечером, куда пойти в Загребе или Софии вечером и как пить ракию с сербскими монахами, если ты еврей из Америки. И как фильм «Только не в воскресенье» Дассена и «Александрийский квартет» Даррела сделали Грецию культовым местом для западных туристов во главе с Генри Миллером, Леонардом Коэном и Юлом Бриннером и как печально эта эпоха максимального благоприятствования закончилась для греческой туристической индустрии из-за действий ее политиков...

А знать все это нужно, ведь в этом регионе, как в ирландском рагу (кстати, тот же французский салат из всего сразу назван в честь Македонии macedoine), перемешаны мертвыми узлами интересы столь многих стран – «в горах действовали двести сорок пять банд. Сербские и болгарские *comitadjis*, греческие *andartes*, албанцы, валахи...», а турки, русские и англичане пристально наблюдали и часто вовлекались...

Пока «Черную овцу и серого сокола» Ребекки Уэст, до сих пор основополагающую книгу для понимания менталитета балканцев и просто образец жанра травелог, не перевели на русский, «Балканским призракам» суждено остаться важной книгой в пантеоне балкановедения – со всеми ее плюсами и минусами.

Длинные шерстяные бунтарские танцы

Марта Грэм. Память крови. Автобиография. М.: Арт Гид, 2017. 240 с

Марта Грэм сделала для современного танца (сделала – с ним) примерно столько же, сколько Пина Бауш, Хосе Лимон, Мэри Вигман и Триша Браун. И не только для танца – можно вспомнить небывалые костюмы, инновационную сценографию, даже работу со светом.

И автобиография очень необычной женщины, прожившей 96 лет и поставившей 181 балет, тоже необычна. Не классический мемуар, а скорее – воспоминания и мысли. Больше литература. Как в «Поезде М» Патти Смит примерно. А еще многочисленные фотографии в книге отнюдь не пролистать – хочется скорее перепечатать их у себя в блоге.

Да, она рассказывает о себе. И о том времени – а она помнит много времени. Дает импрессионистическими мазками его портрет (приехав из дальней и очень традиционной провинции и впервые увидев полотна Шагала и Кандинского, она восхитилась, что кто-то мыслит мир, как она).

А времена были довольно суровыми, для гиперсвободолюбивой Марты и подавно. От слова «проститутка» в приличном обществе полагалось падать в обморок, ее с труппой на гастролях за экзотический вид приняли за цыганок и пытались ссадить с поезда, ее чернокожих учениц и подруг не пускали на представление и в люксовый отель (из гостиницы Марта тут же уехала, представление сказала отменить и – вопрос был решен).

Она пробивается среди всего этого. Ставила ультиматумы, уходила, могла даже вмазать с ноги. Недаром ее отец еще в молодости сказал ей – «Марта, ты та лошадь, что лучше всего бежит по грязной дорожке». Она прокладывала свою дорогу. «Помню, однажды в Бронксе я провела ночь с любовником, и пока мыла руки в раковине, мне вдруг стало ясно, что я не занимаюсь делом моего Отца. Это, конечно, библейская история, но я верю, что, если следовать за красотой, в которую ты веришь, ты достигнешь того, чего хочешь достичь». Даже не считала нужным бороться за права женщин – зачем, они и так у нее есть, внутри. Хотела танцевать того же Кандинского, когда «Весна священная» вызывала еще оторопь, а женщинам в лучшем случае полагалось танцевать в варьете, а уж никак не танец модерн босыми ногами.

А Марта, как и Пина, умудрилась разработать собственную методику. И даже терминологию – расслабление «релиз», сжатие «контракшн» или «вагинальный крик», как когда Йокаста «поднимается, плотно прижав одну ногу к груди и голове, со стопой, поднятой высоко над головой, и ее тело раскрыто в глубоком контракшн». Грэм считала, например, что в теле танцовщика больше косточек, и все они должны работать (танцуя «в трикотажном обтягивающем платье, которое еще больше обнаруживало натяжение в теле и сочленение костей и мышц», она выяснила, «как связаны между собой бедро и плечо» – так родились ее «длинные шерстяные бунтарские танцы»). А тело – «священное одеяние». «Если нужно делать одно движение снова и снова, не скучай, подумай о том, что танцуешь по направлению к смерти». Она считала танцующих – акробатами Бога, ведь «мы все временами ходим по канату обстоятельств. Мы, как и акробат, осознаем силу притяжения. Акробат улыбается, потому что в этот момент опасности он и живет. Он не выбирает падение».

И Марта Грэм часто улыбается в «Памяти крови». Вспоминая, как ужинала с ухаживающим гангстером, тот был с костолами и с пистолетом на столе (лучший столик и обслуживание были обеспечены дефолтно). Приехавшего буквальным образом без штанов соратника. Или как ей сказали, что с ее резкими танцами она скоро родит треугольник.

Почти смеется на страницах, вспоминая детские глаза Чаплина. Самую добрую на свете Лайзу Минелли. Золотой голос Сары Бернар. Блестящих Нуриева, Барышникова и Плисецкую. Или давнюю ученицу и потом почти подругу Мадонну.

Но пишет она и о своих болезнях, коме, об алкоголизме, депрессии. О разводе, боль от которого не проходит, как ожидалось, но только нарастает: «время, кажется, служит лишь ретортой, а огонь доводит ее содержимое до концентрата, и результат – быстрый и сильный яд, абсолютно чистый и неумолимо действующий». Или о любимых животных – гениальном ретривере (она связывала гениальность со способностью retrieve, то есть «находить, доставать»), слоне из джунглей, птицах, обезьянке, своих таксах, приходивших посмотреть на ее занятия...

К сожалению, мед сейчас развешивают чаще всего с ложкой дегтя – перевод здесь отличается излишним буквализмом (Дао, а не Тао, разрешил использовать свое высказывание вместо «дал свою цитату» и т.д.). Марта бы посмеялась, при хорошем раскладе.

Ветви и ответвления

**Фридрих Дюрренматт. Лабиринты: сюжеты / Пер.
с нем. Г. Снежинской. М.: Азбука-Аттикус, 2017. 512 с**

Главная ошибка, которая может приключиться при чтении этой книги, – свести «Лабиринты» к тому сору, из которого росли сюжеты книг швейцарского классика. Хотя формально это и так – он рассказывает истории рождений и становлений своих книг. Или нерождений – тех сюжетов, что пришли, но не были осуществлены, умерли в зачатке по той или иной причине.

Рождение и смерть – вообще ключевые слова для «Лабиринтов». Дюрренматт рассказывает, пусть и лапидарно, историю своей жизни и семьи (сложные взаимоотношения с пастором-отцом) – голодный и строптивый студент, несостоявшийся художник и математик, писатель «для себя» и «для заработка». Дает исторический ракурс – обвиняет вечно нейтральную Швейцарию в том, что ее статус способствовал несправедливостям (деньги диктаторских режимов в банках) и даже смертям (не пропускала через свои границы спасающихся от нацистов евреев). Рассказывает о тех смертях, что сопутствовали его жизни и существенным образом структурировали ее – смерти отца (впал в маразм, неузнаваем в гробу), матери (наоборот, помолодела), потом любимой овчарки (осознал тайну, суть смерти) и жены (не поверил, обиделся на нее). И тех встречах, что рождали спор, мысль, интеллектуальную жизнь. «Потому что все мы связаны. Люди родственники друг другу в гораздо большей мере, чем сами предполагают, ветви и ответвления, ростки и отростки их подлинного родословного древа сплелись гуще, чем мы думаем».

О встречах с Максом Фришем, например, с которым они считались единомышленниками и чуть ли не братьями. Или об Эрнсте Юнгере, с которым, как и со Стефаном Георге, у Дюрренматта была «плодотворная вражда». «Юнгер – один из самых прозрачных и вместе с тем самых туманных прозаиков. Он же и читатель, перерабатывающий невообразимые массивы литературы, от сочинений Отцов Церкви, “Тысячи и одной ночи” и до таких книг, о существовании которых только он один и знает. Читая Юнгера, я его понимаю, а как прочитал, тут же забываю все, что понял». О встрече с Хайдеггером на какой-то писательском съезде – тот сидел обособленно, игнорировал прочих. О Целане, который, во время редкого исхода из своей меланхолии, пил, вспоминал румынский и «горланил песни, словно резвившийся фавн».

Пишет он и о собственном круге чтения, что ценнее для расширения наших границ восприятия, ведь швейцарский юноша зачастую рос и на нерелевантных или просто неизвестных нам книгах. «А разбирательство началось с Барта (Карл Барт, автор «Церковной догматики». – А. Ч.). Это он воспитал из меня атеиста. Тогда же появились и первые крысы. Я вдруг понял, каким надо писать “Винтера” – как в лихорадочном сне. Призрачным, как белый пес надо мной в сгустившихся сумерках».

Но «Лабиринты» гораздо глубже, ведут дальше, чем обычный мемуар. Они ныряют, как тот же Кундера в своих последних книгах, в самую основополагающую культурную дискуссию. Дюрренматт рассуждает о Гегеле и Шопенгауэре, Гете и Кьеркегоре, доходит до Сократа и Платона, раз за разом возвращается к идее страны, государства и веры. Трех фундаментальных институтов, единых в том, что они, слишком многое требуя от человека, в итоге подавляют его, берут больше, чем дают взамен. А только «индивидуальная позиция по ту сторону веры и знания является той областью, в которой отдельный человек свободен. Вот эти моменты и стали решающе важными в моих дальнейших размышлениях».

Очень густая и европейская книга. Если – не общемировая.

Агент Евразии по вызову

Чарльз Кловер. Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи / Пер. с англ. Л. Сумм М.: Фантом Пресс, 2017. 496 с

Когда берешь переводную книгу западного автора о русской националистической идеологии, с некоторым оправданным основанием ждешь в меру занудной аналитики, ангажированности и неплохого урожая клюквы. Ничего этого нет, а есть практически работа по новейшей истории нашей страны, которая читается увлекательнее очередного романа Пелевина. Написанная с большим знанием нашей страны (автор работал шефом московского бюро Financial Times), интересом к ней и практически совсем без ляпов, как, например, в той же биографии Лимонова Э. Каррера, ставшей общеевропейским бестселлером.

И все это при том, что Кловер практикует почти стереоскопический, в 360 градусов подход. Дает исторический очерк (и отнюдь не на уровне Википедии или учебника истории), биографию своих героев, пересказывает их взгляды, прослеживает происхождение и контекст их подчас весьма экзотических воззрений, говорит о рецепции. Compliments уже, пожалуй, слишком много, но все они совершенно заслуженные.

Начинает свой отсчет – передав небольшой привет славянофилам и западникам – с Николая Трубецкого. О том, как русский эмигрант в Софии («плод битвы Вены и Тулы, где Тула победила») пришел от научных штудий на полях сравнительного языкознания к идее евразийства, оказался в центре так или иначе желающих восстановления монархии, победы над коммунистами или просто возвращения на родину изгнанников. И вдруг обнаружил себя в хитросплетении настоящих игр заговорщиков и спецслужб: его новые единомышленники мыслили уже в категориях заговора (они начали шифроваться, мануфактурой называли русскую диаспору в Европе, Аргентина обозначала Россию, нефть – евразийство), а советское правительство, резонно опасаясь эмигрантов и «бывших белогвардейцев», буквально нашпиговало этот круг своими агентами. Трубецкой скоро из него вышел, сама идея бесславно схлопнулась.

Между тем, националистическая идея (не совсем верно ее так называть, речь скорее как раз об идеях евразийского объединения по принципам языка, исторической, географической и прочих общностей) была слишком опасной и одновременно заманчивой, чтобы государство хотя бы на миг выпустило ее из рук (а когда выпускало – приходилось в лучшем случае разгребать потом обжигающие угли). Например, когда в 1965 году «группа известных националистов обратилась в Кремль с просьбой позволить им основать новую организацию, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (звучная аббревиатура ВООПИиК)», им было дано добро, но когда организация опять же стала приобретать черты квазиполитической, власть сделала свой контроль гораздо более пристальным.

Но, чувствуется, гораздо интереснее для автора – фигура Л. Н. Гумилева со всеми его противоречивыми отношениями с матерью, лагерным опытом, сложностями характера, научными амбициями, преследованиями, а затем некоторым попустительством со стороны властей... Кловер просиживает часы с А. Лукьяновым, покровителем Гумилева, попутно давая характеристику и ему как человеку «вовсе не одномерному, с твердокаменным марксизмом-ленинизмом он сочетал преданную любовь к Ахматовой, а ведь в глазах многих читателей поэтесса была символом личного противостояния тоталитаризму».

И если фигурой Льва Гумилева интересуются давно (его недавняя биография С. Белякова даже фигурировала в премиальных списках), то вот исчерпывающей интеллектуальной биографии южинского кружка Ю. Мамлеева – Е. Головина до сих пор нет (соответствующие главы в опять же западном исследовании «Наперекор современному миру: Традиционализм и

тайная интеллектуальная история XX века» Марка Сэдживика⁴⁸ лакуны восполнить не могут). Между тем «нехорошая квартира» в очень успокоенном Союзе, где читались лекции об абсолютно никому тогда неизвестных Геноне, Эволе и других правых, проводились алхимические опыты, в виде протеста выкрикивались фашистские лозунги (впрочем, по свидетельству очевидцев, контркультурные заигрывания Головина с фашизмом были впоследствии очень сильно преувеличены...) и «в присутствии Головина исчезали границы естественного мира, земля становилась огромной, беспредельной», заслуживает даже не сериалов, но фильмов. С Г. Джемалем и А. Прохановым в ролях не самого второго плана. Туда и пришел как-то робким учеником крайне начитанный юноша в галифе, с бритой головой и псевдонимом Ганс Зиверс – бунтующий сын (скорее всего) работника «конторы» Александр Дугин. Неплохо для Москвы 80-х, правда?

«Все запретное, все гонимое автоматически становилось для них обаятельным. Даже если запрет был обоснованным, как в случае с Эволой, это ограничение само по себе пробуждало острое желание прочесть, узнать. Эвола послужил для Дугина, Джемалея и некоторых других связующим звеном между их оккультными интересами и юношеским бунтом – и политикой».

С отвлечением на – подробный! – рассказ о Проханове, «ставшем своеобразным посредником между консерваторами и военными», и «маргинальном битнике» Лимонове, чье протестное мировоззрение, по мысли автора, сформировалась в 1970-е годы «на Нижнем Ист-Сайде Манхэттена – панк-рок, клуб CBGB, музыка панк-группы Ramones, героин в неограниченных количествах» (тут автор немного зарепортовался – весьма любящий себя Лимонов тяжелые наркотики все же обходил стороной). И о гораздо менее приятных креатурах вроде РНЕ и «Память» – к «реальной политике» разговор и приходит. И марширует перед глазами то, что мы недавно видели сами – на экранах телевизора, улицах Москвы. ЛДПР, оказавшаяся, пожалуй, «самым успешным из совместных проектов компартии и КГБ, направленных на перехват и контроль политической реформы». С. Курьянин, в брошюре «Постперестройка» массированно ворочавший идеями В. Соловьева, В. Вернадского и Н. Федорова. Август 1991 года, когда, «кажется, победа осталась не за общественным выбором и прозрачностью, а за теми, кто лучше умел мистифицировать, манипулировать, отводить глаза. Иными словами, победили более умелые заговорщики». Ч. Кловер вообще настолько неангажирован, что его пронизательные суждения граничат просто таки с антилиберальными: «...со временем появляется все больше доказательство того, что Ельцин стремился к кровопролитию, хотел силой добиться того, что не получалось осуществить политическими средствами: уничтожить оппозицию, приостановить действие конституции, в одностороннем порядке изменить баланс законодательной и исполнительной власти, резко расширив полномочия президента».

Больше всего же Кловера занимает анализ той синусоиды, благодаря которому значимые составляющие риторики евразийских идей Дугина, за которые его пару десятилетий назад таскали в КГБ и преследовали, вдруг попали в речи лидера государства, а сам он из законченного маргинала и контркультурщика стал чуть ли номенклатурным деятелем, кремлевским Мерлином. А дугинские идеи, хоть и претерпевали изменения (а самого его кидало из НБП в старобрядцы), но остались теми же – как и почему так изменилась власть и страна? Автор, кстати, под конец своей книги рекрутирует Лимонова лишь для дачи свидетельско-мемуарных показаний о бывшем однопартийце Дугине, однако сюжет здесь тот же – упрекающие ныне Лимонова за то, что де ныне продался власти, одобряя присоединение Крыма и создание СССР 2.0, просто не помнят (или не хотят вспоминать), что ровно эти же идеи он высказывал опять же десятилетиями раньше...

⁴⁸ См. наш отзыв: Западные суфии и средневековый Адмирал // Перемены. 2014. 5 июня (<http://www.peremeny.ru/blog/16791>).

Кловер, кстати, также рискует быть обвиненным в «кремлевском гранте» – он не столько обвиняет Путина в завинчивании гаек и евразийско-неосоветской идеологии, но и приводит свидетельства, что Путина во многом вынудили к этому (после либерального союзничества с Западом в борьбе с мировым терроризмом во время первого срока «атлантисты» из США в ответ взялись за ПРО, оранжевые революции и расширение НАТО и ЕС буквально до московских порогов). Тем более что «плюрализм в сердце российской автократии – тоже многовековая черта этого государства», а тезис об единоличной власти и принятии решений добрым или грозным царем – один из традиционных русских мифов... Вот и тот же крайне интересный исследователю Дугин политические бури бывшего Советского Союза «считал проявлением закулисной борьбы между марионеточными ставленниками атлантизма и агентами Евразии. Он зашел еще дальше и скопом обвинил КГБ в причастности к атлантическому заговору, в то время как патриоты-евразийцы, разъяснял он, это соперники КГБ из военной разведки ГРУ».

Впрочем, Кловер и не дает готовые ответы, но приводит все существующие трактовки недавних событий – от общепринятых до проходящих под грифом «теория заговора». Вместе с этими ответами мелькают и события уже совсем наших дней – вот отправляется в более или менее почетную отставку главный идеолог Кремля В. Сурков, «украсивший свой кабинет портретом Че Гевары, обожающий Тупака Шакура и на досуге пишущий тексты рок-песен», вот... Вот уже и последние страницы этой, все же повторю, книги столь же захватывающей, как сами исторические перипетии российского евразийства.

Самый дальний гейт

Эрика Фатланд. Советистан. Одиссея по Центральной Азии. Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан глазами норвежского антрополога. М.: Рипол классик, 2018. 528 с

Травелогги, массовое засевание которыми наблюдается и у нас, на Западе уже давно цветут пышным цветом. Как и у искушенного и пресыщенного путешественника, в чести уже страны не истоптанные, даже не экзотичные, а те, куда никто почти не ездит, о которых в массовом сознании – одна сплошная *tabula rasa*. Можно, например, вспомнить «Карту мира» Кристиана Крахта с его рассказами-посещениями Бутана и других на-карте-не-сразу-и-найдешь.

Впрочем, зачем ходить так далеко. Все страны Центральной Азии из книги молодого норвежского антрополога находятся от нас отнюдь не в другой части света, но – бывали ли мы там, собираемся ли в ближайший отпуск? Что вообще нам известно об этом регионе? Terra incognita же, сокрытая за маревом мифов, фактоидов, представлений еще времен советской эпохи или нынешних пугал вроде «трудовой миграции»...

Между тем, регион не только близок и важен для нас, но и по-восточному яркок, неожиданным, жесток и завораживающ. Взять хотя бы «Заххок» Владимира Медведева – «сыграв» в плане литературном, он, можно делать ставки, очень многим, как и автору данных строк, открыл глаза на то, что происходило в постсоветском Таджикистане.

Начало книги в этом плане символично, подчеркивает неведомость и закрытость для путешественников этого региона – на краю земли, за пределами осознания и ожиданий. Предупреждение сообщает о сложностях транскрибирования фамилий и путающих переименованиях топонимов (Семипалатинск – Семей). Следующая подглавка содержит лирический аккорд о пылающем кратере Врата Ада – советские еще геологи хотели было разрабатывать тут газовое месторождение, не стали, подожгли газ, чтобы избавить жителей от запаха метана, но горит месторождение до сих пор, местные же власти так и не засыпали его, только снесли соседние деревни, чтобы туристы не могли увидеть бедность живущих там. Автор заморожена видом и – боится полицейских (примут за шпионку) и всех проезжающих в этом *ultima thule*. Здесь, конечно, каждая деталь семантически заряжена, как банки и кремы Чумака. Мажорный проигрыш в следующей подглавке призван снять излишнее напряжение: Эрика Фатланд⁴⁹ еле находит самый дальний гейт в стамбульском аэропорте, вылетающие в Ашхабад пытаются вручить ей излишки своего багажа во избежание перевеса, а в самолете никто не сидит на своих местах и вообще не сидит в полете (стюардессы даже не пытаются навести порядок). Все это уже как минимум любопытно – если рассказами о Мальдивах или Ибице никого не удивишь, то путешествие в Узбекистан точно «наберет лайков».

Дальше, нужно иметь в виду, так и будет. Аспирантура, антропологические исследования, грант поминаются, но научной работой «Советистан» не является, претендует и тянется, но не дотягивает даже, а – молодой исследовательнице интереснее, кажется, записывать свои живые впечатления. И это даже не хороший научпоп (не люблю, впрочем, это определение, автоматически предполагающее некоторую редукцию и упрощение), а – отличный пост. С картами (прилагаются), фотографиями (лишь упоминаются), байками, отвлечениями и копипейстом обширных цитат. Читать до конца, лайкать заслуженно, автор, как говорили в незапамятные времена Живого журнала, выходявшего на албанском языке, «пеши исчо!».

⁴⁹ Фатланд обыгрывает и дискутирует корень «стан» – так и хочется отметить топонимный «ланд» в ее собственном имени...

Отсюда травеложные дзуйхицу автора о том, что волнует лично ее. О еде, гостеприимно запахнутой в нее местными и вызывающими скорбь желудка. О водителях. О восточных спутниках мужского рода, постоянно шокирующих ее допросами, замужем ли она, почему муж отпустил путешествовать ее одну, почему нет детей, или о своей склонности к разрешенному исламом многожёнству. Или рассказом о гостинице: «вдоль зеленых стен мятного оттенка стояли две коричневые кровати. Они упирались в единственное окно, которое не закрывалось. В унитазе плавало довольно крупное насекомое, разновидность которого определить мне так и не удалось. Похоже, что оно пробыло там довольно долгое время. Я попыталась его смыть, но в ответ плохо изолированные трубы издали только громкое бульканье. Насекомое невозмутимо продолжало качаться в мелкой водной ряби. Ванная представляла собой нечто среднее между раковиной и душем, однако использовать ее в качестве ванной не представлялось никакой возможности – для этого она была слишком мала. Из заклеенного коричневой изоляцией крана, вероятно, не пролилось ни капли еще со времен распада СССР».

Но это скорее *макро-съемка* житейских побасенок-приколов – во множестве представлены и ценнейшие *панорамные* снимки. Полигона для ядерных испытаний в Семипалатинске – дается, кстати, экскурс не только в историю ядерной гонки, испытаний, но и последствий для населения, постперестроечной российско-американо-казахской программы по ремедиации. Аральского моря – вдруг высохшего, но немного сейчас восстанавливаемого (пустыня в кристаллах соли – этот отсутствующий кадр буквально видишь). Бесконечных плакатов и золотых и мраморных статуй местных правителей на пустых (Ашхабад) или шумных (Казахстан) улицах. Озера в Кара-Куме. Снимки вообще имеют все шансы на победу в самых разных категориях – артхаусного конкурса (пустейшего полустанка в Киргизстане), National Geographic или Репортеров без границ / Amnesty International (когда киргизы в Оше резали узбеков, «в результате там было найдено восемь тел студенток со следами насилия, уродств от ножевых ранений и ожогов. У некоторых трупов были вырезаны животы, они были наполнены мусором и глазами»). Или просто кадров Бишкека: «за последние несколько лет между оставшихся с советских времен цементных построек то там, то здесь выросли турецкие торговые центры, неподалеку от которых солидные русские рестораны соревнуются с крутыми суши-барами».

Кадры, как и дороги, уходят вдаль, перспективу. Потому что в «Советистане» вполне находится место и для антропологии, и социологии, и истории (даже монгольских нашествий – для российских читателей В. Яна и Л. Гумилева это, возможно, и излишне, но для западного читателя может быть и в помощь). Уж не говоря об очерке бытования страны в советское время, яростную эпоху постсоветских катаклизмов и нынешней политической ситуации. Рахмон, Туркменбаши, Назарбаев – в книге можно найти их ЖЗЛ в формате краткого резюме!

Вся эта пестрота изложения отнюдь не утомляет глаз, но скрашивает захватывающее, подчас страшное, иногда (из вагона старого советского поезда несколько суток «показывают» однотипную пустыню) однообразное, как и сам объект изучения, повествование. Но субъективность здесь, скорее, двойного свойства. Не только яркого и симпатичного путешественника-блогера, но и ученого, разделяющего, увы, те конвенциональные парадигмы, что не разделять – моветон практически. Потому что едва ли не самые большие цитаты из научных собратьев – о голодоморе, ГУЛАГе, переселении народов, Афганистане и всех других грехах советской да и российской (Чечня) власти. Модное ныне понятие «аннексия» обнаруживается в более чем исторических далях: «сколько слоев нам удастся раскрыть? Мы могли бы вернуться назад, к Туркменбаши с его золочеными статуями, к эпохе Сталина и Советского Союза, а возможно, еще раньше, к русской аннексии, в те далекие времена, когда не было границ»...

На изложение же всевозможных инвектив оказала, боюсь, влияние восточная пышность слога: «это правда, что воля туркменского народа священна, однако с ним никто и никогда не советовался. Во времена Советского Союза никто не интересовался мнением туркмен, а их политики видели свою задачу только в собственном обогащении. Новое поколение

выросло со спутниковым телевидением и Интернетом, многие получили образование за границей. Сколько еще придется туркменскому народу терпеть угнетение и разбазаривание государственных средств ведущими политиками?». Тот факт, что большинство диктаторов региона являются выходцами из советской элиты, сохранили менталитет партийных бонз, подчеркивается многократно. Но факты не перестали упрямыться, тем более что Эрика Фатланд по-молодому честна, не лицемерит до конца в угоду идеологическому дискурсу и эти самые факты приводит. Что те же правители Советистана сейчас занимают антироссийскую позицию, борются не только с советским наследием, но и русским языком. Что аннексировать что-либо в отсутствии границ и вообще государственности довольно сложно: «на самом же деле, когда русские появились здесь в XIX в., туркменской нации как таковой вообще не существовало, а на ее месте проживали слабо связанные между собой племена, пребывающие в состоянии постоянных междоусобиц».

«То был период великих страданий, не говоря уже о том, что социалистический эксперимент привел еще и к экологической катастрофе. Однако, несмотря на это, не все было так уж плохо при Советском Союзе. Большевики делали серьезную ставку на школы и образование, и им удалось практически ликвидировать неграмотность даже в тех регионах Советского Союза, где она была подавляющей, например, в Центральной Азии. Ими прилагались огромные усилия по строительству дорог и инфраструктуры, и, кроме того, перед ними стояла задача обеспечить всем советским гражданам свободный доступ к медицинскому обслуживанию, балету, опере, а также другим видам культуры и общественного благосостояния». Одним словом, между собой дискутируют даже части небольшого пассажа. Как и люди в самих этих странах. Как, можно надеяться, с появлением подобных книг и отечественный читатель выйдет из тенет имперско-колониальных мифов к свету объективного знания (да, стиль официальных лозунгов Советистана действительно заразен!).

Krisis und Kritik

Ховард Айленд, Майкл У. Дженнингс. Вальтер Беньямин: критическая жизнь / Пер с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред. В. Анашвили и И. Чубарова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 720 с

Неожиданно, право, но Беньямину в России повезло. И при жизни за «социалистические наклонности» и дружбу с Брехтом его издавали, и съездил к нам интересно (про трудность геолокации и обледенелые улицы в «Московском дневнике» все же непринципиально, травеложный смайл такой скорее, а так он смотрел спектакли Мейерхольда и «Дни Турбиных», слушал Белого и Пастернака). А любовь к Асе Лацис хоть и была трудной, ломала жизнь, но не ей ли посвящена едва ли не самая красивая из «нефилологических» и «прозаических» (у Беньямина всегда синтез, микс, переход, не различить подчас) книг – «Улица с односторонним движением». Да и сейчас грех жаловаться – основной корпус его книг издан, не дошли еще руки до его незавершённого магnum opus «Пассажи», но издавать их действительно непросто. И вот вышла эта биография, что только 4 года назад украшала книжные англоязычных стран – воистину талмудического объема (700 крупноформатных страниц, 51 условный печатный лист) и действительно имеющая все основания быть изданной в серии «Интеллектуальная биография».

Потому что книга Айленда и Дженнингса, больше 30 лет занимающихся и издающих Беньямина, это действительно удобоваримый максимум того, что мы знаем о нем. И картина весьма стереоскопична – тут и подневная почти биография, и разбор его работ, запутанных отношений и массивной переписки, и даже основные прочитанные книги (тут Беньямин облегчил задачу – списки он составлял сам и в самоархивном деле был весьма педантичен, другой вопрос, что постоянные бегства, нищета и войны сделали с этим архивом... Часть, припрятанная Батаем, даже оказалась после освобождения Парижа у нашей разведки!). И даже очерк эпохи – Беньямину воистину «повезло»: он жил во времена распада Веймарской республики, окаймленного двумя мировыми войнами. А покончил с собой в бегстве из Франции, где еще до оккупации фашистами беженцев из Германии сгоняли на голые стадионы или в разрушенные замки строить себе туалеты и спать на соломе, на закрытой границе с Испанией – границу открыли на следующий день...

При этом не сказать, что мы имеем дело с полной апологией. Сколько можно петь гимнов Беньямину, столько же можно его и осуждать. Что количество того, в чем он был первопроходцем, почти уравнивается его «просчетами» – он воевал с Хайдеггером, совсем не понял Вальзера, осуждал Бенна, Юнгера и Селина (понятно хотя, околонационалистический консерватизм тех в те годы отторгал полностью). А уж в личной жизни – в Советском Союзе его точно бы затаскали по товарищеским и не очень судам: манкировал собственным ребенком (правда, записывал и хотел издать сборник высказываний младенца), уходил из семьи и питал почти склонность к любовным треугольникам и даже более сложным геометрическим фигурам, «тунеядствовал» (жил на деньги родителей, жены, потом друзей, благодетелей и грантов), ругался и переругивался со всеми... Про также задокументированные опыты с наркотиками – в духе того же Юнгера и Хаксли, но задолго до Тимоти Лири и Ко – промолчим.

У Беньямина вообще много «рифм» с другими, он, как флюгер, буквально ловил все тренды, обо всем писал и всем жил. Гетевская искусствоцентричность, Достоевское увлечение рулеткой, Бодлеровское урбанистическое фланерство, кафкианские разборки с отцом (тот гнал его работать в банк, были бы почти коллегами со «страховщиком» Кафкой), целановская

депрессивность, любовь к травелогам, когда и о термине таком еще никто не думать не думал, игры с мистическим иудаизмом нет, не в духе лучшего друга Гершома Шолема, до настоящего принятия религии он все же не дошел, а такого дзэна от Судзуки скорее... У Беньямина была своя религия – «превращение в руины, разрастание отчаяния до уровня религиозного состояния мира».

Беньямин будто соткан из рифм, тенденций, уловленных даже раньше времени трендов и – антиномий. Обожал, например, детективы, писал о самом массовом, казалось бы, «о детской литературе, игрушках, азартных играх, графологии, порнографии, туризме, народном искусстве, искусстве таких обделенных групп, как душевнобольные, еде, а также о самых разных средствах коммуникации, включая кино, радио, фотографию и иллюстрированную периодику». Но был законченным снобом (в школе равно не терпел учителей и плохо пахнущих учеников), обдавал презрением свою спонсоршу за несчитанную в названии кафе, где его кормили, аллюзию на героиню Пруста, был элитарен, а не эгалитарен...

А обо всем «массовом» писал задолго до Зонтаг, Эко, Жижека и других поп-философов современности и уж точно до моды до исследований «человеческих документов», одежд, еды и так далее, до самого низа (на «Вагину. Новая история женской сексуальности» он бы не вошел. Хотя...). Беньямин по сути уловил самую главную тенденцию, вынул из рук Ницше марфоновую палочку. Он осмыслял мир на высочайшем уровне самого последнего и мучительного анализа, но при этом это не было привычной зубодробительной, мшистой философией. Кант, наверное, тоже бы смог написать заметку для газеты о парижском шоппинге – но читали бы ли мы ее сейчас, узнавая себя? Изобретал новый язык современности – язык города, бродящего по нему лишнего или не очень пешехода (фланера), задолбанного всем («идеология властителей по самой своей природе более изменчива, чем идеи угнетаемых. Ведь они не только должны, подобно идеям последних, всякий раз приспосабливаться к ситуации социального конфликта, но и вынуждены восславлять эту ситуацию как гармоничную в своей основе»), но о чем-то все равно волнующе мечтающего. Мало того, он почти создал новый жанр – эссе, заметки, очерка, не догмы, но «озарения». Тогда, когда философы, вообще пишущие стали «самыми ненужными лакеями международной буржуазии». Да и новый язык – емкий и хлесткий, густой и современный, философичный и простой. «Марки – это визитные карточки, которые великие государства оставляют в детской» – ведь идеальная же максима, Монтень ворочается в гробу. И сделал критику всеобъемлющей – кто еще упрекнет литературного критика, что он не видит мир дальше душки своих очков! А, если суммировать, главной ее темой был – человек в распадающемся мире прошлого столетия. Человек, его страсти, фобии (любовь и книга о Кафке), его гаджеты даже. Недаром в 1933 с тем же Брехтом они запланировали издавать нон-фикшн журнал *Krisis und Kritik* (как и несколько других задумок, журнал не вышел).

Кризис вечно скреб своими лапами все, до чего мог дотянуться в жизни и творчестве Беньямина. Относительная известность при жизни, долгое забытие, постепенное, через десятилетие, возвращение его работ, которые еще в 80-е интерпретировали кто во что горазд: «... на свет появилось множество Беньяминов. Рядом с неогегельянцем Франкфуртской школы, неспособным решиться на политические действия, выросла фигура огнедышащего коммуниста; еврейский мистик мессианского толка вступил в неловкое противостояние с ассимилированным евреем-космополитом, замороженным христианской теологией; литературный деконструктивист *avant la lettre*, заблудившийся в зеркальном зале, который мы зовем языком, сосуществовал рядом с социальным теоретиком, провозглашавшим тотальное обновление механизмов чувственного восприятия посредством реформы современных СМИ».

Когда-то очень давно, во времена еще филологической аспирантуры, в застольном споре о «зачем нужна филология, это наука ли вообще» я назвал имя Беньямина. Думаю, повторил бы его и сейчас. А «Критическая жизнь» тому весомый довод.

Планетарная конкретность, кола алхимиков и Реформация 2.0

**Йоан Петру Кулиану. Эрос и магия в эпоху Возрождения.
1484 / Пер. с фр. М. А. Смирновой, А. Захаревича.
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. 592 с**

Много ли известно религиоведов, которых убили в наше время за их убеждения? И Кулиану точно единственный ученый, уничтоженный киллером в Университете Чикаго, выстрелом в упор, в туалете. Основной версией было политическое убийство – Кулиану яростно критиковал в своих статьях и выступлениях как коммунизм, так и фашизм: подозревали Секуритате, спецслужбу коммунистической Румынии, или бывших членов «Железного легиона», профашистского движения. Версии, впрочем, были разные – от убийства на почве ревности до участия оккультных групп. ФБР под патронажем американского правительства так ничего и не выяснило. В 41 год за его плечами было три диссертации, 17 книг и сотни статей (его собрание сочинений должно равняться примерно 40 томам).

Необычной – или, наоборот, почти типичной для прошлого века – была и его судьба. Родился в аристократической семье с еврейскими корнями в румынских Яссах. Демонстрировал почти вундеркиндские таланты, но его карьере ученого подрубили под корень – он отказался сотрудничать с той же самой Секуритате. Единственным выходом было бежать – после окончания стажировки в Италии он принимает мучительное решение остаться там нелегалом. Моет туалеты, оказывается даже в лагере для беженцев. Когда в Румынии начинают мстить его матери и сестре, пытается покончить с собой – чудом откачали. Таким же чудом способности совсем молодого ученого признают и дают неплохую должность в итальянском университете. Дальше будет не так ярко – монографии, статьи, научные симпозиумы, преподавание то в Голландии, то в Америке. И очень важная дружба и сотрудничество с Элиаде – Кулиану боготворил его как ученого, занимался схожими темами, был его любимым учеником и хранителем архива, даже выучил те же 8 языков, что и Элиаде, но не мог простить тому, что в молодости Элиаде был плотно аффилирован с «Железным легионом». Элиаде вообще и после смерти «курирует» своего ученика – так, единственным до этой книги изданием Кулиану на русском была совместна работа двух авторов.

Хотя много фактоидов и рассказов-сплетен вертится и вокруг научной специализации Кулиану – экстатические техники в различных религиозных практиках, оккультизм, гностицизм, мистический дуализм и так далее. Обожавшие его студенты припоминают какие-то практические демонстрации магии, в своих sci-fi рассказах, опубликованных в Америке, он предсказал не только свою смерть, но и детали переворота в Румынии, после смерти уже различные медиумы брали у его духа интервью. Дело тут, возможно, в яркости его фигуры и китчевой почти смерти – у того же Мисимы посредством медиумов выходили посмертные сочинения.

«Эрос и магия» – одна из главных книг Кулиану, почти итоговая. И довольно прямолинейная отсылка в названии – 1484 и 1984 – тут намеренная: Кулиану действительно считает, что это был год даже не смены эпох, но кардинальной и во многом трагической смены парадигм. Он выступает, ни больше, ни меньше, против того видения истории, где так называемый «прогресс» оправдывает все: до эпохи Возрождения люди жили де «в детстве человечества», потом началось поступательное развитие под флагом веры «в идеи разума и прогресса», все прошлые достижения стыдливо забыли, выбрав однозначно путь рационализма, научных достижений и ортодоксии.

Это все – сильно огрубляя, потому что Кулиану идет дальше, утверждая, что «Ньютон, Кеплер, Декарт, Галилей и Бэкон не имеют ничего общего с так называемыми “точными науками”». Спорно, но показывает это он на пальцах, опытах, с цитатами в оригинале из первоисточников – эрудиция у него была безмерная, да и сам Кулиану все же не самообразованец Эвола, скрещивающий арийцев, йогингов и кого только не, а системный ученый.

И идея Кулиану в любом случае красива. Развитие человечества шло от античности до Возрождения по двум путям (в особо благоприятные – вообще слитно, взаимодополняемо), условно – точной науки и воображаемого, материального и духовного. И даже не христианство само по себе, но томизм и Реформация обрубали, заставили уйти в подполье адептов первого направления. Их он и выводит на свет – «в сущности, это означает постичь истоки современной науки, которая не могла бы появиться, если бы не существовало факторов, способных изменить человеческое воображение. Это были не экономические факторы, речь не идет и о так называемой исторической “эволюции” нашей расы».

В начале был образ, пневма (дыхание, дух, сродство всего сущего) и любовь (эрос, магия, творящее и преобразующее начало): «однако сама ненависть сводится к любви, откуда следует, что единственной связью является эрос. Доказано, что все прочие чувства, которые кто-либо испытывает, изначально по форме и по существу оказываются любовью». Если это и чушь, то действительно красивая чушь, одно из самых идеалистических построений наравне с воскресением мертвых Н. Федорова, ноосферой или постгуманизмом. Кстати, у Кулиану есть в пробор и близкое Тейяру де Шардену – «душа, проникая в мир, приобретает планетарную конкретность, которая остается с ней вплоть до ее выхода из космоса, она покинет ее во время восхождения к месту рождения».

Но вот пришли суровые времена, гайки решили закрутить, и «по всей Европе полыхали костры, на которых сжигали ведьм; религиозные реформаторы скорее согласились бы оставить Библию единственной книгой на земле, чем смириться с эросом, магией и прочими смежными “науками” Возрождения. <...> Галилей едва не попал на костер не оттого, что представлял “современную науку” (безусловно, это было не так): он осмелился оспорить томистическое учение. Бруно поглотило пламя как нераскаявшегося мага». Реакция наступила полная – если еще век назад была почти «свободная любовь» («Изабелла Баварская сделала популярными “платья с большим разрезом” чуть ли не до пупка. Грудь в них порой была почти полностью открыта, соски покрывали румянами, обхватывали кольцами с драгоценными камнями и даже прокалывали, чтобы вдеть золотые украшения. Модное веяние доходит и до деревень – разумеется, в менее богатой форме»), то теперь муж мог «настучать» на жену, если ночью увидел ее одетой, но с распущенными волосами. «Чтение “книги природы” было базисом Возрождения. <...> Старательно поискав, Реформация указала наконец на главного виновника всех тягот индивида и общества: греховную природу», потому что для них она была не фактором сближения, а «главным виновником разобщения между Богом и человеком».

Хотя, конечно, не все так однозначно. И Кулиану совсем не свойственен ригоризм той же эпохи Реформации. Он анализирует материалы и делает выводы. «В плане теоретических знаний тотальный запрет воображаемого привел к возникновению точных наук и современных технологий. В практическом плане Реформация способствовала образованию различных современных институтов. В психосоциальном плане она породила все наши хронические неврозы как следствие слишком “однобокого” вектора в движении реформационной цивилизации и принципиального отказа от воображаемого».

Вывод – Кулиану за «перестройку», «гласность» и новую Реформацию, Реформацию реформации, Реформацию 2.0. Но и тут все очень непросто – «потребуется вмешательство новой Реформации, которая глубинным образом изменит человеческое воображение и сообщит ему иные пути и цели. Правда, мы не уверены, что ее лицо будет дружественным для тех, кто увидит эти потрясения».

Лишь в реферативном изложении идеи Кулиану могут показаться однобокими, а уж его «доказательная база» просто захватывает – шесть сотен страниц, приложения, иллюстрации, разговоры об Аристотеле, суфиях, Актеоне, недуге порфирии (у больных светятся ногти и зубы, их считали вампирами, против которых использовали чеснок тоже очень не просто так...), шифрах Тритемия, афродизиаках ведьм, галапагосских бескрылах мухах, химическом оружии 17 века и о попытках производства кока-колы дипломатом и алхимиком Жаком Гогрием в 16 веке.

Офицер созерцания

**Франсуа Ожье́рас. Путешествие мертвых / Пер. с фр. В. Нугатова.
Тверь: KOLONNA Publications; Митин журнал, 2018. 210 с**

Франсуа Ожье́рас – даже не из проклятых, но проклявших поэтов. Проклял и отверг он действительно многое – всю традиционную культуру западного мира (исключение для маргиналов, «я отправлялся на поиски стиля. Что я читал? Ницше, Сада, Рембо»), «карты и территории» (привет Уэльбеку!), какой-либо социальный статус. Кроме быстро законченного детства во Франции в 1930-х он всю жизнь скитался. Сахара, Афон, Сенегал, Мавритания и опять Тунис и Судан. Рисовал (на обложке его картина «Юный пастух»), записывался в Африку в рабочие, этнографические и какие подвернутся миссии. Умер в 46 от инфаркта.

Итого – один из первых дауншифтеров, после Рембо и еще до Боулза, Берроуза и остальных битников и примкнувших? Не совсем. Если те же битлибертены скорее скрывались в арабском мире (вот ирония истории – сейчас, с разгулом неоортодоксии, в исламском мире будет поболее ограничений...) от антинаркотических и прочих рестрикций, то Ожье́рас последовательно и на чем свет крыл сдохшую культуру Запада и всерьез мечтал о рождении нового человека.

Он действует весьма сознательно. Отправляется, как герой Джонни Кэша «went out walking with a Bible and a gun», так и тут – без вещей, еще без груза лет (20 с чем-то), отринув всю цивилизацию, с револьвером, спичками, томиком Достоевского – в пустыню. Не всех ли пророков традиционно «накрывали» откровения именно в пустыне, наедине со звездами, Богом и вверенным стадом овец? «Я надел кожаную шапку с меховыми ушами и увидел длинную, мирную цепь Атласа, розового в утреннем золоте, сияние снегов: под первым солнечным поцелуем они пламенели воздушно-красным на ярко-голубом. Мне казалось, что на влажных от росы плитах из песчаника я созерцаю первые дни творения». Да, он вышагивает гордо, одиноким и счастливым, как спустившийся с гор Заратустра, а пейзажи описывает упоенно, как Бунин с Пришвиным.

Он ночует на крышах и в хлеву, посещает тунисские публичные дома (никаких европейек, они не так пахнут!), но больше спит с арабскими пастухами, любит их, каждого, даже (особенно) когда его. «Мне хочется оставаться чистым, я отвергаю вульгарность Европы – спокойно, без ненависти, но и без компромиссов». Отринув ее, он пестует в себе новое, наблюдает, радуется, описывает рождение нового: «Я разделся до пояса и повязал куртку на талии – у меня было десять-двенадцать часов, чтобы спокойно размышлять, изучая растения, животных. Покой, безмолвие, которое я так любил, столь необходимые для веры. Повторяю: безмятежный и чистый взгляд, новая раса, любовь к анализу; бесконечное терпение. Целыми днями в степи, наедине с собой – прыгая с камня на камень по холмам, охраняя скотину». Гармония, выверенная даже алгеброй, – француз, принимаемый всеми за варвара, не расстается и с книгой по геометрии.

И если сначала наивные и страстные сношения с арабскими мальчиками напоминают Лоуренса Аравийского (выпорол, кстати, на Востоке и его), похождения с ножом по ночному пляжу («я утолил самые страшные свои инстинкты, но не насытился») – Жене, а атмосферность – Роберта Ирвинга времен «Арабских кошмаров» с Лотреамоном, пьющими мятный кипяток с кифом под лекцию зашедшего в гости Берроуза («еще один вопрос: это касается космической энергии и гравитационных полей?»), то потом понимаешь – тут новый завет опрощения в духе Генри Торо! «Эта книга совертит многих. Ведь свобода людей свободных – это, прежде всего, свобода быть никем, не знать ничего, строить под небесным сиянием, офицер в отставке,

состоящий на службе у созерцания, – это единственный в своем роде порядок». Кроулинское «Делай, что хочешь – таков Закон»? Еще проще, на уровне первобытных инстинктов и религиозного просветления.

Толп учеников на дорогах одиночек, конечно, не было, но Франсуа Ожьерас достиг чего-то – доказательством его стиль свободы, гармонии и одиночества.

Присутствуя при крушении мира

**Юлиус Эвола. Путь киновари / Пер. с итал.
О. Молотова. Тамбов: Ex Nord Lux, 2018. 274 с**

«Путь киновари» одного из, наряду с Рене Геноном, адептов традиционализма как важного, но, увы, замалчиваемого, загнанного в своеобразное гетто течения европейской (и не только – обращение к Востоку было очень важной составляющей их учения) мысли, – это совершенно незамутненный пример интеллектуальной автобиографии.

Даже трудно вспомнить, кто еще из важных – и прекрасно понимающих свою важность – фигур подобного масштаба умудрился бы еще написать целую книгу, ничего не сказав о своей фактической жизни, родственниках, любимых, отличиях, путешествиях и так далее. Эвола тут настоящий шпион, не «колется» – не хотел получать ученые степени, издавался там-то и там-то, сотрудничал или идеологически расходился с теми-то, приезжал с лекциями в те-то страны: все, что можно почерпнуть. Остальное – действительно только идеи и сор, навоз или драгоценные алхимические реторты, из которых они росли.

Даже такой эпизод, как его почти смертельное ранение во время бомбардировки Вены русскими войсками, приведшее в итоге к частичному параличу, заслуживает на взгляд автора лишь небольшого пояснения: «Сказать по правде, этот факт связан с правилом, которого я уже давно придерживался: не избегать опасностей и даже искать их – в смысле тайного испытания судьбы. Например, в свое время я совершил немало рискованных восхождений в высокогорье (Эвола был альпинистом-любителем, на русском даже выходила его книга «Размышления о вершинах». – А. Ч.). Еще важнее было придерживаться этого правила в то время, присутствуя при крахе мира и обладая четким ощущением последующих событий. То, что со мной произошло, представляло собой ответ, нелегкий для интерпретации. В моей жизни не изменилось ничего – все свелось к чисто физическому препятствию, которое, помимо практических неприятностей и некоторых ограничений профанной жизни, меня никоим образом не волновало. Моя интеллектуальная деятельность никоим образом не изменилась».

Идеи Эволы могут быть жесткими, неудобными для комфортно устроившейся конформной личности. Да, он ассоциировался и с фашизмом, общался с Муссолини, его приглашали рассказать им о древности в ближайшем окружении Гитлера, за что, конечно, Эвола подвергся и подвергается запретам. Но тут важно понимать, что, как наш Летов, Эвола мог бы с полным правом сказать – «я всегда буду против» (и так же, он готов был сотрудничать с теми, кто прислушивался к его идеям – так, на самом раннем этапе ему показалось, что итальянский фашизм выступает за духовное обновление Европы...). Того, что не соответствует его идеям – об опирающемся на древние идеалы духовном восхождении, да, иерархизированного, духовного. Власть должна быть прежде всего духовна, затем, как в древней Индии, следуют благородные воины-кшатрии, уж затем торговцы, рабочие и слуги. Звучит сейчас дико, неполиткорректно, даже не нужно закидывать тухлыми яйцами, все и так уже приучены, что это мракобесие и фи? Но это – если читать только тех, кто пишет об Эволе и традиционализме (вернее – не пишет, замалчивают, лишь ехидничают в редких сносках), а не его самого. Ибо – вот как не согласиться:

«Нужно поставить под вопрос не ценность той или иной экономической системы, но ценность экономики как таковой. Подлинное противоречие существует не между капитализмом и марксизмом, а между системой, в которой господствует экономика, какую бы форму такое господство ни принимало, и системой, в которой она подчинена внеэкономическим факторам, входит в намного более обширный и полный порядок, дающий смысл человеческой жизни и

обеспечивающий развитие высших возможностей» (рассогласование фразы явно на совести переводчика и редактора, не узнавших, например, судя по транскрипции его имени, немецкого поэта и идеолога Георге...).

Поэтому собственно прямой политикой Эвола никогда не хотел заниматься, как отказался от получения ученых степеней, так и «не состоял, не привлекался» – он был из тех людей, «которые свободно следовали своим идеалам, отказываясь от более низкого уровня политики». Этого ему не прощали – как такого же правого и сторонника консервативной революции Эрнста Юнгера (Эвола, кстати, переводил его, хотя и весьма дискутировал с ранними работами, а поздние произведения не принимал из-за их сугубой «литературщины») сначала запретили фашисты, а потом союзники, так и Эвола подвергался цензуре при Муссолини, а к концу жизни мог печататься лишь совсем в «отмороженных» периодических изданиях. Спасибо, что не идеально, но все же последовательно издают его у нас.

Трисолярис

**Лю Цысинь. Задача трех тел / Пер. с англ.
О. Глушковой. М.: Эксмо, 2018. 464 с**

Трисолярис – так называется планета в Альфе Центавре, которая играет в книге далеко не последнюю роль. Название в чем-то символичное – если взять «Солярис» Тарковского, возвести все научные допущения в куб, то будет близко. Как от Земли до Альфы Центавра примерно.

Потому что «Задача трех тел» – это настоящий sci-fi, научная фантастика в лучшем смысле слова. Дегидрирующиеся и регидрирующиеся по своему желанию люди, передача сообщений в космос с помощью солнца как ретранслятора, разрезающие, как масло, огромный танкер струны из нанокompозита, суперкомпьютер с искусственным интеллектом в одномерном протоне. Или пассажи вроде: «Космическое микроволновое фоновое излучение характеризуется тепловым спектром абсолютно черного тела при температуре около $2,7255^{\circ}$ К и обладает изотропией высокой степени, то есть почти одинаково во всех направлениях, с незначительными температурными флуктуациями порядка миллионных долей диапазона». Таким был старый добрый киберпанк эпохи Гибсона и Стерлинга – предвосхищение, экстраполяция в будущее самых смелых научных разработок.

Можно, впрочем, вспомнить и стимпанк, относящий научные прорывы не в будущее, а в прошлое: тут есть компьютер же, созданный из миллионов людей (команды черными или белыми флажками – тот же принцип передачи информации, что и в современных ЭВМ), с помощью Коперника, Ньютона и фон Неймана, только все это – внутри безумно навороченной компьютерной игры.

«Три тела» – это, можно даже сказать, постнаучная фантастика. Не в смысле – цивилизация почти погибла и полная постапокалиптика, но – рассуждений о границе научного познания, его правомерности и рисках. И это то, с чем если не столкнулся, то столкнется Китай в ближайшее время, пожав все плоды успеха в научном прогрессе. И дело не только в клонировании животных, выращивании и пересадке органов, экспериментах с генетической модификацией эмбрионов человека (моральное вето во всем мире, кроме Китая), а в том, что в 2016 году Китай впервые перегнал США по количеству научных публикаций по статистике базы Elsevier Scopus.

Такое отступление, кстати, помогает представить то, что творится на страницах у Цысиня, самого популярного, кстати, китайского фантаста, лауреата премий «Небьюла» и «Хьюго»: если Запад видит в опытах на геноме человека грех и преступление (перед Создателем и теми человеческими особями, что «дисквалифицируют» или «переделают» еще до рождения), то китайцами движет прагматика и их собственная мораль – если можно улучшить общество, что заботиться об отдельном индивиде? Исконная китайская конфуцианско-даосская логика, ставящая интересы старших, императора, страны, следования дао выше интересов личности.

И этому особому китайскому мышлению находится место на страницах этой книги в полной мере – ведь одна из ее сюжетных линий зарождается во времена Культурной революции, зверств хунвейбинов, буквальным образом распинавших интеллигентов, ученых, прочих враждебных с точки зрения доктрины Мао людей да и самих себя (группировки с разными трактовками «цитатника» вождя).

От этого всего, как и сам Китай, роман шагает в наши дни и – на другие планеты. «Да чего звезд бояться–то? Они же крохотные!» и – «с борта космического корабля мембрана пред-

ставлялась необозримой плоскостью, сплошь покрытой сложными интегральными схемами. Общая площадь их в десятки раз превышала площадь всех континентов Трисоляриса. Это был настоящий подвиг инженерии. Тысячи космических кораблей затратили на создание схем более пятнадцати тысяч часов».

На чьей стороне правда? Ведь книга начинается, как крутой детектив. Только убивают тут ученых, точнее – заставляют покончить с собой, сойти с ума, просто остановить исследования. Даже действует, наравне с китайскими спецслужбами, ЦРУ и разведкой НАТО (а вот русских здесь почти нет – символично для стороннего понимания нашего места в научном мире...), и такой крутой китайский коп с отвратительными манерами, кучей нареканий и нестандартным мышлением, вроде Хари Холле у Несбе. Нарастает популярность и экологических движений, всяческий новый китайский New Age и прочие адепты back to the roots. Новые луддиты?

Но «восстание против современного мира» начинают отнюдь не какие-нибудь оставшиеся без работы из-за Интернета вещи и прочего Общества 5.0 фабричные, но – самая обеспеченная элита. «Наиболее удивительным аспектом этого движения было количество людей, потерявших веру в человечество, ненавидящих его, без колебаний готовых предать родной биологический вид и даже наслаждающихся грандиозной перспективой уничтожения всей человеческой расы, включая и их самих вместе с собственными детьми. ОЗТ называли организацией духовной элиты. Большинство ее членов были людьми высокообразованными, многие принадлежали к высоким политическим или финансовым кругам. Одно время ОЗТ пыталось распространить свои идеи среди простого люда, но из этого ничего не вышло. Наверно, решили приверженцы ОЗТ, простонародье, в отличие от людей образованных, не в состоянии увидеть и постичь темные стороны человеческой натуры». Все очень и очень непросто, ведь вдохновитель тайного движения – прекрасодушный эколог-американец, в одиночку сажавший деревья рощами ради увеличения популяции вымирающего вида ласточек. А стоят за ними всеми – ни много ни мало инопланетяне...

У которых, кроме проблем с их планетой, есть в их суперразвитии и другие сложности. Например, те же пацифисты, выступающие против уничтожения землян. «Чтобы выжила вся раса в целом, уважение к отдельной личности сведено почти к нулю. Как только кто-то не может больше работать, его убивают. Наше общество – крайне авторитарное. У закона только два исхода: невиновного отпускают, виновного карают смертью. Все, что может привести к душевной слабости, объявлено злом. Для меня наиболее невыносимы духовные монотонность и пустота. У нас нет ни литературы, ни искусства, ни стремления к любованию красотой. Что касается любви, то о ней даже разговоры – и те под запретом. Правитель, какой смысл в такой жизни?!», вопрошают они. И тут – буквальный шаг к современным дискуссиям о том, почему Запад запрещает, а Китай активно экспериментирует над геномом человека, создавая не только медицину будущего, но и новую евгенику...

Но Лю Цысинь – отнюдь не талантливый рупор партийной линии (хотя и такое в Китае встречается и довольно часто). Он действительно испуган тем, о чем старается предупредить (современные народы с недоверием относятся к своим соседям, а от возможных пришельцев ждут чудес цивилизационного развития), и – очарован вызовами и задачами современной науки («Я всегда думал, что самые красивые сказки в истории человечества рассказаны не странствующими бардами и не романтиками или драматургами, а наукой»). Трудно не разделить его восторг – после книги так и хочется почитать о новейших исследованиях квантовой запутанности или новостях астрофизики.

Жаль, что вся трилогия «Воспоминания о прошлом Земли» («Три тела» – первый том) переводится у нас с английского, изначально адаптированного для Запада, перевода («в некоторых случаях я постарался приблизить стиль рассказа к манере, более привычной для американского читателя», не скрывает переводчик на английский), а не китайского.

Алгоритм маньяка

Ричард Ллойд Пэрри. Пожиратели тьмы: Токийский кошмар / Пер с англ. Е. Габитаевой. М.: Рипол классик; Пальмира, 2019. 559 с

У журналистских исследований, написанных по итогам резонансных дел, чаще больше очевидных минусов, чем плюсов: поспешность в упаковке материалов, лишние данные для «нагонки» объема и так далее. Не тот случай здесь – «Кошмар» читается почище мрачайших скандинавских детективов.

Ибо история стоит того. В 2000 году исчезла молодая англичанка, подрабатывавшая в Токио хостесс (это действительно, за редким исключением, не предполагающая «интима» работа – новые гейши встречают посетителей, поддерживают с ними беседу, подливают напитки, льстят и так далее). От этого момента и, через пару лет, найденного расчлененного и закопанного на берегу труп (голова в бетоне, изо рта вытекала какая-то черная густая жидкость) и еще почти 6 лет до вынесения приговора – одни загадки, странности и то, чего никто не ждал.

Даже одних знамений хоть отбавляй – да, конечно, разум, особенно в критической ситуации, ретроспективно подверстывает обыденное под то, что хотел бы (раньше!) увидеть и понять. Маленькая Люси Блэкман видела зловещего старика и все чувствовали запах сигар в ее комнате – это оказался их давно погибший родственник. Свои электронные письма из Токио она посылала с сабжеком «Я пока еще жива!» И вообще, что семейная история Блэкман, что обстоятельства ее отъезда (мать даже пыталась спрятать ее паспорт), что смерти (дом матери наводнили любимые бабочки Люси) – это просто какой-то «Поворот винта» Генри Джеймса. А вот в каком составе семья провожала Люси накануне отлета, точно не вспомнил никто – еще одна психологическая уже загадка.

Но читать, разумеется, книгу стоит не ради этого. Плюсов действительно много. И большой фактический материал (дневники, газетные вырезки), и истории жизней всех вовлеченных (японский миллионер-затворник корейского происхождения, отправляющий свою любимую собаку в криогенную камеру для дальнейшего воскрешения, а женщин десятками на тот свет – тянет на отдельный роман уже), и судебная история, и то, как автор, глава токийского корпункта одной из английских газет, в результате соприкосновения с этой историей сам оказался на скамье подсудимых... Или просто описание 35-миллионного, с так называемыми городами-спутниками, бесконечного мегаполиса Токио: «Затем появились мосты, переброшенные через широкие неподвижные реки, и, наконец, открылся вид на южную часть Токийского залива с его островами. Плотно застроенными конструкциями из стекла и алюминия. В пасмурную погоду вода казалась темной и смолянистой, а здания – матовыми и мертвыми».

Кстати, про полицейское расследование и судебное разбирательство – это действительно настоящая энциклопедия японской жизни. Семья и друзья Люси заявляют об ее исчезновении, а ранее, как выяснилось уже сильно постфактум, обращались другие жертвы изнасилований и отравлений – полиция просто мягко, но настойчиво усылила их. Как же, эти по определению подозрительные иностранцы, еще и блондинки, еще и хостесс – виноваты явно они сами, уже не благородные же японские мужи из числа уважаемых сарариманов-бизнесменов. Потом, когда японские полицейские все же засучили церемониальные рукава и взялись за расследование, – не без пинка от самого Тони Блэра, лично поднявшего эту тему на встрече с японским премьер-министром – никакой информации из них выбить родственником не удавалось просто. Традиционно закрытое общество, предпочитающее скорее страдать, чем обратиться за помощью или поделиться «потерей лица» с рыжебородыми дьяволами-гайдзинами – это мы

видели совсем недавно, когда ни представителей МАГАТЭ, ни тем более российских ядерщиков, обладающих после Чернобыля необходимой квалификацией, не подпускали к данным по аварии в Фукусиме. Полиция вообще не очень умеет работать (проворонила труп буквально под ногами, в небольшой пещере на пляже под окнами подозреваемого) – ведь в Японии такая низкая преступность, что они просто отвыкли работать, никаких вам Шерлок Холмсов просто не нужно. А в японских судах адвокаты исключительно формальны, прокурор же всемогущ – потому что сознаются, просят прощения за 90 процентов преступников. Или, облегчая свою участь, собирают рекомендации от почетных членов общества и платят потерпевшим «деньги соблезнования»...

Не стоит, впрочем, думать, что странны здесь только японцы. Например, отец Люси вызвал шквалы негодования в Англии и во всем мире – был абсолютно спокоен, пиарился на истории, зарабатывал на ней, принял «отступные» от ее убийцы, высказывал ему чуть ли не сочувствие...

Эта история, рассказ о японских BDSM-щиках или предшествующих годах японского «финансового пузыря» (унитазы с крышками из меха норки в ночных клубах; коктейли, посыпанные хлопьями настоящего золота; банкеты, где суши поедали прямо с обнаженных тел молодых моделей) – что-то несомненно захватит не слабее истории токийского маньяка. Например, в том же 2000 году я жил в Японии таким же 20-с-хвостиком-летним, что и Люси, так же мечтал о подработках в дорогой стране, а уже в наше время останавливался по работе в том же пятизвездочном отеле New Otani Tokyo, в котором его родители встречались с Тони Блэром. История зла всегда за углом.

**Михаил Кривич, Ольгерд Ольгин. Товарищ
Чикатило. М.: Рипол классик; Пальмира, 2018. 447 с**

«Раскручивая», видимо, маньяков до целой самостоятельной серии, издательство переиздает и довольно старую книгу – выходила в 1992 году (выходные данные этой книги об этом, естественно, молчат, как преступник на допросе) – про самого известного серийного убийцу уже отечественного. И если про токийского злодея читать было страшно, то тут – буквально до кошмаров.

И это несмотря на то, что авторы берегут читателя – делают купюры в описании убийств и их подробностей (вырезанные гениталии, откушенные соски и языки жертв обоего пола), не описывают все убийства (53 убитых, ловили Чикатило 12 лет, по ходу проверив больше миллиона людей и раскрыв больше тысячи других преступлений – статистика точно для Книги рекордов Гиннеса) и так далее. Но при этом, увы, страдают тем, что так ценил Холден Колфилд, – «отвлекаются». И даже не с целью нагнать объем, а дать передышку – «слишком велика концентрация насилия, приходящегося на одну страницу. Чтобы не сойти с ума, их надо чем-то разбавить».

И это, скорее всего, такой стиль, от которого мы уже успели отвыкнуть в современных книгах. В «Товарище Чикатило» вообще много того, что только по ностальгическому ведомству сейчас может пройти. Например, описание ужасов вокзалов: «За какие грехи наказана Россия такими вокзалами – железнодорожными, автобусными, авиационными? Что в столицах, что в провинции, новые и старые, большие и маленькие, они разнятся разве что помпезностью и числом пассажиров. А так – все едино, что московское Домодедово, что желдорвокзал где-нибудь в Верхней Салде, что Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге, что автостанция поселка Первомайский любого района любой области. Та же тяжелая, неизбывная вонь – смесь неприсмотренного сортира, дешевой парфюмерии, грязного тела, хлорки и чего-то неопределенно-дорожного». Перекинуть бы авторов из 90-х в глянцево-гламурный столичный аэропорт – что бы они сказали?

Но они говорят о «Лесополосе» – так, по локации большей части преступлений Чикатило, было названо его уголовное дело. Об этом человеке (ли), ходе расследования, судебном процессе, тюремной жизни Чикатило. И все это наводит на очень и очень много мыслей.

Так, авторы всячески разоблачают связь Чикатило с органами – в армии он обслуживал спецсвязь КГБ в Берлине, мог стать агентом всевластной конторы, а сам записался в добровольные осведомители МВД (инспектировал поезда с повязкой дружинника, ища – самого себя!), так не поэтому ли он так долго уходил от сыщиков? Кажется, эти обстоятельства мы очень долго еще не узнаем точно, а вот абсурда было действительно много. Чикатило посадили за хищение аккумулятора, задерживали и допрашивали уже за убийства – но отпускали, потому что тогда еще толком не знали, что группа собственно крови и телесных выделений (единственная на тот момент улика против него) в крайне редких случаях может не совпадать. Его процесс шел с такими нарушениями, что – на каком-то этапе отстранили прокурора.

Или – абсурд уже человеческий (едва ли не более пугающий, чем абсурд государственной машины, от которой другого-то и не ждешь). Тюремщики и охранники так долго общались с заключенным Ч., что стали обращаться к нему на ты, звать «Романьчем», подкармливать вечно голодного преступника на долгих этапах из тюрьмы в тюрьму. Цитируется и его веселые шутки – «Как следует называть жителей города Карло-Либкнехтовска?»

А сам Ч. был то предельно собран, в деталях помнил даже самые первые свои преступления, подсказывал сыщикам все нюансы, обвинял самого себя, то – напрашивался на жалость: рассказывал о голодоморе в детстве, притеснениях в школе, плакал о семье, рыдал на плече у жены. А то «косил» под дурачка – стаскивал штаны в суде, пел Интернационал и «гнал», обвинял судью в принадлежности к сирийской мафии. Что он «честная хохлушка», просто «брал языков» и «сбивал вражеские самолеты».

И был при этом вменяем, но на каком-то этапе запутал даже не склонных к сочувствию авторов. И те начинают описывать Чикатило как продукт репрессивной и серой советской жизни. Убогий затюканный снабженец, лишенный всего в жизни, униженный и мстящий (за то, что не поступил в МГУ, за то, что не купить нормальной еды и одежды, за все) – не есть ли, действительно, он дьявольское, как написали бы авторы, воплощение ужасов советской жизни в пределе?

Авторы – опять же в духе страсти ко всем «горячим» новостям, газетным уткам и бытовой мистике 90-х? – упоминают, что японцы вроде бы хотели купить Чикатило для опытов, изучить алгоритмы и паттерны маньяка. Развивая эту конспирологическую версию – тогда в Токио не было бы зариновых атак и Люси была бы жива?

Сентиментальный снимок легких

**Милош Црнянский. Дневник о Чарноевиче / Пер. с сербского
Е. Сагалович. М.: Центр книги Рудомино, 2018. 128 с**

Военный австро-венгерской армии на фронтах Первой мировой и затем дипломат, Милош Црнянский смог прожить довольно долго, 1893–1977, несмотря на туберкулез. Прозаик и поэт, писал разнообразное, но поместился в литературном некрополе с характеристикой «меланхолическая лирика». И, вместе с Ремарком, Хемингуэем, Олдингтоном и Юнгером, постфактум, но попал в ряды тех, кто писал о проигранной войне, потерянном поколении. У нас издавались его «Переселение» и «Роман о Лондоне» – несколько десятков лет назад.

С «Дневником» получилось тоже в каком-то смысле трагично и интересно. Из-за нехватки денег на издания автор был вынужден резко сократить текст (не вошедшие страницы пропали), редактор – отредактировал так, как Бог ему тогда на душу положил.

И это при том, что у «Дневника» совершенно не линейная структура. Что по тем временам уже само по себе было очень необычно и фразировало – «эта книга выглядит такой запутанной, как будто переплетчик трижды поменял местами листы», изгалялись критики.

Сейчас, когда мы прочли много странных и чарующих книг прошлого и даже этого века, проще определить книгу Милоша Црнянского – через сравнения. Будто Фернандо Пессоа писал лирические миниатюры своей «Книги непокоя», а Джонатан Литтелл со своими «Благоволительницами» аранжировал ее темами войны. «Эти кровавые, красные, теплые леса, необозримые польские леса, как они меня утомили. Я солдат; о, никто не знает, что это значит. Но в той буре, что свела мир с ума, не много найдется людей, живущих так сладко и мирно, как я. Бреду из одного города в другой, под осенними деревьями, багряными и желтыми, которые действуют на меня так же, как на Хафиза вино».

Или попробуем так, вогнать книгу, как цель при наводке, между двух еще координат – интеллектуального эстетизма Эрнста Юнгера и барочной жестокости «Капута» и «Шкуры» Курцио Малапарте. Здесь вообще намешано многое. Или, вернее, пробивают почву ростки того, что росло в книгах других авторов, возможно, в окопах противника, или – потом, за будущими книжными столами или на военных бивуаках.

Вот романтизм прежних эпох – «Я одинок, и у меня никого нет. Беспорядочные толпы пленных идут, не зная, ни откуда, ни куда». А вот уже декаданс с приветом Гюисмансу: «Сижу на могиле. Спал хорошо. Когда проснулся, увидел, что спал на девочке. Ее звали Нева Бенусси. Да, она спокойно лежала под землей. Прожила тринадцать лет. Это была моя самая чистая брачная ночь».

Впрочем, были ночи и дни не чистые, была похоть и кровь, как в бабелевской «Конармии»: «Бежали избитые женщины с усохшими обвисшими грудями, щербатые и смердящие от пота. Они извиваются в родовых муках или лежат на земле, окровавленные, стеноя от страданий; рвутся на части от боли из-за разных снадобий от зачатия».

И все это щедро сдобрено сербскими реалиями и балканской тоской: «Помню колокольни. В моих родных краях наши церкви, пустые и пыльные. Большой старый церковный колокол гремел надо мной, а я, как маленький мышонок, сидел на корточках, на балках, и в страхе озирался. Тоска меня настигла рано».

Ведь «я люблю своих предков, они умели убивать. И вообще, теперь мне убийство очень нравится. Колокола звонили, потому что я устроил так, чтобы приехать, когда звонят колокола. А я человек образованный, я знаю, как все надо хорошо устроить».

Например, эстетизировать войну. Не как Маринетти, ради нее самой, или Юнгер, ради ее высоких смыслов. Но из-за отсутствия смысла. «Сегодня мне два раза делали фотографический снимок легких, и поэтому я сентиментален».

Гиацинтовый тюрбан в музее невинности

**Ахмед Хамди Танпынар. Покой / Пер. с турецкого
А. Аврутиной. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 480 с**

Книга действительно классика новой турецкой литературы раскрывается, как кобра в неспешном, слегка утомленном восточной негой и стамбульской меланхолией броске. Началу не стоит верить – этакая немного (само)ироничная, в духе «Детей нашей улицы» Нагиба Махфуза, семейно-районная мини-сага, не более. Потом, чем дальше в брод, будет – все. Недаром критики говорят в связи с Ахмедом Хамди Танпынаром о турецком Джойсе и локальном взрыве модернизма, Памук признавался в любви к этой книге и раскидывал по страницам своих книг и в самом Музее невинности отсылки на нее, а переводчица – поклон ей! – в своем обстоятельном предисловии рассказывает, как, срывая все сроки, переводила «Покой» десять лет, специально осваивала, например, арабскую лексику, глубины традиционной османской музыки (мелодии тут повторяются, звучат отбивкой настроения, как у Кар-вая) и мистицизм суфиев. «Покой» (суфийский же, кстати, термин) – это далеко не то, чего можно было бы ждать от турецкой литературы. Как если бы и так турецко-немецкий Фатих Акин принялся снимать в духе Алехандро Ходоровски. Наркотическому иранцу Хедаяту Садеку понравилось бы.

Памук же действительно очень и очень многим обязан Танпынару. Та же история страны под видом истории людей; та же нанесенность (почти распятость) судеб этих людей на карту города; Восток, Запад и множество личных ангелов и демонов борются в традиционном сознании, обращенном в чаемое, но столь еще неуютное будущее. Памук и – его знаменитый музей: «Вместе с тем эти повидавшие виды вещи, собранные здесь, на этой кричащей суетливой улице, на которую солнце словно бы стремилось обрушить весь свой жар, заставляли забыть о настоящей жизни, обо всем том, что довелось пережить».

Любовная история, семейная хроника, история умов Турции в XX веке – как «Покой» не назови, суть не меняется. Она вообще как бы и на поверхности, все честно и своими словами, без сильной зауми, но – все крайне размыто, зыбко, в дымке, как уже жарким ранним утром над Босфором. Недаром «странный» тут – едва ли не самый частый эпитет. «Девочки выглядели здоровыми и даже красивыми, но одеты были в лохмотья. Жалкие дома, нищенские одежды, деревенская песенка в квартале, где некогда, в восемнадцатом веке, находился особняк великого визиря Хекимаоглу Али-паши, – все это навевало Мюмтазу странные мысли». «Он странным образом занимался только тем, что касалось нас, турок, и старался любить только это. Но так как чувство меры он приобрел на Западе, он не делал большого различия между нашими предпочтениями и предпочтениями других», поэтому любит самую традиционную турецкую поэзию и Бодлера с По, слушает древние мелодии и Дебюсси.

«Это наша судьба: любить Дебюсси, Вагнера, а жить с «Махур Бесте», сетуют герои. Но не стоит, наверное, тут же припоминать постколониальные истории с их постулированием настроений потерянности, конфликта самоидентификации, трагического столкновения Востока и Запада. История тут глубинно турецкая и – стамбульская. За «поиск души своего меланхолического города» получил свою Нобелевскую премию Памук и – мог бы поделиться ею с Танпынаром. Потому что все тут видится героями не через библейское тусклое стекло, но патину, вуаль меланхолии типично стамбульской. Такое турецкое ваби-саби, одним словом.

«Ему нравилось смотреть на голубей под большим каштаном на площади перед мечетью Баязид, рыться в старых книгах на Букинистическом рынке, разговаривать со знакомыми торговцами книг, входить в сумрак и прохладу книжного рынка, которая внезапно охватывала его

посреди жаркого дня и яркого света; ему нравилось идти, ощущая на коже эту прохладу, как будто она была чем-то преходящим».

И, настроив окуляры, через марево меланхолии видно, что вся эта уже упоминавшаяся странность – не просто так, не без последствий. Она – трансгрессивна, уводит отсюда, а ведет – еще Аллах знает куда. Маркеров-указателей тут много, но с пути они только сбивают: «Он готовился перестать быть Исханом», «границы реальности», «странное состояние», «другая смерть».

Герои, размышляя о новом западном и традиционно турецком, даже не выбирают «или-или», но чают то синтеза, то рождения новом на плотной почве старого. Они грезят, ни больше, ни меньше, о рождении нового человека. «Нам нужна новая жизнь», провозглашают они и мечтают о том, что «сейчас нам нужно соорудить здание на новой основе. Что это будет за здание? Кто может постичь масштабы нового человека Турции? Мы знаем только одно. И это – необходимость опираться на наши мощные корни. Это необходимость вернуть нашей истории ее целостность. Если мы этого не сделаем, то мы не сможем избежать двойственности». Но где в действительности эти корни, если сам Восток и не стар, и не нов, а так: «Очарование таинственного прошлого, которое было свойственно бытию вещей в этом сыром и мрачном мире, держало Мюмтаза в плену по многу часов. То был не старый Восток, но и не новый. Может быть, то была жизнь вне времени, перебравшаяся на Восток».

И двойственность, смутность не исчезают, только сгущаются. Дело их жизни, сами их жизни трагичны и – чреватые проигрышем (впрочем, «человек с рождения обречен на поражение» и «безысходность – это разум смерти», отпускают они фаталистические восточные *bon mot*). Старый уклад неизбежно гибнет, новый приносит смерть (начинается мировая война), а жизнь, любовь и улочки Стамбула приводят к мыслям о неизбежности суицида, постоянной рефлексии о смерти. «Осознание смерти подарило нашему телу способность трезво мыслить», и даже окна «начали новую пляску с дождем, возвращаясь с улыбкой ко всему из обители смерти, охватывая своим кружением все вокруг...», но, конечно, это очередная иллюзия, стамбульское покрывало Майи, как и ницшеанские самообманы вроде «для меня Бог давно умер. Я пробую на вкус свою свободу. Я убил Бога в самом себе». Меланхолия сжимает хватку.

Синхронно следуя за метаниями и безысходностью героев, сгущается и стиль. Если в начале все прямо совсем просто, то в середине уже условно декаданствующий Гюисманс («голос кровоточил», «благоухающие розы тоски», «гиацинтовый тюрбан») и фланерствующий Пруст: «Пусть пароход проплывает так, так ему вздумается, мимо всего этого, делая вид, что ему хочется все это подробно рассмотреть, а Мюмтаз, сидя в своем углу, пусть продолжает смотреть, словно это часть его жизни, на безмолвные улицы, бродившие вокруг уличных фонарей и спускавшиеся к морю, на пристани с еще влажными досками, на маленькие площади, на маленькие кофейни, сжавшиеся на полувздохе, напоминающем их одиночество, за запотевшими витринами под керосиновыми лампами провинциальных вокзалов Анатолии, а они все делали лишь то, что творили своим существованием эту осеннюю ночь, далекую от всего». Но меланхолия Пруст-Памука сменяется галопирующей абстракцией Ильязда или В. Казакова, джойсовским временами потоком сознания (как и в знаменитой главе про Молли Блум, рефлексивует в «Покое» тоже женщина), перемежается просто селиновско-чорановскими по накалу безнадежности высказываниями об обреченной «плотной материи жизни», ныряет в гаршвиновско-есенинские черные ямы. И – не тонет, но замирает, как вечная волна Золотого рога на старой фотокарточке. Вечен лишь сам Стамбул? Или, как гадают его вечные возлюбленные, «любим мы друг друга – или Босфор?»

Между тем, «Покой» – лишь часть трилогии. Будут ли, пусть и через двадцать лет, переведены еще два ее романа?

Юнгер: вахтенный журнал и мобильный телефон

**Гельмут Кизель: Эрнст Юнгер. Вехи творчества /
Пер. с нем. А. Игнатьева. М.: Тотенбург, 2019. 170 с**

В радостной ситуации, когда на русском языке существует уже больше переводов визионера, стилиста и философа Юнгера, чем на английском, давно ощущается потребность в его биографии⁵⁰ и внятной работе по его, весьма непростому, действительно ломающему все конвенции и задающему свои собственные творчеству. Однако выход именно этой книги порождает больше вопросов, чем ответов.

Начать с того, что из весьма объемного, 700-страничного труда Г. Кизеля перевели очень незначительную часть. Какова цель – этакий препринт, почитайте пока это, пока переводчик трудится (ли?) над целым переводом? Переложены, к стати, главы (части глав!) исключительно теоретические, вся биографическая составляющая оказалась за бортом. Но и здесь не меньшая загадка, чем руководствовался переводчик, отбирая именно эти произведения. Дать теоретическую базу для осмысления уже переведенных на русский книг или познакомить с еще непереверденными вещами? Так ведется рассказ о тех и этих, а некоторые книги не упомянуты вовсе. И, боюсь, ответ тут следует искать скорее в областях субъективного – таков был выбор переводчика А. Игнатьева...

Не меньше загадок и предположений вызывает и система сносок, в которых поясняются очевидные имена, а о гораздо менее известных не сказано ни слова (риторический вопрос – будут ли штудировать эту книгу те, кто слыхом не слыхивал о Т. Манне, Г. Гессе, М. Вебере и М. Хайдеггере?). Например, на одной странице дана сноска на автора «Заката Европы» Освальда Шпенглера, но ни слова об авторе «Смены гештальта богов» Леопольде Циглере. Не всегда точны и сами пояснения. Так, Вальтер Ратенау – «немецкий промышленник и финансист, с 1915 г. Председатель правления Всеобщей компании электричества. В 1922 г. подписал Рапальский договор с Советской Россией», но что он был одним из ключевых политиков того времени, договор подписал в качестве министра иностранных дел, умалчивается...

Все это, конечно, досадно, но не беда – настоящая катастрофа происходит с русским языком перевода. Или все же с Google-русским? Забудем о правилах пунктуации, скажем прощай запятым – перед читателем стоит более серьезная задача по дешифровке смысла. «После Второй мировой войны, правда, “Рабочий” выдержал еще три переиздания, но сперва с некоторым замедлением, выхода книги потребовал не большой спрос на нее, а, скорее, документальные основания: в 1964 и 1981 гг. в рамках тогда выходивших изданий трудов и в 1982 г. Как 1-й том “Библиотеки современной литературы Котты”, которая равным образом имела документальный и антикварный характер». Юнгер пишет «сообщение о путешествии» (путевые заметки), состоит «в тесных отношениях» со Шпенглером и «не проявляет заботы, конечно, о ясности и однозначности». Примеры того, как перевод иногда почти полностью затемняет смысл, можно черпать на каждой странице, но, право, не хочется.

Печально, что не все прочитавшие эту книгу могут захотеть потом обратиться к полному изданию Гельмута Кизеля, между тем, оно достойно внимания хотя бы по двум причинам. Во-первых, автор действительно пытается не выносить суда, избежать как восторженных придыханий, так и модных сейчас осуждений Юнгера, во-вторых, это действительно добротное исследование. Где еще узнать, какие маркетинговые и пиар-технологии использовали немец-

⁵⁰ С тех пор вышла еще одна книга – «Эрнст Юнгер. Иная европейская судьба» Доминика Веннер (2019), но и она имеет существенный минус – автор делает слишком сильный акцент на рецепции Юнгера у себя на родине, во Франции.

кие издатели, продавая бестселлер «Рабочий. Господство и гештальт» («то, что для стареющего Ницше было еще смутным видением, у Эрнста Юнгера превратилось в грандиозную картину разрушительных и созидательных сил нашего столетия, влияние которой на нашу эпоху не менее значительно, чем книги Шпенглера»)? Или что в отрицательной критике «Рабочего» же было почти хорошим тоном сравнивать его с трудами Ленина, а «Излучения» за его дневниково-эссеистичный характер как то раз назвали «вахтенным журналом»? Или как именно Юнгер собирался, но так и не переписал в старости «Рабочего»? Да и если все уже знают, что Набоков изобрел смайлик, не грех напомнить, что в «Гелио-поле» в 1949 году Юнгер писал о прообразе МКС, лучевом оружии, возобновляемой энергетике, видеонаблюдении и мобильном телефоне с функцией навигатора.

С немецкой тщательностью Кизель каждый раз разбирает структуру произведений Юнгера, анализирует композицию, педантично подсчитывая количество тех или иных глав, – не лишне, когда Юнгер легко смешивает философию и вестничество, дневник и полемическое, отчет о снах («записки днем и ночью») и афоризмы. Тем обиднее, что настоящим подспорьем в чтении Юнгера этому изданию вряд ли суждено стать.

История с разложением

Жан Жене. Рембрандт / Пер. с фр. А. Шестакова. М.: Ад Маргинем Пресс; Музей современного искусства «Гараж», 2019. 80 с

Где-то там, в глубине своих беспрерывных глаз мясника, Ван Гог беспрерывно предавался одной из тех сумрачных операций, которые используют всю природу как свой объект, тело же человеческое – как горшок или тигель.

А. Арто. Ван Гог, или Самоубийца от общества (пер. Н. Исаевой)

Жан Жене долго подступался к идее написать книгу о Рембрандте. Изучал его работы во время поездок в Лондон в 1952 году, в Амстердам в 1953, затем в Мюнхен, Берлин, Дрезден и, наконец, в Вену в 1957. Сообщал друзьям – правда, точное содержание и структура книги остались неизвестными. И опубликовал три статьи, которые и составили эту книгу. О причинах интереса и – возможных – параллелях в творчестве Жене и Рембрандта будут еще, можно предположить, писать ученые и эссеисты будущих времен.

Вполне возможно, у Жене не встретить гениальных искусствоведческих находок и прозрений, его «Рембрандт» – скорее очень личная история. Так, он и анализирует скорее не Рембрандта-живописца, но буквально вскрывает, анатомизирует Рембрандта-человека.

«Даже в молодости он предпочитал лица, изрытые возрастом. В чем тут дело – в симпатии, в трудности (или легкости?) изображения, в вызове, который бросают живописцу лица стариков? Как знать... Впрочем, в ранние годы он ценил в этих лицах “занимательность” и писал их со страстью, с блеском, однако – даже лицо своей матери – без любви. Морщины, гусиные лапки в углах глаз, бородавки воспроизведены безукоризненно, но у них нет продолжения внутри картины, в них нет тепла, которым мог бы насытить их живой организм; они – всего лишь украшения. Напротив, два портрета госпожи Трип (из Национальной галереи в Лондоне) – две старушечьи головы, которые разлагаются, гниют у нас на глазах, – написаны с величайшей любовью».

Жене отмечает, копается в причинах нарциссизма Рембрандта, его нарядах и автопортретах, его, как сказали бы сейчас, сексуальных предпочтениях, во взлете и угасании интереса художника к живописи. Тонким пунктиром, почти акупунктурой прослеживает его жизнь. Вплоть до ее известного, но все равно сильно звучащего конца: «Официально у него нет никакой собственности. Нотариальными усилиями удалось устроить дело так, что всё оказалось в руках Хендрике Великой и Титуса. Рембрандту не принадлежали даже холсты, на которых он писал. Человек растворился в своем творении. <...> Он умирает, не дождавшись искушения стать шутом».

Но все это для Жене – возможно, было бы иначе, напиши он книгу, хотя кто знает... – чаще повод поразмышлять о самом себе, закопаться в созвучные находки. Рембрандт становится действительно интимным исследованием Жене. И этот момент он подчеркивает – даже графически. Для «Всё, что осталось от Рембрандта, порванного на ровные квадратики и спущенного в сортир» он выбрал параллельный набор двух текстов: один рассказывает – другой комментирует, один о Рембрандте, другой – о Жене. О Жене, кстати, больше.

Подобная верстка, между прочим, отсрочила публикацию, но «сыграла» – Жак Деррида именно так потом издал свой «Глас», посвященный Жене и Гегелю. Такая вот новая традиция плутарховских двойных жизнеописаний...

Личное же здесь – вплоть от названия. В 1964 году, после того как друг Жене Абдалла Бентага (герой «Канатоходца») покончил жизнь самоубийством, писатель уничтожил свои рукописи. Кусок работы о Рембрандте (или все, написанное к тому времени?) остался.

Сам же текст Жене – это не просто автобиография, личное и дневниковое, но что-то, превосходящее, трансцендирующее само понятие приватного. И действительно, индивидуальное оказывается превзойдено, отменено почти: «Что-то, казавшееся мне похожим на гниль, медленно, но верно разъедало всё мое прежнее видение мира. Когда однажды, в вагоне поезда, при виде пассажира, сидевшего напротив, на меня снизошло откровение, что каждый из нас ничем не отличается от любого другого, я не подозревал, <...> – что это знакомство повлечет за собой столь методичное разложение».

Нет, про Рембрандта совсем он не забывает, дарит нас своим опытом или воистину французскими афоризмами имени Монтеня или Арто (ср.: «слоистый, лунный глаз женщины. Он вбирает нас в себя, перед таким взглядом мы сами себе видимся фантомами») вроде «Перед картиной Рембрандта (из тех, что он писал в конце жизни) наш взгляд тяжелеет, становится немного бычьим», но – но история у Жене с Рембрандтом действительно очень личная. Право, неудобно даже читать иногда.

Маленькая, но очень удаленная книга. Вот и по иллюстрациям, например, это издание перегнало французское – если там были лишь отдельные картины, по выбору редактора, то здесь представлены все обсуждаемые полотна.

Шанхайская Жанна д'Арк

**Ричард Дикон. Кэмпэйтэй (японская секретная служба) / Пер. с англ.
А. Фесюна. М.: Издательский дом «Серебряные нити», 2019. 284 с**

В книге историка спецслужб Ричарда Дикона не стоит искать всю правду о японской секретной службе – хотя бы потому, что вряд ли она в полной мере доступна в открытых источниках. Но можно узнать много интересного. И даже такого, что узнать читатель и не предполагал.

С одной стороны, Джордж Дональд Кинг МакКормик – настоящее имя британского журналиста и автора биографии Джека Потрошителя, работ из истории китайской, русской, израильской и прочих разведок – мог бы точно выиграть приз в конкурсе на самую пламенную любовь к объекту исследования. Японская разведка для него – самая успешная, эффективная, креативная и прочая, прочая в мире, один сплошной success story. Его мнение разделяют далеко не все, удивится читатель и – будет прав (каждый, хоть немного знакомый с ведением дел в Японии, уж точно знаком с иерархическим формализмом и бюрократической зарегламентированностью этой страны, поэтому о предоставлении военной спецслужбе права на свободу действий просто нечего и мечтать). Японцы практически разгромили Америку в Перл-Харборе (и были крайне вежливы, сообщив о войне в завуалированных формах восточной вежливости за полчаса до начала бомбардировок), Зорге вели с самого начала, могли обменять на кого-то в тюрьме и еще после его казни отправляли от его имени дезу – лишь пара примеров из общеизвестного.

В этой пылкой апологии достается, как уже понятно, не только Штатам, но и родной Англии. Про Россию/СССР читается вообще крайне «актуально» – будто случились Скрипали или еще что-то и газеты Соединенного Королевства расчехлили самые крупнокалиберные орудия, неиспользовавшиеся со времен холодной войны, и решили разнести всех отечественных медведей на кусочки.

Книга вообще производит такое впечатление, будто начитывал/изыскивал для нее автор очень долго, а написать решил в ночь накануне дэдлайна – не только много сопутствующего материала, но и подан он довольно хаотично для жанра, например, аналитической записки. То речь о разведке, то о войнах Японии, то несколько глав об отношении к политике японского промышленного шпионажа, то о том, что в Китае и Японии доноительство ради блага нации считается делом весьма благородным... К сожалению, и переложение с английского известным переводчиком с японского А. Фесюном не оказалось в руках бдительного редактора и корректора – калькированные обороты, банальные перестановки букв и зачастую удвоенные запятые/точки тут встречаются через страницу.

Между тем, имеющий мужество продрагаться через все эти на ходу состряпанные агитки будет вознагражден историями совершенно упоительными. Вот, например, сюжет, что у нас не на слуху при всем даже зачастую конспирологическом внимании к этому вопросу – что западные страны и особенно японцы серьезно продумывали план спасения и эвакуации царской семьи перед ее ликвидацией (японцам было проще общаться с монархической же страной, плюс чисто японская специфика – они испытывали некоторую вину за то, что во время визита в Японию Николая II чуть не убил местный фанатик, а за свое благородное дело надеялись на вознаграждение в виде территориальных уступок). Император Японии даже ассигновал на это дело 75000 долларов и готов был выделить еще! Или общая красная линия, проходившая в непосредственной близости от японских спецслужб, – параллельно им действовали различные частные (но поддерживаемые государством) тайные общества, осуществлявшие те же функции шпионажа – одно «Общество черного дракона» не стоит забывать. А кто на них работал – тут

уж просто сюжет для фильмов Тарантино или Кар-вая. «Если Доихара стал легендарной фигурой, которую пресса именовала “маньчжурским Лоуренсом”, то одна красивая девушка-агент, находившаяся у него на службе, упоминалась в некоторых газетах как “маньчжурская Жанна д’Арк”». Местная Мата Хари родилась в Китае, была удочерена японцем, была ослепительно красива, предпочитала переодеваться мужчиной, а малолетнего китайского императора Пу И «склонила» на свою сторону, якобы подбросив ему в постель змею. Как тут не вспомнить еще одну японскую агентессу в Китае, очаровательную Ногами, которую в европейских сеттльментах Шанхая прозвали «Королевской Коброй».

Фантастических сюжетов для фильмов жанра альтернативной истории вообще в истории кэмпента множество. То японцы поставляли – вместе с проститутками из семей русских эмигрантов – в китайские бордели сигареты с опиумом и героином для развязывания языков клиентов, то серьезно рассматривали вопрос принять в так называемой Великой восточноазиатской сфере сопроцветания, на территории аннексированной Маньчжурии, еврейских беженцев из нацистской германии, дав им даже автономию... Но, видно, Доихара-сан с Коброй не доработали.

Панкутюр

**Вивьен Вествуд и Иэн Келли. Вивьен Вествуд / Пер. с англ.
Т. Зотиной. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2015. 480 с**

Вивьен Вествуд, кажется, заслуживает именно такой книги – объемной (такая многомерная жизнь!), с красивыми иллюстрациями (фото, модели, афиши). Не хватает, пожалуй, какой-нибудь хулиганской виньетки – все же именно она была главной и исполнительницей при Мальколме Макларене, изобретшем панк в целом и Sex Pistols в частности.

Тем более что и была (и есть!) ВВ совершенно разной – не только «Дамой ордена Британской империи, главой всемирно известной марки одежды и одной из самых знаменитых англичанок на планете», но и наивным ребенком, протестным ребенком и «бабушкой стиля панк». Возможно, в этом и есть залог той вечной молодости, что так любят поминать в тостах на юбилеях и некрологах, и – успеха ее идей, будь то вывеска для магазина неформальной одежды из больших розовых букв SEX или фандрайзинговые письма от руки с рисунками для ее кампании «Климатическая революция»?

Перемежающееся то прямой речью Вивьен, то жизнеописательными изысканиями И. Келли (кстати, биографа Казановы и Карема), книга дает – очень ненавязчивые – ключи к пониманию «феномена ВВ». Например, не из ее ли детства, когда во время военной экономии действовал принцип «сделай сам» (рождественская елка украшалась крышками от консервов), а армия законодательно требовала даже повторно использовать резинки в женском белье, пришло то, что сейчас сухо называют креативность? А что больше повлияло на ее нонконформизм (может прийти на встречу с королевой без нижнего белья, но со значком в поддержку Мэннинга или в собственноручно изготовленной майке с портретом Ассанжа) – молодость в Лондоне, когда моды, тедди-бои и любители modern jazz ходили не всегда под ручку? Создание в собственной квартире одежды для панков, с пришитыми куриными костями, теми самыми булавками и бритвенными лезвиями имени Сида Вишеса и шокирующими принтами с порно-Белоснежкой, гей-ковбоями (задолго до «Холодной горы»!) и той самой королевой с булавкой (говорят, что сами принты на майках изобрела ВВ – не совсем точно, первые надписи опознавательного свойства появились в американской армии)? А, возможно, та свита, что делает короля – те, кто хаживал шоппинговать в ее магазин, а это Твигги и Фредди Меркьюри, Марианна Фэйтфулл и Игги Поп, Мик Джаггер и Сид Баррет; «простая» публика с чайником вместо сумки и гамбургером на голове, или постояльцы «Челси-отеля», Керуак и Ротко, Моррисон и Кало, А. Миллер и Видал? Или ж собственная модель ведения бизнеса во все разрастающейся (из того самого панковского магазина!) империи моды – покупка, а не аренда, магазинов, минимальная команда из мужа, старых друзей и просто приятных стажеров со всего мира?

Хотя книга – совсем не celebrity story, биография того же Макларена успешно сочетается тут алхимическим браком с рассказом о возлюбленных Вивьен, ее детях (младший сын – создатель Agent Provocateur), внучке (четырёхлетнюю Кору Вивьен как-то выпустила на подиум с 70-летней Верушкой⁵¹). Да и сама ВВ – если не лукавит – не очень обращает внимания на весь этот медийный хайп: когда вышла знаменитая передача с нецензурящими в прямом эфире Sex Pistols, она почти все пропустила, ибо пылесосила комнату. Но в 60 с лишним лет создала собственную группу (успешной та, впрочем, никак не стала).

⁵¹ См.: Чанцев А. Маленькая Vera // Частный корреспондент. 2013. 20 мая (http://www.chaskor.ru/article/malenkaya_vera_32051).

Банально, но я все время думаю: что будет, когда все эти люди – Мик, Игги, вот она – уйдут?

Поддельные люди

**Инхо Чхве. Город знакомых незнакомцев / Пер.
с кор. Н. Беловой. СПб.: Гиперион, 2016. 320 с**

Главный герой К. – да, как у Кафки, просыпается и находит мир несколько странным, как в том же «Превращении». Он всю жизнь пользовался лосьоном после бритья фирмы X, сейчас же перед ним на полке в ванной комнате – Y. Мало того, в зеркале себя он узнает не сразу. А жену не узнает вообще – то есть узнает, но что-то ошутимо не то...

Дальше – значительно больше, то есть – еще меньше понимания. К. в упор не помнит, как он провел с близким другом пару часов в баре накануне. Куда-то потерялся его мобильный (он не волнуется – в Южной Корее, как и в Японии, мобильные и кошельки можно терять хоть несколько раз на дню, все вернут в целостности и сохранности). А на семейное мероприятие является умерший отец его жены. И гораздо более того – так как этот же человек появляется потом еще несколько раз в образе других родственников, и друзей, то неминуемо закрадывается мысль, не окружили ли его набранными актерами? Но кто это все организовал? И, главное, зачем?

Единого ответа на этот вопрос, кстати, мы не получим. Так что думать-предполагать можно много. Далеко не только о том, что название книги «Город знакомых незнакомцев» – отнюдь не метафора... «Суррогатная мать может родить одного человека, а суррогатный бог может массово, как матрица, производить поддельных людей» – автор берет шире.

Да, перед нами откровенный Кафка, сдобренный восточным синкретичным взглядом. Плюс – «Шоу Трумана» про подмену всего и всех вокруг в высокотехнологичных сеульских декорациях. И даже «Джекил и Хайд» раздвоение героя на него хорошего и бандита из трущоб, почти растроение героя (К.1, К.2, ...этап и до К-9 скоро дойдет), приправленное жестким извратом в духе Ким Ки Дука (в самой Корее режиссера, кстати, не очень жалуют, «экспортный вариант», говорят). Кажется, Чхве все аллюзии допускает сознательно и ими не смущается. В отличие от главного героя в его новых обстоятельствах...

Кроме возможности узнать о жизни в современной Корее – когда по многочисленным опусам того же Харуки Мураками наши читатели знают о той же Японии все вплоть до цен на закуски к пиву в токийских джаз-барах – у «Города» есть еще один даже не плюс, но значимая отличительная черта. Для самого автора книга стала весьма личной. Написав многие романы и повести, он, как сам признается в предисловии, обычно писал для какого-то издательства, по договору и так далее – это книга была написана «для себя». Писалась же она в больнице – за несколько лет до этого у Инхо Чхве диагностировали смертельную болезнь, а он принял католичество. Через три года он умер. В связи с этим история об отчуждении от самых близких и восприятии себя как Другого читается, конечно, совершенно иначе...

Везувий Уорхола и открытки Бенна

Флориан Иллиес. А только что небо было голубое. Тексты об искусстве / Пер. с нем. В. Серова. М.: Ад Маргинем, 2019. 248 с

Сборник художественного критика, автора книг «1913. Лето целого века» и «Поколение Golf» относится по своему жанру к тем, что обычно представляют интерес только для автора и самых преданных его почитателей. Это сборник статей, выступлений и так далее за последние 10 лет. Но постепенно, не с первых страниц, открывается очарование книги даже не в ее разнообразии и бодрящей эклектике – от мало кому известных германских художников-романтиков XIX века и Георга Тракля до Энди Уорхола и Петера Рёра – но в тональности. Интонации любви и шутки, восхищения и неприязни. И этот тон страстного почти включения захватывает, уже почти как самого исследователя рассматриваемые им произведения.

И если апологии художественных же критиков прошлого и позапрошлого веков, какими бы те энтузиастами не были, останутся, боюсь, в нашей стране все же на совести автора, то про живопись интереснее. Иллиес доказывает, что и в Германии был романтизм в живописи и вообще великое изобразительное искусство. «Сказка, похожая на быль. Или наоборот? Вот если бы немцы купили Везувий, потому что так любили его рисовать, или кафе “Греко” в Риме, потому что любили встречаться там?»

Но тут без нездорового патриотизма – от немецких романтиков Иллиес переходит к итальянцу Камиллю Коро, которого «в Германии до сего дня не в полной мере распробовали», не оценили, по Полю Валери, тот «дух простоты», что является «идеальным конечным состоянием, которое предполагает, что многослойность вещей и многообразие возможных взглядов и экспериментов сокращаются, что они исчерпаны».

Зато оценили, конечно, Уорхола. Который занимался не только тем, чем он занимался и прославился, но и «сумел сделать то, что не удавалось никому: взглянуть из будущего на настоящее» и на прошлое. Не только «актуализировал» Мону Лизу – стал воспроизводить наиболее воспроизводимую картину в мире. Но и, «величайший романтик XX века», он в 1980 приехал в Неаполь и увидел Везувий: «И Уорхол счел вулкан достойным его искусства, которые доказывало, что повторение в эпоху воспроизводимости не повреждает, а увеличивает ауру. Так Везувий стал Мерлин Монро среди вулканов». Беньямин про коннотации технической воспроизводимости подискутировал бы, но, по сути, это есть и главная задача самого Флориана Иллиеса – так или иначе не дать сгинуть искусству в мясорубке времен, писать и говорить о тех, кто, подобно ему, борется с забвением и равнодушием.

Лично для него же главной – не безусловной и ангельской, он видит и пишет про все противоречия, житейские пороки – фигурой прошлого века, если вообще не дальше вдаль, становится Готфрид Бенн. Тут и не поспоришь, а мемуарного характера два эссе – просто замечательны в интимности своего приложения к характеру Бенна. Первое – про молодую поэтессу, за которой он, любвеобильный (со второй женой познакомился на похоронах первой), бегал так, что могли бы не одобрить в наш век, когда поэт(ессы)ы переквалифицировались в поэток. Второе же – о его life-long pen-friend, другу по переписке, дистанционном секретаре и зачастую первополучателе лучших стихов Бенна Фридрихе Вильгельме Эльце. С припиской на открытке – «Отвечать на это письмо не нужно. Хорошего воскресения!»

Эльцу же Бенн, действительно со смертного одра, отправил свою последнюю корреспонденцию: «Относительно моего состояния больше не приходится сомневаться, но мне в общем-то все равно. Я лишь не хочу страдать, боль – это так унижительно. Я добился от жены, которая

очень близка мне в эти дни, обещания облегчить мне последние часы – все закончится очень быстро. И этот час не будет ужасным, будьте спокойны, мы не упадем, мы вознесемся».

Бенн вообще становится настоящим мерилом для Иллиеса – что весьма необычно и довольно смело, на модной волне шельмования всех, кто даже на самой заре национал-социализма был с ним хоть как-либо аффилирован вроде Хайдеггера, Юнгера и того же Бенна, несмотря на то, как самоотверженно впоследствии, последние два, во всяком случае, порвали с нацистами. Так, даже о Рёре он замечает, что тот как никто другой понимал Бенна. Тут сложно судить, но мужества было не занимать и Рёру. Умерший в 24 года, все годы болезни он создавал на родительской кухне свои сериальные работы – из коробок, панелей, любого сора. Никому, как водится, тогда не нужные. «Когда Рёр в 1965 году получил в подарок сто рекламных проспектов “Фольксвагена” и воспользовался ими для сериальных коллажей из фотографий задних окон и багажников, он поблагодарил фирму “Фольксваген” и послал ее представителям фотографии своих работ. Сотрудник “Фольксвагена” Маасен, явно эстет, ответил ему 22 апреля 1966 года: “Уважаемый господин Рёр, отлично, господин Рёр! Отлично, господин Рёр! Отлично, господин Рёр!” И так еще сорок два раза». Когда он умер и за работами пришли, мать обрадовалась, наконец-то освободится место. А автор «А только что небо было голубое» считает его «Черные панели» пиком послевоенного искусства – «в “черной дыре” Рёра тонет еще больше, чем в легендарном “Черном квадрате” Малевича». Потонет не все – ведь такие книги как спасательный круг.

(Не) быть Энди Уорхолом

Виктор Бокрис. Уорхол / Пер. с англ. Л. Речной. М.: Рипол классик / Пальмира, 2019. 647 с. – (Серия «Новая биография»)

Позже я начал читать книгу Бокриса об Уорхоло, которая дает хорошее представление о Нью-Йорке начала шестидесятых. Она более проникательна, чем обычная книга об искусстве, хотя и немного утрирует значение герцогини Виндзорской и Боя Джорджа.

Дерек Джармен. Современная природа

Лучший инсайт в психологию и биографию Энди Уорхола, уверен, случился у Лу Рида и Джона Кейла на альбоме памяти их давнего покровителя, друга, а иногда и врага Songs for Drella. Даже «Дрелла» тут важна – заочное прозвище Уорхола на «Фабрике», среднее арифметическое между Синдереллой-Золушкой и Дракулой. «When you come from a small town... All that matters is work... Always give people little presents... He lived alone with his mother collecting gossip and toys... Valerie Solanis took the elevator got off at the 4th floor...»

Если нужно гораздо детальнее, то «Уорхол» Бокриса подойдет совершенно идеально. Работавший два года на «Фабрике» ассистентом художника (о чем он не поминает ни словом – а ведь мог торговать мемуарами в духе «Уорхол и я!»), он позже переключился на жизнеописание правильных людей – Уильяма Берроуза и Патти Смит, Лу Рида и Кейта Ричардса, Терри Саузерна и Blondie. Его книга подробна и уважительна, описательна и аналитична настолько, что понравилась бы, возможно, и Уорхолу. Который обожал известность, очень часто «обнажался» публично, но – боялся кого-либо подпускать близко, впускать в свою жизнь так же, как и прикосновений, заступаний в личное пространство. Надеюсь, кстати, что Джаред Лето в предстоящей экранизации будет столь же тактичен.

Ведь книгу ничто не стоит испортить при небрежном обращении, как, например, ее чуть не разрушил перевод. «Открывать не станет», «ему уже не остановиться», «для человека (в значении «для него». – А. Ч.) пытка» в одном абзаце – здесь отчетливо слышны исходные английские обороты, и они забивают звучание русского, тот на заднем плане. А пока переводчик явно спешил, редактор, наоборот, был в отпуске – обычная в последнее время картина, приучающая нас к английскому больше, чем к русскому.

Тем более что и Уорхол, изложив биографию самолично, в книгах и интервью, ясности в целом добавлять не желал. Постоянно выдумывал разные места рождения, говорил, как Моррисон или Меркьюри, что он сирота, вообще обожал, как сейчас сказали бы, «гнать», и выходило у него это замечательно.

Да и разве ж не вечная это загадка, как больной и слабый урод стал иконой стиля и секс-символом, почти не знавший еще в школе английского – голосом и идеологом поколения? Это ведь настолько self-made man и American dream, вообще столь американская история, что ей и в голливудском фильме-то не поверишь.

Да и возникает подчас даже вопрос, сам ли он себя создал – или это была его мать? Безграмотная (она английский так толком и не освоила) очень религиозная крестьянка, русинка, бежавшая в Америку из-под обломков Австро-Венгерской империи, которую прятал от гостей сам Уорхол. Но – прожил с ней почти всю жизнь (большим решением было переселить ее из своей спальни на другой этаж дома), слушался, боялся ее. А она – помогала и поддерживала, направляла и подавляла. И однажды, допущенная до самых близких его друзей, Юлия Уорхола гордо сообщила: «Я есть Энди Уорхол!».

Пойди разберись. Уорхол любил описать, в каком диком захолустье Питтсбурга во времена Великой депрессии ему пришлось расти, но – в колледже, где он прилежно учился и получал призы за свои рисунки, он посещал выступления Джона Кейджа и Марты Грэм... Не умел вроде бы завязывать шнурки, но уже в юности красил и искусственно старил свои ботинки... А под одеждой скрывал всегда другое: колготки – под джинсами, под водолазкой и пиджаком – корсет после покушения и операции...

Ведь сам Уорхол, при всей своей гиперреактивности, потрясающем КПД и КРІ (кто еще из великих художников создал столько картин – и их копий? А снял столько фильмов?), всегда был – в стороне, неуловим, самоустранен. Как в том же сексе и любви. Да, был гомосексуален, но – скорее хотел наблюдать, слушать о, режиссировать, сводить и разводить пары. Мечтал о любви, боялся одиночества – но ни с кем не мог жить. И выбрал в итоге быть сублимирующим в творчество и жизненную активность асексуалом.

Возможно, потому, что «Энди никогда не умел поддерживать отношения с кем-либо на равных. Звезды, дефилировавшие в его мемуарах, никогда рядом не задерживались, если только у них не случалось нервных срывов, в случае которых они обретали в Энди дежурную сиделку. Так как Уайет был образчиком уравновешенного и успешного человека, его отношения с Уорхолом вскоре резко оборвались». Кто-то считал его демоном, использующим, разрушающим и бросающим людей (при нем Эди Сэдживик села на наркотики и т.д.), а кто-то – вдохновителем, опекуном и настоящим заботливым дядюшкой. Одни судились из-за его скупоści, другие – поражались щедрости. И это, к слову, только один пример не пространного, но в самую точку анализа и констатации фактов Бокриса – эпохи и Уорхола, его соратников и противников, их любовей и ненавистей.

Между тем, считая, что «не время меняет вещи, а ты сам», Уорхол дух эпохи не только замечательнейше просчитал, но и создал. Его картина банки супа так же дискутируема, как «Черный квадрат» Малевича. Стиль поп-арта, черная кожа его костюмов, стиль садомазо – модно и актуально до сих пор! Его фильмы без режиссуры, без профессиональных актеров, запечатлевающие просто болтовню, повседневное, просто здесь и сейчас – разве и не поныне делаются так модные интервью, модно практикуется везде, от verbatim театра до YouTube-блогерства? «Я просто хотел найти замечательных людей и позволить им быть самими собой, говорить о том, о чем они обычно говорят; а я бы снимал их в течение определенного времени», пояснял Уорхол в «ПОПизме».

Он сделал 60-е и 70-е своими, застолбив, став их символом. В 80-е – был мега-звездой, не сходя со страниц всех СМИ, тусуясь – рок-звезды на пороге «Фабрики» на поклон не в счет – с президентами, королями (жена тогдашнего главы Канады и мать нынешнего Трюдо напи- валась в его компании в Studio 54, принцесс небольших европейских стран он любил сажать на телефон в качестве своих случайных секретарш). Список длины каталога Уорхола.

Как и перечень его занятий – живопись и инсталляции, кино и продюсирование рок-музыки, книги и пьеса (без «Свинины», говорят, Боуи был бы совсем не Боуи), журнал и собственная передача, бесконечные интервью и мюзикл, дневники и универсальное мультимедийное передвижное шоу «Взрывная пластиковая неизбежность», когда в рок-клубе демонстрировались его работы, играли The Velvet Underground and Nico, а на сцене «фабричные» Уорхола устраивали шоу с хлыстами, шприцами, распятием и (иногда не совсем) имитацией BDSM-секса. А еще – в духе нынешних домов моды, мигрирующих в сторону японских универсальных торговых домов и ТНК – он хотел, но не успел создать собственный парфюм, открыть ресторан, купить отель.

Как Уорхол мог заниматься, быть всем этим? Да, конечно, «смысл поп-культуры, ко всему прочему, в том, что кто угодно может заниматься чем ему вздумается, вот мы и пытались заниматься всем подряд». И в одних газетах его сравнивали с Да Винчи, Руссо и Арто – Time тут же громила в совершенно советской стилистике, будто Жданов Ахматову и Зощенко

клеймит: «Опечаленные преступлением и его последствиями американцы должны пересмотреть свое отношение к Энди Уорхолу, годами поощрявшему все виды разврата. Король поп-арта был блондинистым гуру мира кошмара, запечатлевшим порок и нарекшим его истиной». На «Фабрику» стояла буквально очередь из Дэвида Боуи, Трумана Капоте, Мика Джаггера и Лайзы Минелли, а в Лондоне запретили не только фильм Уорхола, но и арестовали всю присутствующую публику. Один из лидеров битников Корсо не ленится подойти к Уорхолу, чтобы сказать, как его ненавидит, – сидевший рядом другой бит-король Гинзбург тут же обнимает и утешает его. И это не только реакция на Уорхола, но и самого его: когда его в лицо обругал дьяволом де Кунинг, Уорхол в своей тихой манере пробормотал спутникам, что ему-то де Кунинг нравится.

Это показательно и могло быть, потому что при всем своем зашкаливающим таланте, помноженном на тончайший ум, лисье чутье и удивительную трудоспособность, Уорхол был прежде всего – лакмусовой бумажкой эпохи. Да, иногда черной дырой, поглощавшей людей, но гораздо чаще – точкой рождения новых звезд и вселенной, причем процесс этот был перманентным.

Уорхол был всем – и ничем. «Моя цель – ничего не предпринимать», «мне нравятся голые стены, а то повешают всякого», «я – ничто», желание, чтобы на его могильном камне красовалось лишь одно слово «подделка». «Музыка начисто выдувает из головы все мысли, и работаешь только на инстинкте. Подобным образом я использовал не только рок-н-ролл – и и комбинировал радио с оперой, и телевизор включал (правда, без звука); а если и это не прочищало мозги в полной мере, открывал журналы, клал его рыдьяшом и читал какую-нибудь статью, пока рисовал». И это действительно был такой дзэн, когда Уорхол, как продвинутый буддист, готовый к озарению-сансаре, полностью очистил свое сознание – и был готов принять все, ловил мельчайшие колебания в атмосфере эпохи, в искусстве еще будущего. Такой вот немой голос поколений. Пустота с *hoggor vacuī*, боязнью пустоты.

Чтобы интересоваться, реализоваться во всем, можно быть всем (Леонардо) – или никем (Уорхол). Его самого и не было (на всех уровнях – от непонимания его загадки до его имиджевой манеры стоять в сторонке на приемах, еле слышно цедить междометия). Поэтому в него, как в компьютер с пустой памятью, загружалось буквально все.

Соответственно бесконечно менялись его имиджи-личины и занятия-увлечения. А окружающие гадали, *who is Mr. Warhol*. «Вот был парадокс. Иностранное – вот лучшее описание его присутствия, потому что столь милое обаяние исходило от такой демонической фигуры», рассуждал ближайший помощник Уорхола поэт Герард Маланга. Часто называли Энди ребенком, но с детства («рождение – это продажа в рабство», афоризм самого Уорхола) отмечали при этом раннюю зрелость, черты старика (то есть практически Лао-Цзы, иероглифическое имя которого означает – «старый ребенок»). Бокрис называет его и юродивым, что – уже гораздо ближе.

Посему код к его биографическим загадкам, щедро демонстрируемым в этой биографии, прост. Уорхол выгонял самых близких – и шел, спастись от одиночества, раздавать рождественские пирожки. Ужинал в «Максиме», рисовал ради денег иранских шахов и все семейство Картеров – но итальянские и английские (с признанием в собственной пуританской стране сложнее) панки и фрики держали его за своего в доску кумира. Сам создавал искусство будущего, не только зачеркивающее, но и глумящееся над могилой искусства традиционного – так же, как над искусством собственным и искусством вообще (прямая – а Уорхол не любил личности – метафора: холст, положенный под дверь в качестве коврика или тот, краски на котором размыли мочой), но – забил свой дом коллекцией традиционного и древнего искусства на десятки миллионов. Любил лечиться, но ненавидел больницы. Обожал мать, но сдал ее перед смертью братьям и не пришел на похороны. И умер от банальной операции.

Лекарства и цветы

Дерек Джармен. Современная природа / Пер. с англ. И. Давыдова и А. Соколинской. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. 400 с

Задумавшись, с кем из отечественных производителей сравнить эту совершенно чарующую книгу, вспомнил сердца четырех. «Грустный враль» Георгий Иванов с «Петербургскими зимами» и «Китайскими стенами», изысканные дневники Михаила Кузьмина, ехидное эстетство Константина Сомова и «Жития убиенных художников» Александра Бренера. От всех понемногу – и даже больше того.

А ведь формально дневники Дерекса Джармена посвящены – его саду, вот уж эти англичане с их любовью к садоводству и чаепитию в минуты отдохновения от оногo. На отцовское наследство в 80-е Джармен купил себе небольшой дом в Дангенессене: бонусом – «граница моего сада горизонт», выхолощенная ветрами и солью почва, морской берег и АЭС не доходя до этого самого горизонта.

Сад около Хижины Перспективы стал очередным произведением искусства имени Джармена (его до сих пор ездят смотреть) – как фильмы и книги, картины и скульптуры-инсталляции, видеоряд к шоу Pet Shop Boys (создавал во время написания) и вся жизнь. Как Параджанов в заключении создавал картины из пробок от кефира, а из жизни заключенного (Что ты возишься, работай с огоньком! – и подметавший плац режиссер поджигает свою метлу) шоу, так и тут – совершенно из любого сора вырастает творение.

Параджанов не для красного словца, ибо ограничен был и английский режиссер-либертен. Нет, от болезни он еще не очень страдает, жизнью (садом, творчеством, друзьями) собирается наслаждаться до последнего, но – это же еще почти табу. Гомосексуалов, он сам пишет, норовят уволить с работы за каминг-аут, а уж носителей ВИЧ – законодательно упрятать в больницы, изолировать, осудив. Джармен, кстати, был первым из селебритиз, кто открыто признался в обоих пунктах (на вопрос в газетном опросе, чем вы гордитесь в себе? Гомосексуальностью!) – газеты через день хоронили его в желтых статьях, знакомые боялись пожать руку и т.д.

А Джармен, как Сэй Сёнагон или другой великий ботаник XX века Эрнст Юнгер, пел оду своему саду – семена, уход за ними, распустились, но побил ветер. Писал настоящие дзуйхицу: «Вокруг АЭС выросли строительные леса. Сияет солнце. Фрэнк Синатра поет “What a Guy, What a Fool am I”. Чем бы заняться? Проросли нарциссы».

Он не дал болезни отгородить себя от мира, наоборот, распустился на встречу ее солнцу даже пуще прежнего. «Всю ночь до самого рассвета ревел сильный ветер, залетая в мои сны» – автор «Природы» впускает в себя и на эти страницы все.

Отчет о снах (еще один привет Юнгеру!) и повседневных делах, работах и созерцаниях. Документирование посиделок с друзьями. Воспоминания о родителях – отец как-то выкинул его, четырехлетнего, в окно за отказ должным образом питаться. О детстве и юности: 60-е? нет, он не любит их, они были идеализированы позже, а тогда – грибы в меню были экзотикой, в клубах подавали один растворимый кофе, а танцы дозволялись только без прижиманий, ни-ни. Много тут и о его современниках и друзьях – Энди Уорхоле, Роберте Мэпплторпе, Ките Вогане и других. Да, размышления о борьбе за права меньшинств. Тут, кстати, он идет параллельными с Диамандой Галас путями: та вытатуировала на пальцах «ВИЧ-позитивный», Джармен так подписывает свои картины, оба называют новыми мучениками – сексуальные меньшинства и больных новой болезнью (стигматизированные обоим – святые в квадрате).

Шутки, наблюдения, отчеты о прочитанном и забавности. Лирика – «ангелы не стремятся лишить вас духа первобытной космической черноты. Они – свет во тьме, звёздное скопление, поющее музыку сфер. Каждый ангел несет истинную мысль. Это пчелы бесконечности, посланники Мудрости. Их мысли – медовая сладость. Мертвые души, – шепчут они. Мудрость непроницаема, неразличима, и найти ее может только археология души». И горечь этой тьмы, точно у Хуана де ла Круса, обступающая подчас и днем: «Грызуны-пассажиры, злобные мертвые глаза, вонь сырой зимней одежды, скомканные газеты, размазанные усталыми пальцами мировые проблемы».

Последние страницы – ворох болезней, больницы, процедуры и лекарства с их такими красивыми названиями, кто их только выдумал. *The Fault in Our Stars*, как говорится.

Книга издана с необычной версткой и с обложкой из белого картона, на котором, белым на белом, выгравирован листок. Джармену бы понравилось.

Отечественное

Собаки, возьмите к себе человека

Сергей Солоух. Рассказы о животных. М.: Время, 2016. 256 с

После масштабной «Игры в ящик» (2011) Сергей Солоух издал совсем небольшую книгу. Легко действительно принять за рассказы.

Социальный роман – и это правильно и хорошо – дал в последние годы хорошие победы. Как цветы на окне помешанного на фауне начальника главного героя Игоря, были победы в спектре от «Елтышевых» Сенчина до «Немцев» Терехова. «Рассказы» ближе к «Немцам» – тот же босхиански зловеющий оскал уродца под названием новорусский капитализм, подвид – офисно-менеджерский.

Игорь – старший менеджер телекоммуникационной компании в Южносибирске (Йокнапатофа кемеровчанина Солоуха). По сути – коммивояжер, накручивает на купленной на одолженные «компанейские» деньги машине сотни и тысячи, по трассам, городкам, от клиента до следующего контракта. «Хотя бы так. Чтобы помаргивала в свете фар, чтоб бликовала, как звездочка на кладбище, могилки там, могилки на севере, на скользком ноябрьском асфальте. Блестящем, как лунная наждачка, но скользком, как холодный нож».

Ведь это и дорожный роман, ямщики и бубенчики тут – «японки» и мат водителей. И герой за баранкой, не мужественный и стоический даже, как у Газданова, а постмужественный. Замкнувшийся в себя, заледеневший до точки невозврата, подчиненный законам жизни, несправедливым, как суд в отдельно взятой.

Хотя будут и голливудские почти гонки – подрезы, почти аварии, столкновения, трупы на обочине. Трупы в кабине. Труп в душе. И это, возможно, страшнее.

Ведь с этим абсолютно ничего не поделать, можно только, как Иов, вопрошать. «Когда это вошло в привычку? Заставлять себя жить? Утром с зубной щеткой в руках в полумраке ванной собирать день по кусочкам»? «С какого момента, с какой минуты все дни его жизни стали одинаковыми, неизменными, как номерные знаки начальственных автомобилей»? «Когда он перестал интересоваться погодой»? Но – «God is good, but will He listen?» (могло бы играть по радио в салоне Игоря) – это вопросы без ответов. «Когда это началось? Когда он перестал употреблять даже сорное, автоматическое “боже мой”? когда он понял, что звать и обращаться не к кому?» И осталось только одно желание – того «горизонтального положения», о котором писал Д. Данилов: «лежать и лежать, просто лежать. Единственное положение, в котором ты свободен. Не связан с миром, не кантуем. Лежать и не шевелиться. И все будет хорошо, потому что лежачих не бьют. Они похожи на покойников и оттого свободны. Свободны совершенно».

Когда его жена, блестящая, юмором сверкающая Алка начала скакать от запоя до запоя? Или когда его дочь решила уехать с коренным немцем на его бывшую историческую, даже имя сменить? Или уже когда кто-то подменил, бывшей стала страна самого Игоря и его умерших родителей, вузовских преподавателей? «Когда смешные, трогательные люди зачем-то искали знаний, стремились почему-то к просвещению. Ценили артистичность, стиль. И полки были книжными, и столики журнальными. И огненные бабочки, и радужные мотыльки над ними, везде и всюду жгли. Летали, прошивая зигзагами, пунктиром темноту. Неясность, мрак. И невозможны были, исключены, немислимы кафедры туризма и сервиса с сервильностью в Южносибирском политехническом, ЮжПи»?

Когда – по дороге в немецкую фирму, вот же «Юмор FM» судьбы – в других машинах на водительских местах видятся животные, а пробегающего почти под колесами щенка дворняжки так необъяснимо хочется притащить домой, к Алке. Или эмигрировать дальше дочери – «собаки, возьмите к себе человека». А немцами, кстати, у Терехова звались все эти новые эффективные менеджеры и управленцы, что вторгнулись и захватили нашу реальность, сделав ее – полосой отчуждения, от монитора до зарплаты.

Возможно, и не важно «когда»: «не нужно. Ни к чему. Достаточно тех ненавистных, неизбывных, мучительных, что он давно себе придумал и назвал. Потеря книг, потеря института, потеря Алки... и немцы, немцы, немцы. Не надо нового. Не надо. Задача – старое забыть». Важнее – «как». «Чтобы ощутить реальность, весь ужас ее, счастье и неотвратимость, нужно сделать ошибку. Жениться на Алке, или однажды без альпенштоков и веревок ползть от озера Харатс на самую высокую горку Хакасии Старая Крепость. Туда, где за перевалами Козьи ворота скальные останцы, прижатые друг к другу, стоят стеною ряд за рядом вдоль скользкой со снежком тропы, как будто тысячи томов навеки самой в себе закрывшейся библиотеки».

И тогда отрывается, прозревается, прочувствуется некогда существовавшее и, возможно, не полностью еще отмененное единство мира, ведь «по-настоящему прекрасное, освобождающее душу и обновляющее кровь всегда бывает страшным»: «синее небо молодой ночи казалось промытым до самых донных звезд. До хрустальной, озерной первоосновы. И в этой своей редкой, натуральной ясности как будто бы светилось». И вдруг, неожиданно, не от чего – «все замечательно, предметы и явления мира как будто замерли, стоят в каком-то вдохновенном, невероятном возбуждении, словно готовый, спетый хор перед вступительной нотой».

Все равно очень жесткая книга. Реалистичная в том смысле, что после нее лучше видно – стекла стеклоочистителем или глаза слезами – но от этого только страшнее.

В коричневом кафе неистового жука

Андрей Бычков. В бешенных плащах. Нью-Йорк: Franc-tireur, 2013. 326 с

Сборник рассказов человека, чья биография уже, думаю, заставит как минимум пролистать книгу – сын художника, выпускник МГУ, поработал как альфрейщиком и психологом, так и физиком-теоретиком и сценаристом. Переводился на многие языки, автор безжалостной «Дипендры» (помянем заодно и кормильцевскую «Ультра. Культуру», в которой вышла книга, таких издательств сейчас уже нет...), финалист премии «Нонконформизм», основатель собственной литературной премии «Звездный фаллос»... Собранные в книгу рассказы, как печатавшиеся, так и нет, «отвечают за базар биографии» – проще, видимо, сказать, как А. Бычков не пишет, чем перечислять то, как он пишет.

Подчеркнуто западная проза (даже у героев иностранные имена, платят они баксами и т.д.), отсылающая к то ли к «новому журнализму» Капоте, то ли к «крутому детективу», то ли к алко-озарениям Буковски. Мамлеевский космическо-русский галлюциноз с прожилками эссеизма чуть ли не в духе Евгения Головина. Это, по большому счету, не совсем крайности, но на сопряжении радикально разнесенных повествовательных манер – подчас в пределах одного рассказа! – и строится здание этого сборника. Вот изящный, импрессионистичный рассказ о потерянной любви, от которого веет духами, туманами и Буниным, а вот мутное и жесткое сплетение тел, всей своей физкультурой передающее привет де Саду и Мазоху (онье и помянуты рядом). Вот витой абстракционизм («в коричневом кафе неистового жука»), а вот холодные медитации над бусидо, Мисимой и новым мечом для тайцзи (или убийства любимой).

Помимо того, что это очень четкая, прекрасно откалиброванная проза (дает о себе знать физический бэкграунд?), «В бешенных плащах» прежде всего очень мускулистая, мужская проза. Не в духе Стогоффа, не дай Бог, не глупо мачистская. А концентрированное жесткое ян – с примесью темного и негативного инь. Эта проза и не притворяется, не скрывает своей известной опасности для нежных пользователей – в самых первых строчках являны «буточки крови» и «каша мозга», чуть дальше в морг свозят живых...

Сорокинский трэш? Отнюдь – тот симулятивен в силу своей подчиненности постмодернистским клише и игрищам, то есть мертворожден. Здесь же – да, рифмуется «смерть» с «любовью», и даже не с любовью, а... в русском плохо с этой лексикой, но вы поняли. Это живая и даже трепетная проза. Трепетна она по отношению к трем вещам – любви, смерти и языку («чрезвычайная тройка» двигала, толкала и прозу Лимонова, только третьим вместо языка там была война-политика). И если о любви лучше интимно прочесть, чем публично пересказывать, то о смерти и языке все же сказать хочется.

«Душистый бензин», «нежные недра», «тампонное молчание», «по ее спине уже бежали муравьи наслаждения», «выбрасывать из себя балласт своего молчания (т.е. писать. – А. Ч.)» – все синестетически ощущаешь. А о другом думаешь, пока перечитываешь глазами: «все появляется из ничего. Все всегда с нами. Трудно удержаться на кончике ножа, на паутинке, на солнечном луче, только тонкие водомерки знают секреты, они бегут по воде, как по земле, это только люди хотят, чтобы небо было твердым, как это кажется ночью».

И в этой метафизической вешности разбросана смерть, сокрыта для Андрея Бычкова ее загадка и ее очарование. Вот и рыскают по бычковским рассказам «танатотерапевты», а смерть остраивает самого героя: «...свет падал на пол, а потом, отражаясь, словно бы поднимался и освящал лица умерших, я подумал, что я ничего не знаю о смерти, как впрочем, наверное, не знает никто, словно мое мертвое лицо смотрело на меня из гроба, словно сквозь прикрытые веки оно увидело меня...» Однако «его чужой ребенок будет расти, как смерть», мысль

о смерти синхронна «этому шемящему чувству жить», синонимичны «прекрасный и мертвый»...

Смерть для героя Бычкова – это и кайф, драйвовый кайф. Не она ли дает силы вечно быть в перпендикуляре обществу, сделать, противу всех усилий современной пропаганды, нонконформистскую позицию яркой вновь, воистину витальной? Он не никогда не будет работать в офисе, мечтал в детстве стать камикадзэ, а не банкиром, «ты просто не хотел казаться одномерным, тебе никогда не было по пути ни с кем». «Что отыграть? Свобода, она же, как смерть, все на своих местах, а ты проходишь мимо, и тебя уже ничего не трогает».

Если нонконформизм победит, в каком смысле он станет звездным?

Ситуации свободы

Ирина Врубель-Голубкина. Разговоры в зеркале. М.: НЛО, 2014. 576 с

Все сборники подобного рода отличаются многомерностью, но в одних случаях приходится говорить о «свалили все в одну кучу», в этом – о весьма интересной стереоскопической картине.

В книгу вошли беседы, опубликованные в возглавляемом автором журнале «Зеркало», записанные в 90-е и 2000-е. Писатели, художники, кураторы выставок, филологи и даже израильский полицейский, в бурной юности успевший попартизанить в боливийских лесах с Че Геварой... Спектр широк, как и формат, – здесь не только беседы с ними самой И. Врубель-Голубкиной, но и круглые столы, беседы других авторов «Зеркала» (А. Бараш с А. Гольдштейном), монологи (например, Гробмана). Есть концептуальное деление книги на несколько частей и подчастей, есть и красивые связи-переходы (в конце беседы с Э. Герштейн обсуждается С. Красовицкий – и вот он, собственной персоной в следующей беседе).

Перечислять всех «селебритиз» из книги – от Саши Соколова и Геннадия Айги до Михаила Эпштейна и Ильи Кабакова – для аннотации скорее. Лучше сказать, что все разделы и подразделы книги, огромные беседы и небольшие интервью по случаю – красной линией сшивают две идеи. Даже одна мета-идея – становление идентичности. Идентичности художественной (Второго авангарда, современного израильского искусства – и современного русско-израильского в Израиле) и национальной (евреи в Союзе, России, разных алий и – американки, вдруг понявшей по время прогулок по Иерусалиму, что она хочет жить только здесь).

«Диссиденты верили в конечность рабского режима и отдавали себя на публичное растерзание, а крошечная секта художников и поэтов, подвергаясь всенародному осмеянию, смогла в своей нищете и отщепенстве создать альтернативную культуру», сказано автором о Втором русском авангарде. М. Гробман – в другом месте – добавляет: «Мы с восхищением относились к первому авангарду, к футуристам и обэриутам, но и они не являлись нашими наставниками. Фактически мы выросли и сформировались сами по себе – эта странная группа людей, насчитывавшая в своем ядре всего-то человек 50 на всю Россию, включая литераторов, художников, композиторов». Всех мнений, их нюансов и идей не пересказать, но не есть ли эта главная мысль? Ведь все равно нельзя по большому счету чему-либо научить, как-то специально воспитать – и художник становится художником всегда если не вопреки, то точно сам по себе. В условиях запрета свободы просто возникают иные ситуации неизменной свободы. Независимо от гонений КГБ в СССР (сказано в книге, что гонения эти по сути ни на что не влияли, а П. Пепперштейн справедливо замечает, что в нынешней ситуации тотальной прозрачности донос сменился само-доносом) или пусть даже самой инкорпорирующей по отношению к новопривыкшему политику Израиля (есть в книге и ремарка, что легитимирует в итоге пишущих на русском в Израиле «Библиотека поэта», предложен и термин «международный русский»).

Про футуристов и обэриутов вообще интересно. Совершенно разные люди – из круга Второго авангарда – называют неожиданное очень часто для их личных поэтик: Малевич, Хлебников и Маяковский как абсолютные величины. Хармс в жизни – «настоящий инопланетянин» (Харджиев), а Хлебников и Маяковский не модернисты, а урбанисты (прав Айги!).

Происходит и много низвержений устоявшихся вроде бы кумиров. У «захваленного» (Хромов) Бродского «стандартная ангажированная поэзия американского и европейского образца» (тот же Айги), Пригов – «неприятен» (Красовицкий) и «беспардонен» (Некрасов). А Л. Гиршович вообще считает, что у Венедикта Ерофеева шутки «на уровне средних

острот в еженедельнике “Бесэдэр”», а сентиментальная любовь к «итээровцу» Булгакову «превращает людей в кликуш». Такое вот апофатическое утверждение.

Но куда без него, можно узнать столько действительно неожиданного, что в других интервью писателями не было сказано, но вдруг сказано тут, пятничным вечером в редакции «Зеркала», когда Гробман «лежит в шортах», а за окном – «вечное солнце субботнего дня, седьмого дня человечества, предельного и недостижимого дня, затерянного в расплавленном пространстве Средиземноморья».

Так, С. Соколов признается, что Джойс для него – важнее Платонова, что, работая егерем, не только вчитывался в Евангелие, но и вникал по долгу службы в нужды пьющих деревенских, ценит не только Шишкина (понятно), Гуреева (это взаимно), но и с приятностью читает молодого Осокина!

Очевидно, конечно, что когда речь заходит о политике, все становится на порядок жестче. Арабские соседи – «отсталые народы», из трех стран, вызвавших на себя огонь арабского террора, Россия, в отличие от США и Израиля, сама виновата, а «русский – как заказной убийца. Должен прийти такой Иванов и вlepить из пистолета Макарова две пули. Сейчас у этого заказного убийцы свои проблемы, и у власти стоят американцы. Россия будет всегда страшной, конечно. Но в России кричат бандюжки, и это пока не так страшно. А настоящий свист, чтобы между ушами, – это Европа. Европа очень страшно кричит. Почему страшно? Многие думают, что Европа – защита. Так думают все левые, среди остальных так думают те, кто любит культуру. Но этот крик потому и страшный, что идет из глубин европейской культуры». Резко, честно и наиболее на круглых столах говорят.

Ведь и у великих, конечно, было не все гладко. Вот Татлин очень не любил Малевича. Когда Малевич умер, его тело привезли кремировать в Москву. Татлин все-таки пошел посмотреть на мертвого. Посмотрел и сказал: «Притворяется» (беседа И. Врубель-Голубкиной с Н. Харджиевым).

«Зеркало» не врет, в него смотреться крайне интересно, и объемные, в 600 страниц почти, «Разговоры» пролетают быстро, как самая лучшая беседа.

Кочегарка против выжженной земли

**Александр Скидан. Тезисы к политизации искусства
и другие тексты. СПб.: Транслит, 2014. 64 с**

Второй сборник статей питерского филолога, поэта, эссеиста и даже отчасти акциониста Александра Скидана отличает, можно сказать, большая насыщенность и герметичность. Вышедший за год до «Тезисов» сборник «Сумма поэтики» был трехчастен: первая часть посвящена поэзии, вторая – прозе, третья – тому, что было несколько загадочно поименовано «констелляции литературы, визуального искусства и теории»⁵². В отношении же настоящей книги можно говорить о насыщенности не только концептуальной (книга вышла на бумаге крафт, подчеркнута «бюджетно», а деньги на ее издание собирались с помощью краудфандинга, о чем автор упомянул на презентации книги⁵³), но и идеологической (книга вышла в серии *Démarche*, где публикуются не только политически ориентированные тексты, но и тексты с «левым» уклоном). Книгу объемом в шестьдесят с копейками страниц отличает та смысловая густота, которая свойственна эссе самой высокой традиции, от работ Беньямина и Бланшо до Барта и Клоссовски. Можно, пожалуй, и не говорить о том, что сборники такого качества выходили в последние десятилетия разве что у умершего А. Гольдштейна, а сейчас найти такие эссе даже в признанных толстых журналах и конференционных сборниках не обнаружению четырехлистного клевера подобно, конечно, но все равно та удача, которую отмечаешь.

Сразу же нужно, видимо, сказать о политическом. Тем более что вряд ли будет ошибкой отметить, что кривая политических взглядов автора размещена на хронологическом графике, а его становление как советского и постсоветского интеллектуала интереснее и ценнее для будущих авторов интеллектуальной истории вдвойне. Скидан вспоминает – и это, кстати, не просто мемуары, а пояснение, иллюстрация к теоретическим выкладкам, в качестве оных приведем его и мы, – как уже в школе стал убежденным антисоветчиком, создал клуб по (да, наивному и детскому еще) изучению работ Маркса. Это действительно симптоматично – можно вспомнить недавний блистательный роман *Victory Park* украинца Алексея Никитина, где в годы позднего застоя один из героев даже революционную ячейку образует, на заседаниях которой с соратниками штудирует Ленина, Маркса и Энгельса, искаженных советским восприятием. Затем автор даже поступать в институт не стал, потому что рассмеялся бы, не смог себя пересилить, сдавая диамат и прочая, предпочтя армию и дальнейшую работу в кочегарке. Это, конечно, почти питерская классика – в только что вышедшей в ЖЗЛ биографии Цоя приводят свидетельства того, как будущий лидер «Кино» и его друзья мечтали об этой работе, дающей досуг и относительную независимость от властей. Там, это мы уже отчасти реконструируем, проходило самообразования, чтения всего, что доступно. На волне перестройки и последующих времен Скидан попал в глянцевою журналистику: «Проработав в котельной семнадцать лет, в 2002 году я ушел в глянцевый журнал вести книжную рубрику. На меня вдруг свалились деньги (впрочем, смешные по московским меркам), обратной стороной которых стала потеря внутренней свободы и, как следствие, резкая политизация. Я на практике столкнулся с механизмом капиталистического культурного производства, с отчуждением, более или менее завуалированной войной всех против всех. Парадокс: не в котельной, среди сварщиков и сантехников, а в мирке

⁵² М.: НЛО, 2013. См.: Чанцев А. Звезда восходит путем зерна, или На границах литературы // Частный корреспондент, 2013, 19 апреля (http://www.chaskor.ru/article/zvezda_voshodit_putem_zerna_ili_na_granitsah_literatury_31839).

⁵³ См. нашу заметку о вечере: Чанцев А. Победа над грустью Делеза одним московским вечером // Культурная инициатива, 2014, 12 ноября (<http://kultinfo.ru/novosti/1745/>).

“среднего класса”, относительно сытого и благополучного, я осознал себя наемным рабочим». Парадокс, знакомый многим: все важные книги читаешь сам, а не в рамках курса (в моей университетской филологической магистратуре и аспирантуре не было ни Беньямина, ни Бодрийяра, ни других вышеупомянутых), а офис мира свободной демократии и капитала оказывается клеткой хуже, чем те советские работы; контроль тот идеологический, и КГБ, и нынешний – камер слежения/босса/СБ сравнить вполне можно, неизвестно еще, в чью пользу...

Такая длинная «вводка» нужна для того, чтобы понять генезис взглядов Скидана, его – совсем, впрочем, не радикальной – позиции левого интеллектуала и марксиста-социалиста. И ведь то, что он осуждающе высвечивает, найдет сейчас отклик у людей совсем других, хоть даже и традиционалистских⁵⁴ взглядов. Нынешние издатели мыслят проектами, а «сегодняшняя “форматная” продукция – это функциональная, а не изящная словесность»? За ответом – до ближайшего книжного или сайта крупных издательств. В интеллектуальной среде «циркулирует капитал, отрезающий попавшему в нее (среду) пути к отступлению. Журналисты, готовые обслуживать властные интересы новой элиты, закрывая глаза на проблему ее легитимности и компетенции, сами становятся акционерами газет и телеканалов, проводят отпуска на престижных зарубежных курортах, их дети получают элитное образование за рубежом. Эта политика “выжженной земли” с ее абсолютным (абсолютно самодостаточным) цинизмом пронизывает собой все социальное тело»? О нынешней роли интеллектуала как услуги, «чешущей пятки», писали все здравомыслящие люди всевозможных (но сходящихся в точке критики!) взглядов, от Пелевина до Кантора, да воз и ныне там. «Универсальный язык уже существует, но это не язык борьбы, но язык киноиндустрии, массмедиа, представляющий собой машину потребления позднего капитализма»? Да, уж не говоря о том, насколько далек медийный язык тех же публичных «интеллектуалов» не только от культуры, но и элементарных грамматических норм...

Но Скидан, хоть и критик по своему нынешнему месту службы, дает не только обреченную картину мира, но и (он еще и редактор, напомним) выписывает рецепты. Те же «оранжевые революции» даже в случае их успеха – «все это замечательно, но не решает главных проблем». Что делать (так, кстати, называется художественная группа⁵⁵, куда входит Скидан)? «Ответ: все то же самое – продолжать критическую работу, бороться за гегемонию, привлекать на свою сторону все больше и больше людей. Но главное, не бояться, не жаловаться, не просить, а создавать альтернативные пространства, как можно больше альтернативных пространств и инициатив, заниматься самоорганизацией».

Необходимая ремарка – Скидан пишет отнюдь не новый коммунистический (или новокоммунистический) манифест, в «Тезисах» вообще-то – глубокие и большие тексты об анахронизме Брехта, «поэтических машинах» Введенского, заметки о «Петербурге» Белого и фильмах Годара. Но просто он работает прежде всего на поле культуры, которая – привет Брехту, идущей от него идеи эстетизации политического – есть политика, не может («увы» или «к радости» – добавьте по вкусу) ею не быть.

И правильно, собственно, делает. Ибо политика выжгла за последние десятилетия и даже годы культурное поле так, что, как сказал Александр Скидан в благодарственной – и, надо понимать, программной – речи по случаю вручения ему премии Андрея Белого, остается лишь «стремиться к установлению другой коммуникации, откликающейся и поддерживающей

⁵⁴ С чем, кстати, согласиться было бы заведомой ошибкой, как и с той частью предисловия, где Кети Чухров пишет, что «заскорузлый традиционализм» считает «современные креативные практики культуры» балластом, провозглашает ненужность приобретения «культурного горизонта» и сам «не имеет отношение к культуре». Традиционализм базируется прежде всего на культуре, ее сохранении и даже вознесении, приведенное же высказывание, к сожалению, есть следствие той самой нетерпимости к инакомыслию, скатыванием в которую чреватые все идеологии.

⁵⁵ «Творческая платформа, объединяющая российских левых художников, философов, арт-критиков, писателей, социальных исследователей и активистов из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода» – дает нам определение «Википедия».

саму эту предельную слабость отклика. Пишут в отсутствии отклика, но ради его обретения. К народу взывают в отсутствие народа, но ради его становления. И достичь этого возможно только так: становясь чужим самому себе, своему языку и своей земле».

Буддийские сны

**Дмитрий Дейч. Записки о пробуждении
бодрствующих. Бостон-Киев: Толиман, 2014. 102 с**

Живущий в Тель-Авиве прозаик и мастер восточных духовных практик выпустил несколько книг – кажется, даже их названия указывают вектор его писательства: «Преимущество Гриффита», «Сказки для Марты», «Зима в Тель-Авиве», «Прелюдии и фантазии». «Записки» – едва ли не самая странная его книга, при этом отнюдь не уступающая предыдущим в камерном очаровании. В «Записках» Дейч шагнул дальше всего – на территорию свободы от конвенциональной прозы, соединения обычных житейских/писательских практик и духовных исканий, сюрреалистического эксперимента.

Дело в том, что книга посвящена – записи снов. Не отсюда ли что небольшие художественно-типографические вольности (вместо номеров страниц – даты записей) и даже некоторое веселое хулиганство («издано при поддержке консульства Альфы Центавры»)? А если серьезно, то, как объясняет Дейч, «для практикующих буддийскую йогу ночь может оказаться идеальным временем практики. <...> Десятилетиями тренируется определенный ментальный мускул, который однажды начинает действовать, и тогда сновидение становится частью яви». Не стоит, однако, бояться этих коанов, предназначенных сэнсэем для практики во время очередного ритрита; здесь все, сказал бы я, противореча отчасти автору, подчинено все же художественной цели.

Подневные записи снов, конечно, сюрреалистичны: «снились низко летящие синюшные облака, и на фоне облаков – черно-белые лица, выплывающие на поверхность и меркнувшие без всякого порядка. Нечто подобное бывает во время грозы, когда молнии в большом количестве мерцают внутри дождевой тучи, и кажется, что туча беременна неисправными лампочками» (не подобную ли ночную молнию описал Хайдеггер после посещения Греции?). Но в них ненавязчиво заключен смысл. Так, рассказчику Дейча (тут, кажется, можно снять «рассказчика», но не суть важно) снится, что он живет во льдах, под боком огромного потерпевшего крушение судна. Судно ремонтирует, но он даже не хочет видеть тех, кто это делает. И он просит сплетников-альбатросов не рассказывать ему ничего о людях. Он – самодостаточен на грани просветления. Но вот ремонт закончен, и ему говорят, что не могут отплыть без него, «ведь ты – капитан корабля». Здесь уже речь не только о самосовершенствовании, но и грани между ним и ответственностью, о восприятии, вообще заключено ровно столько же смыслов, сколько вы готовы увидеть.

Есть вполне даже и мораль в этих зарисовках-притчах (а сказки, небольшие рассказы Дейча всегда и склонялись к жанру притчи). В Иерусалим должен прилететь Иисус, то есть актер из мюзикла «Иисус Христос – Суперзвезда». Встречая его, толпа приветствует его будто Бога – все преклоняют колени. Герой же озадаченно осведомляется, почему так, это ж актер. На произнесшего о голом платье короля все осуждающе оборачиваются – и ему инстинктивно хочется спрятаться, так же упав на колени... Да, в «Записках» встречаются и пассажи, которые можно счесть Эзоповым языком, предназначенным для считывания некоторых смыслов современности: «снился человек, который шел по улице Бен-Иехуда задом наперед. Прямо перед его лицом, на уровне глаз, медленно летел воробей, а спина была прикрыта бронированным щитом – от столкновений с прохожими и автомобилями. Человек улыбался и что-то непрерывно шептал воробью. Люди обходили его стороной». И это оказывается «нашим новым Генералиссимусом». То есть можно уже, кажется, в духе средневековой экзегетики, говорить о нескольких уровнях трактовки текста: аллегореза Каппадокийской школы предполагала три

уровня понимания Священного Писания и особенного Ветхого Завета, духовного, душевного и телесного – у Дейча же есть смысл, мораль и непосредственная образность. Все это, повторюсь, на весах Морфея, уравновешено той ненавязчивой камерностью, с которой атрибуты дзэнских культов всегда были скромны до невзрачности, даже с какой-то небольшой полумкой, и зашкаливающей дада-визуальностью.

В аннотации к книге упомянуты такие великие сновидцы, как Л. Кэрролл, Э. Юнгер и М. Пик. Да, Юнгер (и тот же Чоран) записывали свои сны такими же маленькими абзацами. Но мне кажется, что это вообще начало, чуть ли не рассвет нового жанра. Подобные миниатюры составят новую книгу А. Иличевского, их можно прочесть в фейсбуке Д. Бавильского и М. Бараша. Жанр Розанова и Дефоре возвращается? Можно, конечно, сослаться на то, что во времена того же фейсбука и твиттера читатели отвыкли от длинных текстов, а можно сказать, что их смысловая и стилистическая насыщенность более чем компенсирует их скромный размер.

И, как смысл и образ сливаются у Дейча в алхимическом браке, так и нельзя говорить об этой очаровательной книге, читать ее без потрясающих иллюстраций художницы Светланы Дорошевой – таких же сюрреалистичных, средневековых и загадочных, как и пробуждение бодрствующих.

Так и хочется спросить после прочтения сотни с чем-то страниц – Дмитрий Дейч, а что тебе снилось дальше?

Шоколадные шпалы

**Игорь Лёвшин. Петруша и комар. М.:
Издательство «Уроки русского», 2015. 336 с**

Игорь Лёвшин, маргинальный автор и не менее альтернативный музыкант, не выпускал книг двадцать лет – собственно, в 1995 вышла его первая книга. Сейчас вторая. А зачем суетиться в том гамбургском трактире, где борцы сходятся за занавешенными окнами? Такая проза настаивается долго, восходит трудно, послевкусием верна.

Не менее долго думаешь – а вот что это сейчас было, что ты прочел-то? То какой-то вербатим в духе раннего, голодного еще Гришковца, то быт и чернуха кабаков и поездов имени В. Сигарева и А. Гаврилова, то весьма разудалая эротика (студентка из Китая, Лаоса и негр с дредами с героем – а, каково?), то вообще киберпанк отдаленного, не очень и вообще непонятно какого будущего.

За него, кстати, отдельное спасибо, ибо олдскульный sci-fi и кондовое фэнтези у нас штамповать научились, а вот с лучшим подвидом фантастики до сих пор импортозамещение не налажено. У Лёвшина же (как непривычно уже и здорово, кстати, писать букву ё!) какая-то страна виртуальных собак и киберлисиц, смертельные дуэли с ожившими персонажами сериалов и тот мир, где – вот абсолютно это не афишируется, не «вброс» даже, а так, между делом, мазком и деталью – «1984» Оруэлла давно считается романом-предсказанием о счастливом будущем, а «Дон Кихот» – злостной сатирой на главного героя. Да у него и тараканы ходят живыми в одном рассказе, в другом с наклеенными на спинку буквами складывают герою слова и так коммуницируют и – вообще черти что.

Вот шпалы делают из твердого швейцарского шоколада Toblerone, который нам поставляют в обмен на нефть, а тела занимающихся под проходящим поездом любовников их растапливают.

Но это, конечно, детали и не важно. Важно очень, что Лёвшин как-то очень хитро умеет заглянуть за занавес реальности, услышав запах не только старой театральной пыли, но сокровенного испода. Он сует нос не в тектонические разломы, но трещинки реальности почти микроскопические – но там как раз виден иной мир. Или намек на него. Но точно какие-то мерцающие странности. И – не в миг, но «медленно и неправильно», как завещал Ерофеев – тут какая-то метанойя что ли? Вот, например, дураки – или не такие уж дураки? Бог весть – прыгнули на плот, что у берега Терлецкого пруда у шоссе Энтузиастов. Тот отвязался, поплыл. «Плот, не спеша дрейфующий к середине пруда с мужчинами, женщиной и ребенком, вдруг притихшими, производил странное впечатление. Как будто смутное беспокойство пробежало – как рябь от брошенного в воду камня. Даже зрители на берегу как-то притихли, замерли».

Замерли они и притихли, да. Это они не знают еще, а только водолазы потом узнают, что – озеро это почти бездонно, на дне дворец гигантской Крысы из сверхплотной гигроскопической материи, а утопшие все живы. «Спасенные живы и здоровы. После того как хоровод расцепили, их забрали родственники. Все семеро не говорят. То ли им нечего больше сказать, то ли те разъяснения, которые они получили в подводном Дворце Крысы, обязывают к молчанию». И молчание тут – корневая, очень важная вещь. Многие рассказы из сборника обрываются на нем, на полуноте, на том молчании, что гремит и шумит тишиной в ушах, когда децибельный концерт вдруг оборвали, внезапно кончив сет, музыканты.

Кстати, музыка у драйвового/депрессивного Лёвшина в книге тоже звучит соответствующе отменная – Резнор и Лигети, Tindersticks и совместный блюграсс Планта и Краусс.

Принцип всеединого музея

**Борис Гройс. Русский космизм. Антология.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 336 с**

Даже на путях, наиболее отклоняющихся от Предания, даже в своих заблуждениях, мысль христианского Востока последних веков – и в особенности русская религиозная мысль – отражает стремление рассматривать тварный космос в экклезиологическом аспекте. Эти мотивы можно найти в религиозной философии Владимира Соловьева, в которой космическая мистика Якова Бёме, Парацельса и Каббалы переплетаются с социологическими идеями Фурье и Огюста Конта; в эсхатологическом утопизме Федорова, в хилиастических чаяниях социального христианства, и, наконец, в софиологии отца Сергия Булгакова, как неудавшейся экклезиологии. У этих мыслителей идея Церкви смешивается с идеей космоса, и идея космоса дехристианизируется. Но заблуждения также иногда свидетельствуют об истине, хотя и косвенным, отрицательным образом. Если идея Церкви как среды, в которой совершается единение с Богом, уже включена в идею космоса, это еще не означает, что космос является Церковью. *Владимир Лосский. Очерк мистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие*

Философ Николай Фёдоров, служащий библиотекарем, предлагал мне своё пальто. Я отказался. Слишком дичился.
Из записей К. Циолковского

Довольно неожиданно и приятно узнать, что «данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современных искусств “Гараж” и ООО “Ад Маргинем Пресс”», а помогал им в этом Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС». Если такую весьма модную институцию, как «Гараж», интересует довольно маргинальное направление русской мысли прошлого века⁵⁶, то, на фоне общего состояния нашей культуры и особенно ее отношений с финансовыми, поддерживающими органами, есть и позитивные моменты? Не только о закрытии фонда «Династия» можно говорить? Но, боюсь, зависимость тут несколько иная. Издание инициировано арт-теоретиком Борисом Гройсом, в этой своей ипостаси он, видимо, его и «пробил». Все это, конечно, уже то закулисье, которое нас не касается – кто и как получил деньги на издание. Но сказать об этом стоило – потому что фигура составителя тут оказывается ключевой. Именно составитель подобрал авторов, представил их именно такими отрывками из их (довольно масштабного, если говорить о том же Николае Федорове) наследия и – снабдил концептуальным предисловием, представляющим контекст и задачи этой антологии.

⁵⁶ Впрочем, если русский авангард всегда в моде, то, кажется, мода дошла и до утопистов начала прошлого века: так, в рамках 6-й Московской биеннале в Мультимедиа Арт Музее с 18 сентября по 22 ноября 2015 демонстрировалась экспозиция Павла Пепперштейна «Будущее, влюбленное в прошлое», вдохновленная как раз русским авангардом и утопическими построениями примерно той эпохи. Что же касается непосредственно космистов, то тут главным образом вспоминаются, конечно, «Русские космисты» (1990) Ф. Гиренка и «Русский космизм» (1933) С. Семенов и А. Гачина – как видим, пик их возвращения пришелся на начало 90-х.

И предисловие это вызывает уже с первых страниц довольно сильную озадаченность – не говоря о том, кто купит эту книгу в модной галерее, поведаясь на весьма массивную рекламу «Гаража» в том же Фейсбуке и не обладая полными знаниями об идеях и персонажах русского космизма. Во втором же предложении автор к слову, темпорально привязывая космистов к эпохе (конец XIX – начало XX веков), сообщает, что появились они «после краха исторического христианства с его верой в реальность загробного, потустороннего мира». Хочется, честно говоря, робко уточнить с места – крах христианства как факт принят большинством мыслителей, произошел он именно в это время (хоть таблички с годами жизни не прикрепили)? Дальше не так однозначно, но также «ярко»: «Ницше провозгласил борьбу с нигилизмом главной задачей европейской мысли, и многие философы – от Хайдеггера до Батая и Делеза – последовали за ним». Я уж не говорю про какой-то плакатно-истматовский стиль, на который явно оказало влияние творчество таких представленных в антологии авторов 30-х годов, как Александр Богданов и Валериан Муравьев, но, простите, что с Ницше? Ницше с его «Бог умер», «подтолкни падающего» и свержением кумиров прошлого и был главным символом нигилистического мировоззрения, а уж если мы говорим о русской культуре, то большинство нигилистов его своим главным учителем и считало. Да, на более высоком уровне осмысления, можно сказать, что Ницше создал, пусть и апофатичную отчасти, собственную философскую систему, утверждал ценности, философствовал, конечно, не только ради отрицания прежнего, но провидел будущее и его аксиологию⁵⁷. Но это нуждается в определенных отступлениях и обоснованиях. И куда, простите, пошли за Ницше Делез с Батаем? Если мы говорим о тех, кто испытал на себе его влияние, то тут можно привести добрую дюжину имен. Если о тех, кто боролся с ценностями традиционной европейской культуры, то другую дюжину – и они не всегда будут, кстати, пересекаться.

После Ницше непонятное начинает провозглашаться уже о Федорове. Он «не верил в душу, а в тело. Для него физическое, материальное существование было единственной возможной формой существования. И так же непоколебимо Федоров верил в технику: коль скоро все сущее материально, то все оно доступно любым манипуляциям с помощью технологии». Не читавшим, возможно, самого Федорова тут грозит мысль, что Федоров был воинствующим атеистом-материалистом, технарем, вроде платоновского Пухова, и вообще эффективным менеджером «Роснано». Тогда как тот был глубоко верующим человеком⁵⁸, этаким новым городским юродивым, да, заслужившим своими трудами далеко неоднозначную оценку со стороны официальной Церкви, как и, самый очевидный пример, Лев Толстой⁵⁹. Да, опять же как с Ницше, в случае Федорова все гораздо сложнее – то, как его идеи воскрешения всех мертвых из праха сочетались с его воцерковленностью. Федоров действительно мыслит в духе наступающего прогресса будущего века – не говоря (как и все космисты, за исключением Богданова с его идеей омолаживающего переливания крови) ничего технически конкретного⁶⁰, он посту-

⁵⁷ Кроме очевидного негативизма по отношению к предыдущей культуре важно отметить еще и определенную зависимость, опосредованность ею мысли Ницше (в конце концов, все концепты он взял из нее же – Бог, Заратустра и Дионис с Аполлоном явились не на пустом месте): «его вызов был направлен не против какой-либо одной из философских систем, а против всей философской мысли Запада. Он в своем негативизме выступал как провозвестник новой эпохи, не очертив, правда, достаточно ее контуры. Но все новое, даже противостоящее старому, вытекает из старого». *Налимов В.* Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектура личности. М.: Академический проект; Парадигма, 2011. С. 199.

⁵⁸ В самом отобранном же Гройсом отрывке из Федорова мы можем прочесть прочувствованные слова о Сыне Человеческом, о плане построения общества по образу Троицы и о том, что слово Божие «есть сам мир».

⁵⁹ См. составленный Светланой Семеновой сборник: Н. Ф. Федоров: Pro et Contra. М.: Русский Христианский Гуманитарный институт, 2004.

⁶⁰ Любопытное замечание в скобках о том, с какими нюансами выделась проблема умирания в прошлом, уже глубоко технологизированном веке: «в современном же нашем понятии о смерти заложена совсем иная система представлений – о машине и ее функционировании. Машина работает или не работает. Так же и биологическая машина бывает жива или мертва. В символическом порядке не бывает такой абстрактной бинарности». *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть / Пер. с фр. С.

лирует гипотетическую возможность науки служить на благо духа. Но опять же сложность его мысли не укладывается в одно весьма спорное декларативное утверждение; так, в сборнике статей о нем, на который я ссылался выше, вышеуказанные проблемы, в числе прочего, дискутируются на протяжении более чем тысячи страниц.

Дальше в предисловии лишь отметим, не вдаваясь в подробную дискуссию, еще целый ряд подобных высказываний Б. Гройса, не столь, увы, проясняющих контекст, сколь в свою очередь нуждающихся в пояснении. Для Ницше мир – Хаос, а для космистов – Космос (второе – очевидно, первое – связь в целом с космистами не кажется столь уж прямой); «тотальный хаос, или дионисийское начало, оказывается умозрительной конструкцией, которой не соответствует никакой эмпирический опыт» (конец позапрошлого века с его революционно-нигилистическими брожениями, начало прошлого века с его революциями и войнами дало, кажется, более чем представимый опыт обсуждаемым авторам); «Ницше и его последователи не говорят ничего другого: смерть Бога означает вступление разума в зону бессилия» (а как же сверхчеловек Заратустра?); «хотя идея космоса как места бессмертия имеет свое происхождение в христианстве, она является наиболее последовательным отрицанием религии» (не говоря о том, что без христианства не было бы учения Федорова, а другие космисты были на его фоне фигурами все же другого масштаба, можно привести из прошлого же века очень много «наиболее последовательных» отрицаний христианства»).

Все эти неоднозначные трактовки тем досаднее, что это не вступительная статья в привычном смысле слова, там нет очерка жизни, творчества и идей Федорова и прочих космистов, это скорее концептуализирующее эссе, но концептуализация эта весьма противоречивая, как и стиль в целом – похоже на такую презентацию, где автор яркими фразами пытается разбудить невнимательно слушающую публику, привлечь внимание (на второй странице возникает Фуко – все-таки поезд европейской мысли это не японский сверхскоростной «Синкансэн», между Федоровым и Фуко были большие станции).

Досаднее все это еще и тем, что в предисловии заложены действительно важные мысли. О том, что важным символом для Федорова становится музей и библиотека – как символ хранилища, сохранения человеческой мысли и, шире, самого человечества.

Федоров и утверждает эту мысль. Говоря, что прогресс производит мертвые вещи (к вопросу об его «технократизме», кстати) и вытесняет человека, он отмечает, что музеи и архивы человека сохраняют. Выше их – только прах человеческий и сам человек. Вообще же, как он призывает воскресить всех мертвых, так он проповедует и синкретические идеи всеединства. Искусство и наука, пишет он, должны объединиться в братском деле ради единой цели. Это братство по уму и воле, знанию и действию. И служит он созданию всеединого музея – хранилища того человека, что отображен и запечатлен в книге (можно, экстраполируя его мысль, сказать, что как в тканях заложена информация ДНК, в книге присутствует – ноосферная информация).

Примечательно, что высказывания Федорова весьма актуальны буквально для наших дней, здесь и сейчас. «К сожалению, нынешний век, живя в мире распада, привыкнув к нему, не требует от совокупности научных или художественных произведений (библиотек, картинных галерей и вообще от целого музея) единства; оно и в этом также не нужно для нашего века, так же не важно, как и не нужно для него (имеющего высшие специальные заведения для отдельных наук) высшее учебное заведение для общего образования, для учения об единстве» – сейчас, увы, картина складывается таким образом, что образование вообще оказывается не особо нужным в нашей стране, а о единстве может только мечтать весь мир... Журналистка же «поглощает литературу» и способствует небратским состояниям, усиливает вражду – так же знакомо...

Александр Агиенко (Святогор) в журнале «Биокосмист» и в сборнике «Креаторий биокосмистов» (весьма говорящие названия!) в духе и стиле энтузиастов 20-х годов начала прошлого века пытается поставить на научно обоснованные рельсы совершенно «космические» идеи. Критикуя при этом Федорова за царизм и (sic!) православие. С корабля даже не современности, но уже почти наступившего, построенного с союзниками и единомышленниками прекрасного будущего летит, ни много ни мало, «вся предшествующая история от первых проявлений органической жизни на земле до солидных потрясений последних лет – это одна эпоха. Это – эпоха смерти и мелких дел. Мы же начинаем великую эру – эру бессмертия и бесконечности». Но, несмотря на громогласную революционную риторику, интенции у него совершенно федоровские: утвердить, что «человек – это не маленькое существо», дать ему «высшее благо» – «бессмертную жизнь⁶¹ в космосе».

Валериан Муравьев в своей «Всеобщей производительной математике» не так отрекается от прошлого, он хочет «привести вас в восторг от созерцания Вселенной, от ожидающей всех судьбы, от чудесной истории прошедшего и будущего каждого атома». Он прибегает даже не к математическим выкладкам, а тому, что сейчас назвали бы междисциплинарностью (или – философией науки). Константин Циолковский в представленном отрывке тоже не ограничивается космосом – таков был энтузиазм и замах той эпохи, что хотели всего и сразу, переделки атома, освоения планет, нового человека и Вселенной. Конкретен единственно Александр Богданов со своей идеей продления жизни за счет переливания крови – идея, за которую он отдал жизнь, так как ставил опыты на себе, после одного из них и умер.

Не знаю, насколько данная книга, изданная модной столичной арт-институцией и составленная актуальным исследователем Б. Гройсом, послужит популяризации учения Федорова и прочих космистов⁶². Боюсь, толстые, наивные и непростые книги Федорова так и останутся в пыли старых библиотек, будут так же обсуждаться вымирающим племенем старых интеллигентов и ученых, пренебрегших более востребованными нынешним обществом темами. Провозглашаемые же космистами взгляды, если немного оглянуться, оказываются буквально на самом краю внимания современного человека. Не только потому, что никакие технологии до сих пор не помогли нам хоть как-либо решить проблему смерти и идущего за ней. И не банально потому, что вряд ли так уж многие могут в полной мере примириться с собственной конечностью. Но и потому, что проблема продления жизни человека, послезития да и трансформирования человека (а эти темы оказываются связаны) обсуждаются постоянно. И здесь можно даже не вспоминать действительно сложные (и также неоднозначные) учения Пьера Тейяра де Шардена⁶³, Даниила Андреева, Владимира Вернадского, но наличие целого спектра различных трансгуманистов прошлого и нынешнего веков⁶⁴. Понятие постчеловека обсуждается в различных науках, а также и междисциплинарно, например, в антропологии уже даже выдели-

⁶¹ В качестве одной из тем было бы любопытно проследить, что в советские (атеистические) времена подобные суб-религиозные тенденции не уменьшились, но, возможно, даже увеличились. «Если не владеть ключами жизни и смерти, то лучше не жить. Если бессмертие существует, то я хочу сейчас, именно сейчас, стать свидетелем своего собственного бессмертия, я не просто верить в него! Соприкоснуться с ним практически! Если же это невозможно, и все покрыто непостижимым мраком, то хотя бы продлить, продлить жизнь, за ее обычные сроки, любыми средствами, в том числе и почти сверхъестественными» (Ю. Мамлеев. «Московский гамбит»)

⁶² Издание этих текстов заслуживает только самой большой благодарности, хотя и нельзя сказать, что они совершенно не издавались ранее: Н. Федорова издавали и издают, Федоров, Богданов (а еще А. Чайанов) были включены в изданный довольно большим тиражом сборник «Утопия и антиутопия XX века. Вечер в 2217 году» (М.: Прогресс, 1990), статья с обзором опытов А. Богданова вышла в 15-м номере журнала «Синий диван».

⁶³ За прослеживанием некоторых аналогий в жизни и учениях Федорова и де Шардена отошло к собственной заметке о де Шардене: Чанцев А. Когда рыбы встречают птиц: люди, книги, кино. СПб.: Алетейя, 2015. С. 307–308.

⁶⁴ А можно совсем далеко не ходить и обратиться к киноновинкам. Постчеловека мы встречаем в «Люси» Л. Бессонна – благодаря новейшему лекарству у героини мозг оказался задействован почти на 100% своей мощности. Или вспомнить последнего «Терминатора» (2015) – не такая новость, что Джон Коннор тут получеловек, полуананоробот, в которого(ых) вселилась компьютерная программа. Интереснее, что ему уже свойственны даже движения, пластика, невозможные для человека, – и это хоть и впечатляет, как удачный спецэффект, но не сказать, что шокирует.

лись так называемые «трансформативные практики»⁶⁵. Здесь, кстати, учение разделилось, но оба основных направления – генная трансформация или кибергизация/виртуализация человека – как раз апеллируют к технической линии. Но тут мы сталкиваемся с крайне важным аспектом всех в целом представлений трансгуманистов – моральная сторона, то психическое, духовное и так далее качество, в котором пока не представимо долго или даже вечно будет жить (доживать? См. представленную в данном сборнике новеллу А. Богданова «Праздник бессмертия», где ученый и поэт, всемогущий и духовно утонченный герой, пресытившись бессмертием, мучительно кончает с собой⁶⁶) человек. С. Хоружий, создатель синергичной антропологии, доктор физ.-мат. наук, исследователь исихазма и переводчик Джойса, предупреждает о «неизбежном переходе виртуализации, с ее углублением, в сценарий эвтаназии, виртуализированной видовой смерти человека. Однако и этот вывод – на грани очевидного (и можно, кстати, заметить тут, что сценарий трансгуманизма, радикальный вариант любезного Делезу “реванша кремния”, есть также род эвтаназии)»⁶⁷. То есть мечты о вечной жизни оборачиваются в итоге смертью? Возможно, здесь представлен один из пессимистичных прогнозов. Но угроза определена есть, ведь бесконечная жизнь за счет технологий без каких-либо негативных импликаций – too good to be true, как говорится. Не зря же вечная жизнь не в ее небесном, обожествленном, но мирском, нынешнем качестве осуждалась всеми религиями со дня их создания, в их фундаментальных установках: «такой тривиальный путь противоречил бы и простому эмпирическому опыту и духовному опыту традиций. Буддист всеми силами хочет выйти из круга сансары, новых и новых перерождений, несущих лишь новые страдания. Христианская легенда об Агасфере тоже “предостерегает” от неограниченно длящейся земной жизни. Здесь явно прописана неадекватность телосу спасения простой бесконечной жизни. Я думаю, что и в других традициях есть подобные предостережения⁶⁸ против дурной бесконечности существования»⁶⁹. Нельзя сказать, что русские космисты предвидели данную проблему, но само наличие значимой моральной составляющей (есть она и сейчас, разумеется, но нет решений – пока все сводится только к запретам на опытах с клонированием человеческой ДНК, мировое сообщество будто замерло в ожидании того, что – откуда-то – появится ответ на то, что делать с тем, что уже позволяют осуществить технологии) в их учениях вселяет если не оптимизм, то делает их работы актуальными для дальнейшего к ним обращения и в наши дни.

⁶⁵ Предложен в работах по проблемам телесности Майкла Мэрфи и его института Эсален.

⁶⁶ Сочетающий в себе политика, ученого и поэта герой, а также общий антураж будущего – холодного, но безусловно красивого и таинственного – неожиданным образом напоминает поздний роман Э. Юнгера «Эвмесвиль» (1977).

⁶⁷ *Хоружий С.* Практика себя и духовные практики // Фонарь Диогена. Проект синергичной антропологии в современном гуманитарном контексте. Отв. ред. С. С. Хоружий. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 213.

⁶⁸ Говорил же М. Экхарт, что «Бог не разрушитель природы, но строитель ее; он разрушает только то, что может заменить лучшим» (Цит. по: *Сабашникова М.* Предисловие переводчика // *Экхарт М.* Духовные проповеди и рассуждения. СПб.: Лениздат; Команда А, 2013. С. 26) – не так ли же земная жизнь человека должна быть окончена, чтобы продолжиться уже в ином качестве? Это новое состояние будет прежде всего лишено временной составляющей: «Лишь то, что составляет мое временное существо, умрет и превратится в ничто, ибо это принадлежит дню и должно исчезнуть, как время». *Экхарт М.* Духовные проповеди и рассуждения. С. 168.

⁶⁹ *Кленов А.* Концепция времени в исихазме и буддизме // Фонарь Диогена. С. 466.

Дело седых детей

Александр Бренер. Жития убиенных художников. М.: Гилея, 2016. 380 с

Канонического тут, конечно, днем с огнем не сыскать. Да и на обычные мемуары тоже никак не тянет. Скорее, «Жития» – «опыт плебейской уличной критики. Причем улица, о которой идет речь, – ночная, окраинная, безлюдная. В каком она городе? Не знаю. Как я на нее попал? Спешил на вокзал, чтобы умчаться от настигающих призраков в другой незнакомый город».

Тут сразу несколько тем этой житийной книги. Скитания, от пустырей родной Алма-Аты и бурлящей Москвы прошлых десятилетий до галерей Копенгагена и Нью-Йорка. Плебейства – Бренер постоянно подчеркивает, что он не просто self-made man, но и лузер, ничего не удалось, не знает, куда дальше. Тема маргинальности принципиальной. И – полной свободы.

«Никогда я не был ни художником, ни писателем. И не буду. От этого мне приятно, легко. А бывает, что и нелегко. Но мне весело думать, что я – хулиган!»

Если это повод для критики всех – это было бы неинтересно. И даже если человек мало что цитирует Бемё, Ницше и Арто кстати (и не очень), но и себя критикует больше всех – вряд ли стоило бы разговора, такая поза современного юродивого, ну и что? Но у Александра Бренера – та позиция, что отрицает вообще какую-либо возможность позиций, статусов и оценок. Важно лишь творчество, творчество за краем краев, а любой успех, признание и легитимация проклятого художника – это его смерть, ставьте свой памятник и забудьте.

Иногда кажется, что географические метания Бренера – не столько поиск себя и бегство от застывших институций (в Израиле разругался с М. Гробманом и И. Голубкиной-Врубель, подрался с ним, утомил «ртутный воздух страны», а тут еще официалы не выпускают на границу), сколько крестный поход и свержение кумиров, поиск себя и чего-то – через отрицание. Такая вот негативная агиография по Бренеру.

Достается же многим. «Африка-Бугаев проворно торговал и шевелил по ветру ушками. Анатолий Осмоловский тосковал, как барсук, по успеху и авторитетности. Лейдерман навсегда остался школьным занудой и пошляком. Пригов выглядел как директор Тенишевского училища для недоумков-концептуалистов». Всем сестрам по серьгам – буквально.

(Иногда Бренер по накалу кумирсвержения напоминает Лимонова. Тому, впрочем, он тоже не раз вменяет. Но – похож и стилистически даже.)

Однако, нужно повториться, не такой простой он хулиган. Борьба более глобальна – с тем, что он называет «властью надежды». Утрать ее полностью – тогда войдешь в тот ад, где обещаны открытия и не закончился еще сезон.

Там искусство животрепещет, рождается на миг, вспыхивает и умирает бабочкой. Бренер именно за такое искусство – каких-то совершенно аристократических маргиналов, что рисуют на стенах в своих халупах в Алма-Ате и просто исчезают в никуда. Но они – на том уровне Арто, Рембо и Шаламова (еще кумир – Агамбен почему-то), до которого в вечном прыжке должен дотянуться истинный. И – для них искусство важнее признания, документации и рецепции было. Сейчас же – наоборот, пиар и трансляция раньше и вместо акта искусства: «а как мог не задокументировать свой перформанс Анатолий Осмоловский? Или, скажем, Кулик? Или Лейдерман? Или Надежда Толоконникова? Или Петр Павленский? Ведь для них произведения без документации не существует! Документация важнее акции! Поэтому-то их произведения такие скучные, насильственные, несчастные». Артур Краван плевал на это – и вам велел.

Сбросить власть надежды и – идти путем сна, ведь «на небе всегда есть звезды – даже днем, когда их не видно. И нам всегда снятся сны, даже если мы не спим». И лишь очень редкие

могут пробудить к истинному деянию. «Еще это имя – Сергей Сергеевич Аверинцев – звучит совершенно как удар ночного камешка в окно: проснись!»

Проснись – и стань ребенком. «Детским голосом – отзовись!» Ведь «искусство – это дело седых детей».

Забудь успех и чему учили, забудь все и всех. Это и есть – истинное плебейство, состояния ученичества. Круши, разрушай, ненавидь! И когда он с женой Барбарой раздевается-совокупляется на вернисаже, испражняется в руку всемогущего куратора Ханса-Ульриха Обриста, рисует тот свой пресловутый знак доллара на «Черном квадрате» Малевича, это ближе не к хулиганству, но – христианскому – «если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер... тот не может быть Моим учеником». Стать никем, пустым, более пустым, чем черный квадрат, – чтобы стать чем-то. «Это ли не гуманизм?»⁷⁰.

Злая эта книга. В том смысле – что живая.

⁷⁰ Косой А. Мой тренер – Бренер // Современная русская литература с Вячеславом Курицыным. 1998. 19 мая (<http://www.guelman.ru/slava/texts/kos.htm>).

Метафизическое воображение вопреки

Ольга Балла. Упражнения в бытии. М.: Совпадения, 2016. 144 с

Ольга Балла хоть и относится к немногочисленному числу действительно рефлексивных (а не отписывающихся – часто, увы, сейчас и такое) и увлеченных критиков, но книгами до этого не баловала. Вернее, книги были, даже три тома сборника эссе, рецензий и статей, но выходили они, увы, в американском издательстве⁷¹, в силу чего труднодоступны. Ольга Балла же критик действительно *работающий* (о работе – чтении, осмыслении книг и бытия, работе над собой будет и в этой книге) – и речь даже не о продуктивности и количестве публикаций, но искреннем желании прочесть, отозваться, построить очередную привлекшую книгу в свою эстетическую систему. Да просто – поделиться! Публикаций же – отметим с завистью, мало кому из действующих критиков, если только не работает в немногочисленных *платящих* изданиях, удается писать часто, преодолеть энтропию прочих дел, не сойти с дистанции – у Ольги Балла-Гертман, по счастью, много. Об этой другой фамилии, служащей не псевдонимом, но гетеронимом в духе Пессоа, в книге тоже есть: вплоть до рассказа об их разной гендерности и характерах. «“Гертман”» отчётливо мужеска пола и претендует аккумулировать в себе маскулинные черты моей персоны. “Балла” добрее, проще, контактнее и даже экстравертнее. “Гертман” – жёсткий, желчный, интровертный, критичный». И из сказанного уже понятно, что в руках у нас не сборник критики (жанр тоже безусловно интересный), но – сборник эссе, родившийся из записей в «Живом журнале».

Балла осмысляет, конечно, и сам этот жанр. Культурологические сравнения – эпохи романтизма с их прекраснотворными дневниками и нынешнего почти обязательного блогерства – безусловно интересны. Но ценнее – мысль более своя, более – пережитая и *вычувствованная*: «начинаешь не просто ценить короткое до скупости, сгущенное, точное слово, но испытывать потребность в нём – как в воздухе. Лучше недосказать, чем «пересказать». Остальное читатель пусть в себе выращивает. Искусство письма – коли мы уж сегодня о разных искусствах говорим – это искусство нехватки». Здесь тоже можно вспомнить обусловленность блогов (ограничения на количество знаков в Twitter, тот факт, что длинные посты в Facebook лишь самые преданные и необременённые суетой дочитают до конца), но – не нужно. Ибо этот краткий жанр рождается буквально на наших глазах – можно вспомнить поэтические миниатюры М. Бараша и А. Чипиги, изящные максимы Д. Бавильского и А. Иличевского (а «в анамнезе» – Розанова, Чорана и Юнгера) – то есть, это кому-то нужно, если зажигаются эти звезды. О. Балла это нужно, позволим себе предположить, из-за своеобразного служения. Недаром она пишет о внимании к аскезе в разных ее проявлениях. Краткость Балла – одновременно от избытка и (само)ограничения, это определенно та краткость, что смыслами гуще других долгих страниц. Краткость вопреки.

«Нас воспитывает абсолютно всё, что мы делаем. Каждое движение; каждая мелочь способна впечатываться – да и впечатывается – в форму нашей личности, нашего существа». Но воспитываем мы себя – да, в результате усвоения внешнего, пост-внешнего – сами. И самовоспитание Балла – при всей открытости, зачастую восторженной, хоть и умудренной, миру – прежде всего, кажется, в этом стоическом самоограничении. «Наращивая количество обязательств и обязанностей в своей жизни, мы повышаем ценность свободы <...> и остроту её проживания. <...> Свобода (в этом банальном варианте) – как специя: её должно быть мало». Это, безусловно, не о внутренней свободе (об этом Балла пишет отдельно), но о почти средне-

⁷¹ «Примечания к ненаписанному» (USA, Franc-Tireur, 2010).

вековом и религиозном (хотя автор и называет себя пострелигиозным человеком с интересом к христианству и иудаизму) служении, самоумалении себя, ради – выращивания, вознесения себя к высшим смыслам и ценностям.

«Я» – только повод быть. Не самый лучший (это ко всякому “я” относится, к “я” как такому), но ничего более удачного, похоже, пока не придумано. “Я” – это то, сквозь что, вопреки чему (хотя, конечно, также и “благодаря”) приходится осуществляться». Подобная работа над собой (да, скорее над собой, нежели над текстами, тексты тут – результат) не может быть не трагичной (это не случай «веселой науки»). «Кажется мне, что грусть (как модус восприятия жизни) – это форма благодарности за жизнь. Форма острого переживания её драгоценности». И сиюминутности, продолжает Балла совсем в духе ваби-саби Сэй Сенагон, но мыслит она все же явно в парадигме авраимических религий. «От вины необходимо чувствовать боль. От этой боли надо не только защищаться, но и не защищаться. Чтобы эта боль и память о ней не давали нам утратить чувство того, что вина – зло, что нельзя совершать действия, в результате которых мы оказываемся виноватыми». В своем добровольном аскетическом служении Балла доходит до этических высот Симоны Вейль и Натальи Трауберг. То есть если это и пострелигиозное мышление, то не в смысле индивидуальной (не)воцерковленности (внутренняя вера – она точно есть и горит, даже не тлеет), но в том смысле, что в нынешнем мире все труднее узреть и оправдать присутствие божественного, от чего – еще грустнее. Но Господь работает и через отнятия и беды – «бедами Господь переписывает нас на бело».

Внутреннюю веру Ольга Балла ищет через открытость миру. И эта открытость двойная – через умаление собственного Я (так что разговор изначально шел, конечно, не просто о краткости стиля – из письма удалялось Я и все лишнее, но в него пускался мир во всей его кристальной четкости). «...С другой стороны, нет ведь (в пределе) и ничего чужого – в области внутренних событий во всяком случае. Нет, например, “чужих” чувств: как только “я” это чужое почувствовал, пережил, пусть даже просто воспринял – оно уже “мое”, поскольку – факт моей жизни и начнёт теперь, будучи всего раз воспринятым, прорасти в меня, в том числе – как это свойственно настоящему – незаметно для меня и независимо от моей воли. Человек пронцаем. Отчуждённость – конструкт, она достигается усилием». Это, пожалуй, и есть то «упражнение в бытии», что составляет стержень этой книги.

Хотя, конечно, грусть мотивирована и теми многими другими вещами – бытийными и бытовыми в равной степени! – о которых тоже будет сказано.

Психогеография и возраст, любовь и чтение, рутина и озарения, времена суток и хоро-вод сезонов. Эти темы повторяются, проходя красной нитью, плетутся узором. Похоже на то «индейское одеяло» из кусочков, что принято шить в Америке – от дальних предков к прабабушке, от бабушки к внучке, заплатка к заплатке, но «на выходе» – одно и неразрывное. Посему «упражнения в бытии» разнообразны, но отнюдь не дискретны.

Вот, например, как сплетается самое что ни на есть повседневное – и не препарированное, не разлагается схоластически, но объединяется и превозносится его анализом. Балла называет это «метафизическим воображением», и работает оно так: «одно из таких мест, где земное-плотское бытие, не теряя своей достоверности и несомненности, тем не менее почему-то истончается и рвётся, как озоновый слой (бытие с “промывами” инобытия, как в пасмурном весеннем небе бывают «промывы» синевы), – окрестности метро “Тимирязевская”: некрасивое Дмитровское шоссе, далёкая от всякой цельной эстетики улица Костякова... Отчего это так – не берусь предполагать, но чувствуется неизменно». Это уже больше, чем психогеография Ги Дебора и его последователей, это ближе к эпифаниям Джойса, озарениям Юнгера. Умаленное Я открыто миру, его тайнам – и мир (при)открывается, демонстрирует себя незашоренному зрению в становлении: «нам и мир дан на вырост. Затем и дан – такой огромный, такой несоизмеримый с нами, такой неожиданный, – чтобы мы росли, тянулись, чтобы не останавливались: мир как непреходящий стимул». И прежде всего мир приоткрывает любовь к нему – как и

всякая настоящая любовь, нетребующая, всепринимаящая и (за это) вознаграждаемая. «...Да, может быть, и сам смысл инструментален – и ведёт к Надсмысловому: к Условию и Источнику всех смыслов. Поэтому-то есть большая правда в том, чтобы «жизнь полюбить прежде смысла её»: известный и внятный нам смысл всегда, неизбежно будет меньше того, что есть на Самом Деле. В любви есть доверие (они вообще в глубоком родстве): “полюбить” жизнь = отнестись к ней доверчиво, позволить ей быть тем, чего мы от неё не ждём, чего мы о ней не знаем. Просто памятуя о том, что мы, со всем нашим знанием – всегда меньше её».

В книгу, как сообщает аннотация, вошли записи автора в «Живом журнале» всего лишь за 2006-2007 года. Ждем продолжение – и каких еще богатств, накопившихся за эти годы? И – к рефлексии о дневниковом/блогерском – ждем действительно в книге. В которой не пробежишь глазами, как часто при «просмотровом» чтении «с экрана», но погрузишься в смысловые богатства, их герметичную и при этом действительно открытую миру многослойность.

Свобода, как известно, в служении, служение – внутри. Но когда хотя бы избранные свидетельства этой внутренней работы явлены миру – это действительно, как пишут уже не в ЖЖ, но Фейсбуке, бесценно.

Антропология тюрьмы, свободы и страны

Александр Гадоль. Режиссер. Инструкция освобождения. М.: Издательство «Э», 2017. 288 с

Действие «Режиссера» происходит в городе на семи холмах. Киеве, можно догадаться. Но пусть будет Город, как в «Белой гвардии» Булгакова. Или даже город, как у Гадоля.

И даже этот значок-маркер о многом уже говорит. Например, что это изначально литература с некоторым странным флером. Или что литература стран бывшего СССР сейчас – едва ли не самая интересная и витальная. Подражательная и своеобразная, вписывающаяся в иные контексты и стоящая наособицу. Живая.

Героя – безымянного тоже, у него лишь «навес» (актуальный вариант «кликухи» и «погонялова») Режиссер – посадили в тюрьму. Режиссер – потому что это «хорошая профессия для тех, у кого нет профессии» и «хорошее прикрытие для человека без свойств». Так что фильмов у него нет, а фильм – будет дальше... Сажали Режиссера долго – то он умудрился в подвиге получить нож в живот, то по совету откупался. А он вместо этого решил открыть психоаналитический кабинет, создать из своей жизни нуар-фильм, потеряться среди холмов, режиссировать свидание и драку в клубе, выпить последний кофе... Посадили, видимо, за дело, он не поет арию безвинно осужденного.

Он принял это, не сразу, но принял. Научился «незаметно плакать, теряться из виду, видеть, слышать, смотреть на одно и то же и замечать каждый раз разное, сходить с ума и возвращаться обратно, предугадывать события в замкнутом пространстве, мастерски играть в шахматы, сносить побои, драться быстро и качественно, различать людей, давать им что они хотят и забирать у них что ему нужно, верить без сомнений, отвечать на искушения твердым “нет” либо твердым “да”, любить, как в книжках пишут, безответно и с ответом и ненавидеть, как бывает в кино. Он был холоден и горяч». И тюрьма не изbleвала его из уст своих со «стертыми пеньками зубов».

Да, дальше идет то, что можно было бы назвать антропологией заключения. «Здесь бывает очень страшно и очень весело. Весело бывает, когда кому-то страшно, а страшно, когда всем весело. Чего на воле не замечал, здесь вынужден замечать. Приключения в замкнутом пространстве, и некуда деться от приключений. Дни тянутся медленно, но жизнь в тюрьме быстрая. Каждый день не похож на следующий. Один человек меняется несколько раз в сутки. Сейчас он добрый друг, делится пайкой и угощает чаем, а через пять минут он злой враг и поддакивает тому, кто меня ненавидит. Зэк разный, как калейдоскоп».

И, возможно, даже слишком часто, Режиссер возводит психологию зэка и тюрьмы к первобытному. Здесь царит натуральный обмен и, конечно, свои законы, очень похожие на архаические верования: свой красный уголок иконостаса («общаг», фото женщин, сигареты), чифирь как сома, воскурение богам. «Деньги в тюрьме можно обменять на сигареты, а за сигареты купить другие сигареты, немного еды или услугу из сферы услуг. Зэки курят Библию, не читая ее. С дымом всасывают знания и не оскверняются ими. Не узнают нового и не строят вокруг себя новые схемы и формулы для подражания. Пользуются тем, что есть. Дешево и мудро. Их невежество мудрее всего самого умного, что я знаю. Я знаю, а они не знают. Живу с грузом и багажом, а они просто живут. Их бумага папиросная и легко горит, а у меня картон. Им легко, но было бы тяжело, если бы они курили Библию по своей воле, а они свободны от воли». Они стрижены, как монахи, у них клички-навесы, как в племени, записки они передают на веревочке-шнурке, волшебном «черве». А еще здесь много гуру, которые любят учить-гру-

зять – «слушать их интересно, но в какой-то момент наступает отвращение, как от пьяного Колумба, который всех достал своей Индией».

Возможно, такое сравнение вызвано тем, что Режиссер читает «желтую книгу» о принце Гаутаме (был выбор – Библия или УК, он упрямил оставить ему Будду). Возможно, ибо сам пишет почти религиозный по форме трактат – маленькие главки в страничку, рубленый стиль, афоризмы, наблюдения. Или так оно и есть.

Но быстро меняется, начинается – почти фильм. Помимо его воли случается «развод» – он сидел на «пальме» (верхний лежак), но все решили, что он так ловко сместил «смотрящего» в их «хате». Он становится им. Потом – смотрящим по всей тюрьме! И с помощью того же «червя» учит заключенных дзэну. Чем не Тарантино? Но Режиссеру скучно, скучно. Найдя было себя в этой постоянной медитации в хате, он опять стал никем не в буддийском, а самом пустом психологическом смысле. Он, как полковник Курц в «Апокалипсисе сегодня», поднимает восстание – тюрьма против ментов, (не)воля против (не)воли, жизнь на смерть, сдачи не надо...

Книг о тюрьме довольно много, если даже не брать совсем уж шансонные покетбуки. Грустно-стебная «Зона» Довлатова, мачистско-экзистенциальные А. Рубанова, автобиографические рентген-отчеты Э. Лимонова... Но литература нашего зарубежья (как лучше сказать?) тем и отличается, что она – как книги С. Жадана или З. Бурчуладзе, А. Никитина или М. Гиголашвили – какая-то на многое похожая, но все равно вне категорий, вся на весеннем сквозняке.

Конечный большой рассказ (маленькая повесть?) книги «Живучий гад» передает привет той стране, из которой мы все когда-то вышли – тоже как из тюрьмы, на непонятную свободу? Там, в ее последние годы, ящик жвачек с Дональдом Даком и «Турбо» с машинами стоил, почти как машина, видеосалоны манили, а дети впервые узнали слово «авторитет» из «Вити Малеева в школе и дома».

Титаны тишины

Андрей Бычков. На золотых дождях. М.: Эксмо, 2015. 224 с

Швейцарский теолог-иезуит кардинал Ханс Урс фон Бальтазар писал о плене ограниченности: «как и любое другое существо, человек рождается в плену: душа, тело, мысли, одежда – у всего этого есть свои границы, и все это само по себе тоже служит границей. Все, что нас окружает, делится на некое “то” и некое “это”; они отделены друг от друга и друг с другом не сочетаются». Русский писатель Андрей Бычков с блеском выходит из этого плена и переходит в победоносное наступление – марш-броском проходит по минному полю конвенционального, разбивает ряды жанров, штурмует редуты экзистенционального... Трансгрессивный прорыв в трансцендентное на пяточке небольшого романа, повести даже, совершен – но оттуда нам не доходят вестей, разве что следует ждать следующую книгу автора.

«На золотых дождях» – книга не просто нарочито хулиганская (изрядно мата с наклейкой на обложке «содержит нецензурную брань» – я всегда недоумевал, а бывает и крайне цензурная брань?), эпатажа ей определено мало. Эта та ницшеанская интенция, когда требуется разобраться со всеми прежними кумирами, унавозить грязь затоптанной прежней моралью и идолами, чтобы из вырванных драконьих зубов выросли титаны новой зари. Под обильными солическими дождями, разумеется.

Да, это весьма заратустренная книга: зло, как сказано, это лучшая сила человека, любовь равна убиванию, а главный герой Вальдемар – всем сверхлюдям сверхчеловек. О людях, да, с ними все плохо, как и ожидалось: «люди любят громоздиться друг на друге, они озабочены электричеством и не понимают, почему они умирают от рака. А Распевай знал, что на самом деле они умирают не от рака, а от других людей, потому что в их мыслях слишком много мыслей других людей, и еще больше – электричества».

Книга уходит в заумно-заоблачные области Ницше, Арто (органы без тела – инверсия тела без органов) и Делеза (машина любви тут – явно следующая модель машины желания)? Нет, она одновременно весьма современна. «В парте лежала Москва и тяжело горлом хрипела больным»; соловьи не знают не только о чем петь, но и что сказать; «уже все, кто могли, уехали», а кто остался, все равно «и в самом деле был далеко». Что, разве не так?

И это, кстати, важное свойство книги Бычкова. Как совмещаются постоянно в «Дождях» профанное и сакральное, так и вообще – совмещается здесь крайне многое и, прежде всего, в языке. Вот буквально рядом. Многие преображают тут себе тела «так, чтобы Китай буквально лез из-под ногтей» – отсылка как к геополитическому футуризму (Китай диктует моду), так и к киберпанковской телесной трансформации. «Земля, полная кротов Православия» – аллюзия в спектре от внедренных в советское время в РПЦ агентов КГБ до катакомбного христианства. А аминь тут мигрирует на восток, распадаясь на ам (ом) и инь (а где инь, там и ян, как в тайском супе том ям). Или просто яркий стиль, исполненный переливов смыслов, то вычурный, то простой – «откинь осень, лишь трава, а на гармошке играет кто-то с пастухами и пляшет» (подозреваю, кстати, что пляшет Дионис или Кришна, да и пастухи явно не простые, не даром из них выходило столько пророков и «великих посвященных» по Шюре). «Как будто вернулся он в отчий дом, где ждет крыльями крыша и машет ночами, как сон полей и ресниц, ибо лететь».

Хотя, конечно, не «просто». Семантический эквивалент языка крайне высок, он рвет ткань привычного языка, обыденного нарратива. С ними тут вообще обходятся предельно жестко – примерно как с героями, которых подвергают пыткам, BDSM-содомированию и бандаж-связыванию на манер японского сибари. На опять же руинах цветет словотворчество («Чёр ми хлеби? – Гилауне миндар!»), оборачивающее – антиязыком (его тут обрести пытаются, как

то же голубое сало у Сорокина). Из него же в эзотерических алхимических ретортах вызревает, как ни трудно догадаться, то, что было раньше изначального Слова и примордиальнее его – тишина. «Ты искал антиязык, ты нашел меня, милый мой, – сказала она, – и теперь я и только я твое молчание. А бури песка еще нанесут и горбы верблюды отдадут свои с молоком, чтобы дойти еще раскаленное через. Моря морям прошепчут: моря. И горы горам раскатисто прокричат: горы. Солнце встанет, откроет глаза свои синие и садами зацветет. Ибо курсы-капулетти исполнили уже плеть».

Аминь.

Победа над обстоятельствами цивилизации

Иван Чечот. От Бекмана до Брекера. Статьи и фрагменты. СПб.: Мастерская «Сеанс», 2016. 624 с

Книгу Ивана Чечота, искусствоведа, специалиста по немецкой культуре, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, с совсем легкой натяжкой можно было бы определить, перефразируя Николая Кузанского, как сферу, окружность которой нигде. Такое определение не слишком грешит против истины хотя бы из-за объема книги: 600 с лишним страниц мелкого шрифта и почти альбомного формата⁷², трудно представимый сейчас объем в 65 условных печатных листов. Но речь, конечно, о тематическом охвате: в книге представлены исследования Арно Брекера и Макса Бекмана, статьи о рецепции Рубенса и Дюрера, переводы из Готфрида Бенна и Генриха Вельфлина, воспоминания о Тимуре Новикове, калининградский травелог, впечатления от выставок⁷³ и много чего еще.

Соответственно разнообразны и приемы работы с материалом, методы его анализа. Это может быть биографический или мемуарный очерк (об А. Брекере и Отто Диксе или Б. Зернове соответственно), теоретический разбор политологического, философского или, конечно, искусствоведческого свойства. Травелог о Кенигсберге-Калининграде дополняет тут статью «География Фауста. Путеводитель воображения», в которой, в духе психогеографического путеводителя, разбираются не только места, имеющие непосредственные отношения к доктору Фаустусу, Фаусту и Гете, но и – а какие места и персонажи близки фаустианцам в Москве, скажем, Вене или Санкт-Петербурге? История иллюминатов соседствует с теологией ортодоксальной: анализируя плохо сохранившиеся работы архитектора Эриха Мендельсона, автор пишет: «учитывая глубокое сознательное проникновение архитектора в суть иудаизма, можно заметить, что его динамические композиции, всегда относительно независимые от функциональных задач, – это изображения абстрактных представлений о божественной креативности как состояниях турбулентности, ветра и огня, гласа и ритма. Таковы изначальные иудейские представления о Боге».

Такой объем и (все)охват обречены были бы, разумеется, на тот же центробежный распад, благодаря которому распадаются империи, если бы у книги не было мощного эстетического, культурного даже центра, выделению которого мы и хотели бы посвятить эту рецензию.

Прежде всего, в качестве исходной посылки и знакомства – как аттестует себя автор? «Историк искусств, специалист по немецкой культуре, любитель классической музыки и литературы, читатель философских книг». Это, так сказать, малая посылка силлогизма, большая же – его интересы: «внутри одной большой культуры, какой является европейская, имеется множество общих мотивов, тем, сюжетов, а также форм и структурных особенностей. У художников есть общие решения, общие приемы, даже общие цели. Художники гораздо лучше, яснее критиков видят единство искусства. Отрицание для них нехарактерно».

Определение максимально широкое, тем более в искусстве есть и отрицание, о чем и пишет сам автор. Например, когда в искусстве утверждалась определенная часть дискурса – за счет других, подчас более важных его составляющих. Так, про восприятие Рембрандта в совет-

⁷² Обложка издательства «Сеанс» весьма напоминает обложки издательства «Владимир Даль», те же содержат в себе явную отсылку к классическому оформлению книг «Галлимара».

⁷³ Подобная видимая эклектичность отличает и другую очень любопытную книгу петербургского философа, исследователя фотографии и куратора – «Философия фотографии» Валерия Савчука.

ское время, то, как его вынужден был представлять Эрмитаж⁷⁴. «Эрмитаж не столько оборонялся от политического и художественного авангарда, сколько довольно трусливо погрузился в антиквариат, в ученость, пестуя в то же время мелкую внутреннюю фронтонду. Объективно он служил той же теории мирового реализма и мирового гуманистического наследия, что и самый махровый официоз 1930–1980-х годов. Советизированный Рембрандт был главной святыней, но с двойным и даже тройным дном. В одном подвале обретался Рембрандт – христианин и мистик, мало востребованный сотрудниками и публикой, прошедшими школу позитивистского просвещения. В другом сидел Рембрандт – остряк и весельчак, повеса и блестящий виртуоз, мастер анекдота, парадокса. В третьем скрывался Рембрандт – представитель чистого искусства, живописец-интуитивист, требующий к себе столь же чистого знаточеского отношения». Подтверждение близкого родства нацистского и сталинского тоталитаризмов находим в приведенной и переведенной автором работе Юлиуса Лангбена «Рембрандт как воспитатель»: «... душа отдельного художника расцветает лишь тогда, когда она является частью души племени. Муж, Племя, народ неотрывны друг от друга. Но и в этой связи имя Рембрандта – благословение».

Это, так сказать, негативные «общие мотивы». Они, увы, универсальны для европейской культуры прошлого века, когда искусство было служанкой при госпоже идеологии. Господа менялись чаще, чем слуги, соответственно менялись и оценки культуры. Это не раз упомянутый в книге Эрнст Юнгер и Готфрид Бенн: осужденные на молчание сначала нацистами, а потом победившими союзниками, которые припомнили начало 30-х годов, когда мыслитель и поэт были идеологически близки к гитлеризму. Это грустный и смешной пример с Арно Брекером, некогда любимым скульптуром Гитлера. После войны он опять же был лишен возможности работать⁷⁵. В 1957 его «Афина Паллада» была установлена близ здания гимназии в Бармене, победив в конкурсе. В 2003 году статуя была сброшена с постамента и повреждена. В 2005 году – возвращена на постамент. Комментарий школы гласил: «Мы дистанцируемся от роли Брекера как ведущего скульптура нацистского государства. Мы отклоняем иконоборчество как средство интеллектуальной и политической дискуссии. <...> Мы понимаем произведение Брекера как символ духовного наследия античности, имеющего значение для всех эпох, а не связанное с древностью изображение обороноспособности, воплощенное в богине города Афины». На лицо двойное, если не тройное отрицание-интерпретация, то отрицание, которое, по Чечоту, для искусства нехарактерно. Его посыл подспудно обращается не в призыв искусства ради искусства, но – очищение искусства от идеологического мха и ржи.

Идеология же характерна и для тех эпох, когда провозглашается «смерть больших нарративов», эпохи постмодернизма, вроде бы идеологически неокрашенной, изначально толерантной и эклектичной. Но, говоря о том же Брекере, Чечот вспоминает, что впервые услышал о Брекере от Тимура Новикова. «Брекер заслужил в устах Новикова несколько лестных определений: “светоч традиции”, “мастер красоты”, “исключительный талант”. Недолюбивая слово “постмодернизм”, Новиков тем не менее как типичный художник-симуляционист видел в Брекере живую опору для постмодернистской стратегии, ценил его огромный провокационный потенциал».

Работа о Брекере в книге недаром столь объемна и всеохватна, что вполне потянула бы на самостоятельную небольшую книгу. «Брекера нужно знать. Это один из удивительных феноме-

⁷⁴ Про настоящие интриги вокруг экспозиций Эрмитажа в сталинскую эпоху см. в детективе (!) того же, что и рецензируемая книга, года издания: «Вдруг охотник выбегает» Юлии Яковлевой.

⁷⁵ Хотя, например, в «Arno Breker: Decorator of Power and Scapegoat of the Germans» Эххарта Гиллена сказано, что после штрафа в 300 марок он продолжал работать, а различные премиальные институты, за которыми стояли ультраправые и даже бывшие нацисты, поддерживали его премиями. Впрочем, даже эта ангажированная книга признает, что он был сделан козлом отпущения – «Breker was put on the stock as a symbol. Others – including the painters and sculptors Emil Nolde, Georg Kolbe, and Richard Scheibe – were not». Gillen Eckhart. Arno Breker: Decorator of Power and Scapegoat of the Germans. Berlin: Kunsthaus Dahlem. С 38.

нов XX века. Он открывается с новых сторон в свете сменяющихся философско-эстетических концепций; эстетика и политика здесь неразделимы. Он бессмертен, как бессмертны вопросы, образующие скелет новейшей европейской и американской культуры. Его искусство связано с разнообразными темами: спорт, гендер, религия, сепаратизм-универсализм, массовая культура, элиты, контекстуализм. Правда ли, что Брекер был художником-нацистом, а его произведения выражают идеологию и эстетику Третьего рейха? И если нет, то каковы их собственные выразительность и смысл? Эти вопросы тесно связаны с проблемой так называемого консервативного искусства в XX веке. Какая из ветвей консерватизма могла быть близка Брекеру, и что такое вообще консерватизм, в каком смысле он противостоял модернизму, если к нему принадлежали также Томас Элиот, Эзра Паунд, Жан Кокто и Сальвадор Дали?»

А «консервативное искусство» – это уже ключевое слово, недаром у говорившего вроде бы о постмодернизме Т. Новикова проскользнул «традиционализм», совершенно антонимичный этому самому постмодернизму. Ключевой фигурой же становится здесь Готфрид Бенн, гораздо более утонченный и рефлексивный теоретик традиционализма, чем его общеизвестные учителя-адепты Генон и Эвола⁷⁶. В большой и значимой работе Бенна «Дорический мир. Исследование отношений искусства и власти» как раз проблематизируются отношения изначального искусства и навязываемых ему идеологией интерпретаций: «никаких следов усталости, истощенности, пустоты формы в немецко-буржуазном смысле – напротив, исключительная власть человека, власть как таковая, победа над голой реальностью и обстоятельствами цивилизации, именно в западноевропейском смысле: возвышение, реальный индивидуально-категориальный дух, равновесие и собирание фрагментов». Идеология – за редким, архаическим уже почти исключением – антигуманна, античеловечна, а даже самое индивидуалистическое искусство обладает, наоборот, общечеловеческой ценностью. «Брекер – это не *retour* в прошлое, а *ressour* к корням европейского искусства. Человек как образ и подобие Божие – основная тема Брекера как художника-гуманиста. Всякая его форма обладает экспрессивным излучением и отвечает тезису Эрнста Юнгера: “Каждая запечатленная форма обладает чем-то сверх того, что содержит сама по себе”». Но обладает она ею изнутри – идеология же вдумывает, вчитывает ее извне.

Традиционализм, говорящий в общем-то о гуманистических идеалах – возвышении человека, предельном, божественном его воплощении, религиозной иерархии – оказывается, однако, не угоден той нынешней постмодернистской идеологии, которая вроде бы осуждает тоталитарные идеологии прошлого и носит одежды либеральных толерантности, мультикультурности и прочих безусловно хороших вещей, ради которых и надо было (бы) сражаться. «Главная вина Ворпсведе в том, что здесь ценятся прошлое и вневременные переживания, что здесь зимуют нераскаившиеся. Что здесь находят приют бывшие идейные соучастники преступлений, и раздолье для всякого консервативного и оппозиционного “справа”. <..> Автономия эстетики, оторванной от социальной почвы, утверждающей суверенную сферу красоты, имманентную ценность формы и особый эстетический типа человека. Призрак элитизма и встающего за ним иерархического общественного устройства внушает ужас лево-демократическому идеалу эгалитаризма». С чем боролись – идеологией, диктующей тоталитарный диктант искусству, – на то и напоролась. Хотя, разумеется, нынешних левых можно понять – иерархичный в пределе своем традиционализм, не собирающийся к тому же вечно втапывать в прах имена

⁷⁶ И. Чечот упоминает и их, рассказывая в своих мемуарах о Т. Новикове, что именно тот «познакомил меня с важными для меня сегодня именами: А. Дугин, Г. Джемаль и Р. Генон. До него я их не знал: ну не знал!». А Эволу причисляет к фаустианцам: «главный римский Фауст – барон Юлиус Эвола. Аристократ, католик, футурист, языческий империалист, фашист, критик фашизма и национал-социализма, расист, враг “современного мира”, этот плодовитый и серьезный писатель, философ-традиционалист, алхимик, а также живописец и поэт, он устремлялся к “олимпийскому” идеалу “естественной сверхъестественности”. В его жизни было больше поражений, чем побед».

тех же Брекера, Бенна и Юнгера, вызывает страх в силу своей хоть и старой и отвергнутой, но ассоциированностью с гитлеризмом.

Впрочем, все это лишь предполагаемый нами центр, та воронка, эпицентр интеллектуального взрыва, вокруг которой строится этот весьма масштабный разговор. В котором находится место для очень многого: для темы женщин у Брекера и его иллюстраций к раннему рассказу Мисимы и воспоминаний автора о первой близости с женщиной, для списка башней Бисмарка и рассказе о городе Вуппертале, где гнездится театр танца Пины Бауш, для истории о спасении Ж. Маре и Пикассо от фашистов и о кладбищах, «истинных заповедниках китча». Да и кого здесь, как в Париже самого начала 1940-х, только нет – «присутствовали многочисленные гости, среди них деятели политики, искусства и культуры: скульпторы Майоль, Деспио, Поль Бельмондо (ученик Деспио), живописцы Дерен, Вламинк, Отон Фриез, Андре Дюнуайе, де Сегонзак, Кес ванн Донген, Соня Делоне, Ролан Удо, искусствовед Откер Ландовски, писатели Жан Кокто и Пьер Дрие ла Рошель (близкие друзья Брекера), актриса и певица Аролетти, кстати, подруга Л.-Ф. Селина, танцовщик и хореограф Серж Лифарь, режиссер Саша Гитри».

Новые лишние

Александр Григоренко. Потерял слепой дуду. М.: ArsisBooks, 2016. 196 с

«Пребывая на земле бесконечное множество лет, он знал такое, чего не знали люди – что каждый из ветров, такой же, как они, обитатель местности, носит в себе их исчезающую жизнь...», начинается заглавная и перевешивающая все остальное повесть новой книги Александра Григоренко, автора сногшибательных, как глоток сибирского зимнего воздуха после столичного теплого смрада, «Мэбэта» и «Ильгета», и ждешь – опять вневременное, то ли сказка, то ли притча, то ли таежное фэнтези... Но нет, «Слепой» – это жесткое современное, это журналистский бэкграунд Григоренко, это будто после «Овсянок» включить «Жить». Или прочитать сценарий нового социального кино, написанный покойным Дмитрием Бакиным для Гаспара Ноэ.

Как и в кино, на первых страницах герой Шурик Шпигулин умирает. Все как в жизни, которая всегда – с напоминанием о смерти. Шел устраиваться на работу, злые люди корысти ради выследили, на пустынном шоссе ударили и бросили умирать в снегах. Как судящие там, на Небесах, мы начинаем читать его жизнь – немного инвалида (полуглухой, полунемой), немного юродивого. И это не времена «Лавра» или «Несвятых святых» – это сейчас, и это действительно страшно. Некогда большая деревенская семья, благословенная просторным домом и кучей родственников. «Правда, вскоре в жизни что-то щелкнуло, исчезла привычная страна, немного погода – колхоз “Победа”». Но еще раньше семью, как рак, начали чреваточить невзгоды и ссоры, как в «Елтышевых». И деревня начала вымирать, как – во всех книгах и фильмах. И недосуг даже задаваться вопросом, что делать? «... Подняли свой крест и несли его так высоко, что миру следовало устыдиться своих забот». Только смирение, только любовь.

За любовь, в случае Шурика, отвечают все – блаженный инвалид не испугал деревенских, особенно же его любят старики и дети. У остальных (и к остальным) с любовью тоже вроде хорошо, но потом начинаются болезни, разводы, переезды. Главная же по смирению его бабушка, что растит Шурика, когда отец пьет не понятно где, а мать убежала, не выдержав в итоге свой крест.

Но неожиданная – для нее самой, семьи, деревенских, где больше привыкли всегда работать, а не недужить – смерть бабушки запустил, как падение колоды карт, превращение редких фотокарточек в намогильные изображения. «Ее уход стал только началом целой череды смертей – пусть и не трагических, смертей от старости, – будто к Валентине были привязаны жизни других людей и кому-то понадобилось увидеть на том свете всех, с кем она провела свои молодые годы на свете этом». И наступают те «дурные дни», что у Экклезиаста, «те годы, о коих скажешь ты: я не люблю их...» С неумолимостью «Толстой тетради» А. Кристофф падают они на ребенка – да и всех.

Шурик вообще не может осознать этой смерти – впрочем, как и жизни, в которую он оказывается выкинут. А потом – нынче не к селу святые – жизнью оказывается быстро пережеван и выброшен на помойку. Новая семья выкидывает его, обретя от него ребенка, новые друзья, получив для мошенничества паспорт, и вот он на таком скворте поселка городского типа, где его спаивают, убирая так свидетеля, и он не может даже доехать до дома бабушки, потому что его обмороженные ноги гноятся, вонь от гноя «режет глаза». Его и так почти нет, а еще он – безпаспортный...

Но – неожиданный и плавный, как незаметный удар в боксе, кульбит книги – он воскресает. Страницы дошли до снежного покрывала у шоссе, ветер приподнял их – Шурик не умер тогда, оказывается. Редкой доброты же совсем мало стало, старики поумирали, дети выросли.

Его подбирает то та, то эта женщины, да. Но держится он другим. Очень мало прочтя настоящих книг, он читает несуществующие, читает их во снах иногда, иногда забывал, а иногда помнил ярче настоящего: «такую он знал за собой особенность, втайне гордился ей». «Тот удар по затылку был провалом в сон – только не от усталости, а страшный, как падение с высоты. И когда нечаявшее тело его валялось в грязном снегу и кружил над ним белый змей, он увидел тетрадный лист в ярко-синюю, с чуть заметным розовым отливом клетку, на нем покосившийся забор старческих букв». И теперь он живет ради писем бабушки, что она не писала ему никогда при жизни.

Это уже жизнь бомжа, «бича, как говорят в Сибири», и – юродивого. Как и волны вони, от него исходит настоящая святость. Юродство и жертвенность Шурика уже от его семьи – архетипичны братья, Шурик старший, его отец, и Костя. Они Авель и Каин, или, с поправкой на географическую локацию, Обломов и Штольц. О Шурике же вспомним, как его больше всего любят старики и дети, те, кто – уже или еще – сами ближе к небесному («может, с праотцами тебе лучше будет, потому как старики и дети всегда рядом, они похожи, и любовь меж ними бестревожная, неспешная, не как у расцветающих, занятых людей»), да и те и те скоро уйдут. Женщины тоже любят – одна, как Мария Магдалина, обмывает его гниющие ноги. Но они любят его не как мужчину, ибо он и не мужчина, но вечный мальчик, вневременный отрок: «этот большой мальчик, похожий на глазастого медведя ее детства, мальчик, которого она сама выбрала и приручила, вовсе не способен превратиться в мужчину, он вечный внук, нет в этих огромных глазах и отблеска той злости, какая есть у многих мужчин». Шурик привлекает женщин, как Шурик же в романе Улицкой «Искренне Ваш Шурик». Но он – повесть проговаривается ближе к концу уже прямым текстом – блаженный.

Любимый, необходимый, но по большому счету ненужный. То есть – он нужен людям, но нынешние времена его отрицают (а люди во все времена стремились соответствовать – потребам времени). И это, пожалуй, новый типаж, современного юродивого, в той галерее новых лишних людей, что столько появилось в ярких книгах последних лет – от «Географ глобус пропил» А. Иванова до «Крепости» П. Алешковского. Отметим еще, кстати, что все они или деревенские, или из провинциальных городов, где вместе с этими лишними героями уходит породивший их традиционный уклад, деревня умирает, далекие города – пустеют...

В книге еще есть эссе Григоренко разных лет. И с ними тоже интересно. Взяв старые свои тексты, он не просто вставил их для того же объема или «проапдейтил», но поступил честнее. Дописал взгляд нынешнего себя – соглашающийся, а чаще стесняющийся некоторого своего прошлого максимализма и удали в суждениях. Хотя какой там экстремизм... Григоренко пишет об умерших предках и ушедшем чужим людям из-за некоторых коммунальных проблем семейном деревенском доме (как и в строках о бабушке, узнаешь тут подтекст «Слеплого» и – еще раз смотришь на повесть другими глазами), об осени у Пушкина, о том, как его, всеобщая большая страна, где все в Сибири собирались дегустировать вино, присланное из далекой Молдавии, вдруг схлопнулась и перестала быть, об еще одном юродивом, Старике-Букашкине (так, через дефис, хотел тот сам), что расписывал в Екатеринбурге помойки и трущобы странными веселыми стихами или сам себя назначил Народным дворником...

Но эссе эти не просто симпатичный нон-фикшн бонус к прозе, как и у того же Водолазкина, они все о тех же темах, что и сама проза. Это тема смерти, изгнания из жизни, забвения: «жизнь пролетела – и такие крохи остались от человека, совсем не чуждого мне». Но «помнить и жить – разные вещи, подчас враждебно разные. <...> Не надо тревожить прошлое – людей, пейзажи, а тем более ушедшую страну: целые империи травятся ядом умерших эпох, пытаюсь, вопреки очевидному, отобрать у смерти ее законную добычу». А посему «нужен возраст и внутренний труд, чтобы начать если не понимать, то хотя бы догадываться, что неимение – тоже дар. Потерянное – притягивает, и потому живет».

«И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития ночь перейти», цитирует Григоренко в эссе о Пушкине и осени молитву Василия Великого.

Поп-механика 418

Андрей Балканский. Эдуард Лимонов. М.: Молодая гвардия, 2017. 367 с. (ЖЗЛ: Современные классики)

Выход биографии – и уже не первой! – Эдуарда Лимонова не может не радовать. Вдвойне – в серии ЖЗЛ. К сожалению, мед все чаще расфасовывают вместе с дегтем, как в позднесоветские годы дефицит снабжали каким-нибудь совершенно ненужным товаром. За Лимонова не очень обидно – он классик, ему не привыкать. Взять лишь переведенный у нас всеевропейский бестселлер Эммануэля Каррера «Лимонов», где больше романизованного репортажа из далекой страны (далекой и непонятной – Лефортово находится у него где-то в саратовских степях, Путин во время работы с Собчаком зарабатывает частным извозом и т.д.) и пересказа автобиографий-книг самого Лимонова, чем собственно жизнеописания. Каждый пишущий о Лимонове пишет свое и о себе.

Потому что, конечно, книга петербургского нацбола и журналиста Андрея Дмитриева (псевдоним раскрывается не только в тексте, но и в аннотации – мы никого тут не выдали) – это, конечно, сначала история восторженной рецепции Лимонова и нацбольский мемуар, а затем и прочий мемуар. Тем она и хороша. Хотя восторженности можно было бы чуть и поубавить (Лимонов – «аятолла» и «демиург», а тот же, например, Мисима – просто «литератор») – адвокатом себя Лимонов работал всегда более чем успешно, а вот должность адвоката дьявола при нем явно вакантна. Но автор честен – и это уже подкупает (так, если библиография «краткая», то уместается на полутора страницах – правда, там упоминаются общеизвестные, уже, кажется, ЖЖ Лимонова и Прилепина, а вот первым книгам о Лимонове на русском А. Рогинского и автора этих строк места почему-то не выделено). Но хватит, пожалуй, занудных придилок – пора в суровую дорогу настоящих и ныне запрещенных партийцев.

Повествование соткано из трех как бы линий – собственно биографического, автобиографического (в самом начале мы узнаем про отчасти схожее с Лимоновым советское происхождение, к концу – детально и о том, как рушился первый брак и проходило ухаживание за второй женой Дмитриева-Балканского) и голоса Лимонова (долгих цитат или же опросов-интервью). Вот это лимоновское присутствие действительно ценно – не только раскрываясь дополнительно перед давно знакомым однопартийцем, Лимонов вообще всегда был откровенен. Сейчас же – это видно по его поздним вещам, например, старческой и мужественной одновременно «... и его демоны» – его стиль приобрел характер острой и едкой простоты. Как старый нож – лезвие уже будто сточено донельзя от многочисленных заточек, но берегись, распорот до сухожилий и нервных окончаний!

Вот о 90-х, после возвращения из Франции. «Тогда я понял, что самому нужно что-то делать. Прежде чем заниматься политикой, нужно овладеть ее языком. Я стал это делать. Попался по дороге Дугин, который, хоть и великий путаник, но все же некоторые вещи внес». А сделать можно было в те годы почти все. «Можно было совершить мирную бескровную революцию 17 марта 1992 года. Пятьсот тысяч человек стояли на Манежной. Перед Анпиловым, на двух грузовиках мы стояли все. Никто не догадался просто повернуть все эти массы народа к Кремлю и зайти туда. Милиция была прикрыта только какими-то деревянными корытами, а не щитами. Все можно было сделать».

Вообще, чтение о той либертинской свободе сейчас вызывает весьма своеобразные чувства. Например, представим ли сейчас хотя бы в фантазиях такой концерт 1995 года «Курехин для Дугина. Памяти Алистера Кроули. Поп-механика 418»? «Дугин читал сатанинские заклинания на разных языках, в зал закидывали огромные надутые презервативы, на сцену выхо-

дили собаки, египетские боги и тевтонские рыцари, четырехрукий Курехин в роли бога Шивы играл на рояле и выделял балетные па на сцене, а на заднем плане все два часа концерта бежал человек в колесе в ку-клус-клановском балахоне». Разделка четвероногих на сквоте, чей-то нойз на купленной пластинке «на костях» и неожиданно впечатливший до печенок хор Корейской народной армии...

Тогда действительно все рвались воевать за еще пушую свободу, против системы, записывались в нацболы – Летов, Курехин и звезды меньшего калибра только из одних музыкантов.

Те времена прошли. Дважды прошли – и власть поменялась, и изменились мы. Автор – он тоже честен и молодец – рассказывает, как бил в молодости дорогие иномарки по дворам, а сейчас ездит сам и отнюдь не на отечественном автопроме...

А вот кто не поменял(ся) своих убеждений, так это сам Э.В. Лимонов. Как у доброй части осуждающих его за графоманию или порнографию знакомство с лимоновскими книгами ограничивается лишь известной сценой «с негром» в пересказе, так и кричащие сейчас «Лимонов продан власти» не читали ни жгуче антикапиталистический «Дисциплинарный санаторий», не знают, что свой анархизм («государство – это средневековая конструкция, репрессивная по сути своей») Лимонов всегда сочетал с имперским пафосом. Взять тот же Крым и Севастополь – еще в конце 90-х (!) Лимонов детально прописывал тот сценарий (волнения, военная помощь, референдум), которым воспользовалась власть, ломавшая тогда ребра, головы и жизни его сторонникам. Предлагал свою помощь – российскому государству де статус не позволяет, а запрещенной партии сам Бог велел защищать притесняемых соотечественников в близких и чужих странах (партию гнобили и запретили). Действовал сам – акция прямого действия 24 августа 1999 по захвату башни клуба моряков в Севастополе (нацболов пасли наши спецслужбы, ссаживали с поездов, арестовывали).

Лимонов не всегда пророк – хотя кто знает? Требуется выдержка временем – но в оригинальности и справедливости взглядов ему не отказать. Российская нация на нынешнем этапе ее развития «не нашла своего единого, ей принадлежащего стиля. Она рассыпалась невпопад на мелкие группки. Исповедующие каждая “свою”, но на самом деле заимствованную веру». Бюрократию «если не менять, она пожирает страну изнутри, как червь. Подобное случилось с Советским Союзом». «Якобы экономический кризис, который сотрясает планету последние как минимум пять лет, – это не экономический кризис, это кризис цивилизации».

А та же хроника участия (скорее добровольческого, потому что заправляющие в ДНР и ЛНР официалы были против какого-либо «партийного строительства») нацболов в боевых действиях в Донбассе – это, по контрасту с далекими уже 90-ми, хроника буквально наших дней. Хроника, заметим, неизвестная – если о действиях З. Прилепина там сейчас мы знаем все буквально в живом режиме, то Лимонов посещал линию фронта чуть ли не инкогнито, ездил на несколько дней, всячески избегая внимания прессы.

Прилепин, кстати, прав (в предисловии) в том, что при всем обилии автобиографических книг самого Лимонова и, вот, сочинений о нем, тем еще остается «незакрытых» очень много – и даже загадок: «отдельного исследования ждут темы “Лимонов и СМОГ”, “Лимонов и Евтушенко” (как бы плохо Лимонов к нему ни относился), “Лимонов и Бродский”, “Лимонов и Харьков” и даже “Лимонов и Дзержинск” – никто толком так и не выяснил, в каком роддоме он родился, где именно работали его отец и мать. А там дальше можно двигаться – ведь и с родителями придется разбираться, и с вопросами, отчего отец не построил себе карьеры в НКВД и что там за история с лимоновским сводным братом, вдруг объявившемся много лет спустя...» Тем, кстати, действительно множество (позавидуем будущим исследователям и организаторам научных конференций – хотя в академических кругах его и не жалуют) – та же «Лимонов и Саша Соколов» – в недавно вышедшем сборнике «Под небом Парижа» Лимонов походя рассказывает, как тащить тяжести в Америке помогал ему другой классик... Поэтому за биогра-

фию в виде нацбольшского мемуара-оммажа безусловная благодарность с занесением в личное дело, она безусловно поможет писать будущую настоящую биографию Савенко-Лимонова.

Нормативы божеские

Дмитрий Быков. Июнь. М.: Редакция Елены Шубиной; АСТ, 2017. 512 с

Чувствуется, что трупом становится все в целом. <...> Еда и питье, телесность мужчин и женщин, даже идеи – все делается пресно, все овечно дыханием смерти. Настроение, как в концентрационном лагере без колючей проволоки. Книжки, которые не перечитываются.

Э. Юнгер. Годы оккупации (апрель 1945 – декабрь 1948)

После более или менее локальных – как по проблематике, так и объему – книг о Шолохове и Маяковском Д. Быков вернулся к крупной во всех отношениях прозе. Новый роман нагружен не только тремя сюжетными линиями, но и теми многочисленными размышлениями о «судьбах нашей родины», что знакомы по так называемой О-Трилогии или «ЖД». Иначе говоря, «Июнь» – книга перегруженная, то устойчива и быстра на плаву, то откровенно черпает бортами воду.

Студент ИФЛИ Миша, читающий на скрижалях истории собственный роман воспитания после отчисления из института; циничный и, как оказалось, ранимый после ареста любимой журналист Борис; безумец Игнатий Крастышевский, тайным языком заклинающий Сталина от начала войны. Три человека в жестких хронологических рамках – с сентября 1939-го по июнь 1941 года. Три довода к выводам Быкова, разворачивающимся почти по строгой схеме силлогизма. Эксперимент с формой и, даже более с внушением (в части про ученого рецепт приоткрывается – как сначала ненавязчиво нужно закинуть тему ключевыми словами, потом ее отрицать, чтобы в конце ударить и довести до сознания, внедрить в него). Сложносочиненный, как уже понятно, роман. Как Лотреамон в свое время устраивал случайную встречу швейной машинки и зонтика на анатомическом столе, так Быков повенчал алхимическим браком коробку с чертиком мыслей и озарений и старый прабабушкин сундук с массой литературных находок, запасных деталек, обрезков.

И едва ли не самое захватывающее в этом сундуке, казалось мне местами, отнюдь не сюжет (а Быков работает почти на уровне кульбитов плутовского романа – герой болен, призываем в армию, отягощен нежданной беременностью подруги, а через минуту полностью свободен от всего сразу) и не эссеистические рассуждения, столь знакомые по почти нон-фикшн страницам его прозы, но те афоризмы, что передают суть, возможно, быстрее и эффективнее. «В Америке могут дружить люди разных взглядов, а в России нет. В чем дело? В том, что помимо взглядов у американцев есть нечто общее, и это больше любого разногласия. В России же людей не связывает ничего, кроме разве виноватости». «Беда в том, что мир со всеми его неудобствами задуман был для влюбленных, а достался разведенным». «А российская весна, бледная, слабая, после ледяной бесчеловечной зимы, обещавшей всем полное расчеловечивание, была ужасным, если вдуматься, сочетанием рабской радости, что опять выжили, и слезливого разочарования от того, что опять ничего не получилось».

А не получается ничего совершенно. Дружба кончается тут же от внешних, даже не самых крайних обстоятельств. Журналист мечется между двумя любовями, задыхается от восторга, вождения и всего – и довольно быстро обе страсти выдыхаются и уходят. Работа и творчество? Не смешите, говорит Быков, тогда все только делали вид, что при деле, все имитировали занятость, а стремились лишь не попадаться на глаза, специалистов извели, разруха тотальна. Даже, казалось бы, первая страсть студента описана в таком коммунально-гинекологическом ракурсе, что А. Василевский в своем Фейсбуке очень к слову вспомнил свиняков из послед-

него романа Пелевина, где мировые корпорации, дабы продвинуть продажи ауто-секс-гаджетов, виктимизируют секс, выставляют его отвратительнейшим. «И, как в стихах колычевских гостей, это была чушь, но в ней что-то было. Во всякой чуши что-то бывает, и порой кажется, что она-то и есть истинное лицо мира», суммирует автор свое открытие – бессмысленности мира и отворачивания к нему.

Мира в целом и, конечно, на определенной части суши – на прорисовку его Быков не жалеет мрачной палитры. Здесь одни люди доносов, люди безделья, все виноваты без вины (но после стольких инвектив их, что ужасно, даже странно и жалеть), люди без памяти и без занятия. «Мы люди модерна. Мы двойственные люди, люди-палимпсесты, в нас одно написано поверх другого», иногда пыхатся они в духе полых людей Элиота, но на самом деле «и вот на железных людей случилась проруха, ржавчина, за каких-то три года они превратились в глиняных». То есть – прогнило и вышло из сустава все, а «война спасает империю от вопросов», позволит устоять еще какое-то время исполину на глиняных ногах, как-то цементирует эту гнилую массу разобщенных людей в мнимое подобие единства. «Война была замечательным способом маскировать пороки под добродетели. Война отмывала, переводила в разряд подвига что угодно – и глупость, и подлость, и кровожадность; на войне нужно было все, что в мирной жизни не имеет смысла. И потому все они, ничего не умеющие, страстно мечтали о войне – истинной катастрофе для тех, кто знал и любил свое дело. Но у этих-то, у неумеющих, никакого дела не было, они делали чужое, и потому в них копилась злоба, а единственным выходом для злобы была война. На войне не надо искать виноватых – виноватые были назначены; на войне желать жить было изменой, и те, кому было чем дорожить, объявлялись предателями. Слово «предатель» вообще теперь было в большом ходу». Уже хорошо, что эту не совсем, скажем так, новую мысль Быков не проецирует на Россию-Крым, не уходит, как в том же «ЖД», в совсем публицистический пафос, предпочитая разбираться с эпохой той.

Но, за всей этой обычной в общем-то россыпью быковских идей, наблюдений, просто-к-слову-пришлось и давно-хотел-высказаться, есть, пожалуй, и та тема, что объединяет этот тотально энтропийный космос. Изгнание, агасферство является такой темой. И особенно ярким букетом она звучит в первой части (самой большой), которая, как еще, кажется, не писали – по сути ремейк «Сестры печали» Вадима Шефнера⁷⁷. И там, и там – вольнолюбивый и колючий герой выгнан из учебного заведения, танцы на Новый год, две возлюбленных и, что самое важное, дело накануне войны. От дальнейшего сравнения с самой пронзительной книгой Шефнера лучше воздержаться...

Мишу выгнали из института, должны призвать в армию, но призыв по непонятным причинам отменяют – изгнанничество двойное. Он отринул прошлую компанию, но манкирует и нынешней, в обе его зовут, в обеих он не к месту. Себя он все ищет, но чаще – в бюро потерь. «И как-то все это было странно: война зависла, его не призвали, восстановили, сифилиса нет, беременность рассосалась. Правда, Лию он потерял, Валю наверняка тоже, и ангел больше не показывался» – да, «как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Пока не бросила Мишу, Лия ему говорила, что в «изгойском состоянии ты мне нравишься ничуть не больше, успокойся. Правда, в не-изгойском я тебя пока не видела».

Зарифмована ли эта тема с темой еврейства? Разумеется. Смутными всполохами анти-семитских реплик и ухмылок. Или представлениями о своем избранничестве – не в него ли и кидает это изгнанничество? Миша, «еврейский маленький Пушкин» – «где у Пушкина было дворянство и пять веков истории, там у Миши была родительская библиотека». Или Борис, у которого, после дантовых кругов (сам он не пострадал, если не считать работы осведомите-

⁷⁷ Дело не редкое. Так, в «Манараге» В. Сорокина можно найти много отсылок к «Республике ученых» А. Шмидта – те же «лимитированные» допечатки книг, зооморфы (актуализированные в «Нет» Л. Горалик и С. Кузнецова), исправляющая и омолаживающая тело продвинутая медицина...

лем, задело его сильнее ударом по возлюбленной), просыпается его еврейская идентичность, и он понимает, что «всю жизнь ненавидел немецкую чистоплотность и русскую грязь; он всю жизнь понимал их одинаковую природу; он всю жизнь радовался любым разрушениям и измывался над созиданиями, признавая только одно созидание – башню собственного духа». Сказано человеком отчаявшимся, за гранью, полностью опустошенным, но – где-то на дне у себя он поскреб и нашел это, так что – в формате «в каждой шутке есть доля» сказано.

Но и «башня духа» давно пуста. Так, видимо, и должно быть, когда у героев единственное достоинство «не быть хорошим», а сгнившую жизнь сейчас зачистит война. Что ж, «как говорили в школе, когда учили надевать химзащиту, – “нормативы божеские”».

Вкрадчиво и жестко

Наталья Черных. Незаконченная хроника перемещения одежды. М.: Эксмо, 2018. 320 с

Поэт и критик, а еще, заметим, интересный блогер, фотограф, меломан и немного культуртрегер Наталия Черных написала роман необычный (сколько бы ни был подобный зачин для отзыва). Почти как его название – «Незаконченная хроника перемещения одежды», в первой редакции – «Черкизон». За такими обыденными названиями обычно любят прятать возвышенные и всячески красивые тексты, но тут – наоборот. Дискретный и синкопированный, как рваная мелодия фри-джаза, роман вообще будет мигать, меняться, бежать определенных. В каком-то приближении так написаны книги Леонарда Коэна и Ричарда Фариньи, писателей больше рока, чем (и слава Богу!) литературы. Бабочка летит мимо набоковского сачка. А вылупилась она из предыдущего романа Н. Черных «Слабые, сильные» (журнал «Волга», 2015) – примерно те же герои, те же времена.

Ведь формально «Хроника» – это роман об одежде, а несуществующий ныне рынок – тот Кремль, к которому Веничка так и не дошел, гора Кармель Иоанна Креста. Об одежде верхней и немного нижней, еще и обуви – помните, в другой, тоже уже ушедшей, эпохе, были популярны британские/дамские романы о разнузданном шопоголизме? Более гламурном, чем хроническом.

Тут шопоголик особый. Для начала – без денег. Почти деклассированный (работа то книгоношей, но больше – поиск работы или затяжное увольнение из случайного офиса), почти – без жилья. Иногда – наркоманка (и не травка, а шприц). И, что толковано несколько раз, вовсе не собирающийся жить («жить не собиралась – не то, чтобы долго, а вообще»). Не жена, не мать и даже не особо дочь. А любовь и дети – это вообще «шантаж, вынуждающий принять двойной счет жизни». И ратующий за неживое – ибо оно легче, проще или что, разные могут быть ответы тут в тексте: «мир, где нет живых существ, а есть только материал, оказался невероятно привлекательным. Этот мир понемногу открывался мне, пока отравление делало свое дело, а защитные силы ему противостояли. Действительно очень сильно отравилась, и непонятно, почему другие – нет? Поэт и Ванечка были просто навеселе». Проза вещей, а не людей, как, например, во французском новом романе.

Тем живее она, торговкой вразнос в электричке или на пустом арбатском стритУ, на фоне бесконечной одежды, вокзального люда, офисных статистов, безликих кухонь позднесоветского извода и ободранных обоев хипповских сквотов. «Бодлерша», овердозница и рыдающая под окнами своей исчезнувшей любви, как Эдичка над чулками ушедшей. Мы же неживое «принимаем за жизнь. Ведь жизнь это мертвый сюжет. И только тогда, когда то, что происходит между неживыми сюжетами, та щель ничто между ними, проявится в самом сюжете – тогда возникнет живое состояние и субъект» (Лакан).

Но жизнь не в ней, а – зажигается в неживом. Уродливом, убогом и больном, от которого обычно только отвернуться, сплюнуть и забыть. Это (о постепенной любви к сказано в книге) как с Летовым – панки, грязь, отвращение, потом – понимание, что настоящая поэзия «на уровне» и далеко за. Жизнь пастью змеи, ядовитым помойным цветком-хищником или купиною раскрывается с трех сторон. Они же – три пласта романа. Это больница героини (как подмываться над раковиной и т.д. – тут интим без секса, но до малейших пятнышек на исподнем). Это воцерковленность – да, модная тогда, перемешанная с Кастанедой и прочим, но к батюшке, тому, на причастие, да. И богемный хиппизм – тусовка 80-х, первые клубные кон-

церы «Крематория», аскать деньги и читать даже Арто. «Ортодокс бохо», одним словом. И шоппинг без денег, как хлопок одной ладонью.

«Сон в электричке – скорее поджелудочный, чем сердечно-недостаточный». И дело не в том, что у нас в литературе чаще как раз про сон сердечников. А о том, что так – сугубо физиологично и при этом отстранённо до гоголевской некрофилии и «Жить» Василия Сигарева, по-религиозному погруженно, вкрадчиво и жестко, и легко-разно-джазово – у нас пишут и даже переводят крайне редко. Проза, итого, лучших западных натуралистично-музыкальных корней, при всей своей посконной (тот самый «черкизон») одежке.

Его оборона

**Владимир Данихнов. Тварь размером с колесо
обозрения. М.: Издательство Эксмо, 2018. 412 с**

Слышишь, я хочу успеть
В эту полночь защиты от холода внешних миров.
Отделить боль, и отдалить хотя б на время смерть
От того, что неведомо мне, и зовется любовь.

Сергей Калугин. Ночь защиты

О бессмертии и космическом полете, о воскрешении мертвых творит
свои живые организмы поэт-биокосмист.
Святогор. Биокосмическая поэтика

Книга Владимира Данихнова, фантаста (при всей ныне и присно условности этого термина) и шортлистера «Букера», укладывается, на первый взгляд, в узкие пазухи *historia morbi* – это автобиографический рассказ о раковом больном. Но стоит взгляду зацепиться за страницу – а книга, при всех ее жутких подчас деталях, настоящий *eye catcher*, не оторваться, как от хорошего детектива, – как повествование начинает мигать, мерцать и подмигивать неожиданно стробоскопическими гранями. В нем, как и в болезни, высвечивается вся жизнь – и то, что за ней.

Герой, сам Владимир Данихнов, заболел раком. Потерял глаз, прошел через все стадии лечения – операция, химия, кибернож, облучение. Лечение, выбор его, как и угроза, отказываются отпускать. Но книг о раке действительно много. О его преодолении. Или проигрыше в этой игре черными – до сих пор помню, как, пока в толстом журнале выходил мой обзор книги «Как умирают слоны» Игоря Алексеева, ее автора не стало.

Одной темы рака вполне хватило бы на книгу. Однако, не только рак дает метастазы в непоражённые еще органы и заполняет, подчиняет себе всю жизнь. Но и, вместе с волей героя и его замечательной жены Яны, жизнь дает ответный бой, впечатлениями и воспоминаниями, делами и бытом отодвигает области болезни.

Немного даже не по себе определять(ся) со стилем автора, но он действительно достойный. Суховатый даже, нарицательный, перечислительный. Телеграфно-бытовой в том духе, когда из старой постройки дома, там, за автовокзалом, отбиваются телеграммы на Марс. Я, такой-то, докладываю, жив, сварил суп, поработал, иду за детьми в сад. Майор Том ЦУПу. Прием! Так пишет Дмитрий Данилов свои метафизические отчеты о поездках на люберецком автобусе, в город Подольск, на занесенный снегом стадион пустых трибун матча команд 3-й лиги.

«Тяжелый от ила и городских нечистот Дон, который не спеша тянет по себе прогулочный теплоход с флагами России и Ростовской области, мост через реку, залитый электрическим туманом, пустую сигаретную пачку возле бордюра, горелую спичку на бледном асфальте, взлохмаченную дворнягу, что подслеповато щурится в объектив, и кусок рекламной газеты прилип к ее подранному обстоятельствами хвосту».

Это такой не новый даже реализм, о котором сломали столько копий где-то пятилетку назад, а совсем новый-новый. «Мне нравятся заброшенные дома в седых зарослях паутины, аварийные здания с комнатами, где дети и время подрали обои, там до сих пор хранятся

покрытые пылью вещи давно ушедших людей, пачки черно-белых фотографий, сделанных для памяти и оставленных для исчезновения, тихие места, тишину которых страшно нарушать, кладбища поездов на вечной стоянке и пустые цеха распиленных на металлолом заводов, там когда-то работали люди, чтобы жить и выплачивать ипотеку, а теперь никто не работает, иногда бродячий пес забредет, но чаще там совсем никого, пустота и забвение, мне нравятся покинутые детские сады, в которых настал вечный тихий час, мертвые церкви и деревни, заросшие мятликом и овсяницей, что прорастают сквозь ржавую плоть машин. Мне нравится умирание девяностых и нулевых». Кто, даже автор, скажет ли, каким именно образом здесь рифмуется мир заброшенных, сталкерских пространств («заброшек», как зовут их герой и его друзья) и его смерть, что несколько лет дышала из-за плеча?

«Мне пришла в голову мысль, что социального равенства можно добиться только так, во всеобщем умирании. Это была странная мысль. Я подумал, что, если вылечусь, обязательно разовью ее в своей новой книге». Странная, да, возможно. И чем-то перекликающаяся с настоящим прекраснородушием великого мечтателя и справедливого космиста Николая Федорова о том, что воскрешены должны быть все и не столько для суда, сколько – для жизни, так несправедливо отнятой смертью. Или напрямую явленная у полемичного Федорову биокосмиста Святогора: «смерть принижает человека, разлагает человеческий тип: боязнь за свою жизнь рождает трусость, робость, низость, лживость, уродство. В то же время глубочайший корень социальной несправедливости, уродливой частной собственности, интериндивидуальных, национальных и классовых антагонизмов – лежит в смерти».

Летопись, скорее даже живопись родного Ростова, кстати, как и нежность к жене и детям и благодарность врачам, приславшим деньги и просто обрадовавшим отзывчивостью, – это, пожалуй, единственное, где автор позволяет тону меняться, подняться над отчетом. Вроде того, что его жена дает в Живом журнале и Фейсбуке – на что нужны средства, на что они потрачены, каково состояние. О тех тварях и черных людях, что рисуют ему кошмары его воображения – еще и такого эффекта от заливов жесткой химии не должно быть, но вот же, есть, как и чья-то огромная тень за плечом. Или даже флэшбэков – о посещениях тех самых заброшек, литературных приемов «Дебюта» и «Букера» или все о тех же кабинетах, пытающихся вытеснить из жизни жизнь.

«Ты не можешь понять и принять все это безграничное ничто, но пытаешься, потому что иначе никак, потому что надо пытаться, потому что если не борьба, то что и зачем все это, потому что иначе спуск во тьму упрощенного прошлого и забвение, потому что за этим ты сюда и пришел: постараться понять и принять то, что больше и глубже тебя в тысячи, в миллионы, в миллиарды раз; то, что понять попросту невозможно. О таком космическом будущем мечтал отец. Может, именно эти мечты сожрали его. Я открыл дверь и снова услышал звук; правда, на этот раз другой. Непрекращающийся, прекрасный и очень страшный». Как и сама книга.

Гиперон

Андрей Бычков. Авангард как нонконформизм. Эссе, статьи, рецензии, интервью. СПб.: Алетейя, 2017. 210 с

В недавно переизданной книге Е. Головина «Сентиментальное бешенство рок-н-ролла» Адмирал констатирует горько: «Авангард децентрализован, авангард распадается на бесчисленные творческие группы, каждая из которых придерживается своей художественной концепции, авангард “идет в ногу со временем”, отражая полнейшую децентрализованность новой эпохи». Бычков будто отвечает сэнсэю своей книгой.

Все плохо, признает Андрей Бычков, все очень плохо. Авангард действительно раздроблен – «мы очень разные, все индивидуалисты». Бунт пока не увенчался успехом – «мы бунтовали против этого мира – мы получили виртуальность и Интернет» – да и мог ли? Зато он подхвачен функционерами и неплохо продается – «протест, впрочем, всегда хорошо продавался, о чем неплохо были осведомлены еще гниды отечественного концептуализма вкупе с русофобами всех мастей». Он не прикрывает фиговым веером политкорректности правду, режет ее нокаутом. «Оказывается, и у нас, в литературе, свои министерства, только называются они экспертными советами премий, своя Дума с кучей депутатов-воров-в-законе, называющихся издателями и редакторами, своя торговая инфраструктура – бесконечные реализаторы, оптовики – со своим мещанским, задающим тон, вкусом, и конечно же, свои продажные СМИ с подмахивающими рецензентами». А что, не так?

«Счастья все меньше и говорить о нем все труднее». В этой борьбе ты только один – «твоя свобода в твоей субъективности». «Ведь теперь даже и слова все дальше и дальше удаляются от того, что они были призваны обозначать. Знаки и сущности давно уже разъединены». Да, это одиночный бой: «не следует ли отважиться на великий поход в одиночку, молча – в *Dasein*, где сущее становится все более сущим? Не заботясь о всякой ситуации?» (М. Хайдеггер).

Спасение – в проигрыше, уходе («Мы погибли, мой друг. Я клянусь, это было прекрасно!», С. Калугин). Отказе, который – прорыв. «Отказаться не только разгадывать те или иные знаки – отказаться от всего поля их многообразия, от всех ощущений и впечатлений, от всей так называемой реальности, сознательно и бесповоротно деформировать все свои чувства. Не для того, чтобы придумать, создать *другую* реальность, а для того, чтобы дать какую-то другую, абсурдную возможность проникнуть в себя всё тем же изначальным сущностям, которые так зловеще искажены *этой* реальностью в тех образах, чувствах и ощущениях, которыми непосредственно представлен для нас этот мир».

А другая реальность есть. Писатель, сценарист, гельштат-психолог, адепт тайцизиоань Бычков – в прошлом физик (а бывших физиков, как известно, не бывает), работал в Курчатовском институте, и знает точно. Мы одиноки и в этой реальности, но «в свое время, читая повесть Камю “Посторонний”, я придумал “Поверхностные гиперъядерные состояния”. Вы добавляете “странную” частицу (гиперон) к ядру, а она не тонет в коллективе и в силу многочастичного отталкивания остается на поверхности. Экспериментом по обнаружению такого состояния является смерть. В момент своей смерти (распада) посторонняя частица выбрасывает гораздо больше энергии, чем если бы она распадалась в коллективе». Гипероны против элементарных частиц.

Позади – отвращение, впереди – мечта, что никогда не сбудется. Это и есть карта атаки в уже идущем бою. «Так вперед же! Не оглядываться назад, не искать и взыскивать телоса метафизики, обновления ее старинных категорий, не с понятий начинать и не со средств, не с поисков метода – нового или хорошо забытого старого. Но с чувства – отвращения ли, пре-

зрения, с безумных и противоречивых метаний, с пересечения границ, с риска, с разрушения всех правил этой *затянувшейся игры*. И если социальность все больше обнажается сейчас как последнее проклятие человека, то художник тем более должен действовать, исходя из смысла не какой-то другой грядущей позитивной социальности (ее никогда не было и не будет!), а своей, укорененной в *сейчас*, суверенности и самости». Делание в черном, нигредо, стадия подготовительная.

Хорошая новость – есть проводники. Плохая – они давно умерли. Лотреамон, Ницше, Рембо, Рабле, Арто, Гийота (да продлятся дни его на Земле!) – медиумом в своем делании в белом (выпариваются шлаки, выделяется эликсир) Бычков взывает к ним. У него вообще в этой книге хорошая компания. Если манифесты и беседы, то для «Волшебной горы», «Лимонки» и «Завтра». Если пишет о кино, то о Года-ре, Триере, Кроненберге. Если идет на выставки, то Блейка, Ларионовой и Коровина.

И обращается Бычков со своими персонажами, кстати, виртуозно. На биографию Джойса пишет рецензию от имени Джойса, статью о «Нимфоманке» Триера выстраивает не аналитически, но сексуально-трансгрессивно (выделяет основным знаком фильма стихию воды, символизирующую женскую начало, а смерть Селигмана объявляет логичной, как конец акта с *vagina dentate*, точкой в конце рассказа Джо, капитуляцией вербального смысла перед лунно-телесным). Бросает походя розановско-галковские максимы («мы, русские, больше других народов знаем о смерти. <...> Но это не значит, что мы нация конца»). Вообще резвится и пляшет – «нам осталось одно, только петь и плясать в восходящих потоках сияния Черной Луны!» (С. Калугин).

Финальная стадия рубедо, выделения магистерия, играющий Заратустра жонглирует философскими камнями? Нет, Заратустра умер, осталось лишь его слово, то есть – антиязык. И свободные частицы гипероны.

Маленькая (200 с копейками страниц), неудобная, злая, откровенная (драка с милиционером, поиск призвания и несчастные любви) книга очень густого замеса.

Мак и больница для ангелов

Александр Кушнир. Кормильцев. Космос как воспоминание. М.: Рипол классик, 2017. 256 с

Правы были мудрецы, в России нужно жить долго. И после смерти тоже следует запастись терпением. Так, только в конце прошлого года, ровно через 10 лет после смерти Ильи Кормильцева, о нем действительно вспомнили. Издали (пусть и не идеально с точки зрения комментария и прочих издательских тонкостей) трехтомник его собственных сочинений. И вот этот мемуар. Тоже с плюсами (роскошное издание, весьма уместные цитаты из стихов, прозы и интервью Кормильцева, множество фотографий, автографов рукописей и т.д.) и минусами (слишком много о «Наутилусе», которому посвящены предыдущие книги автора, слишком бойкий тон, более подходящий для глянцевого сиюминутный колонки).

А жизнь Ильи Кормильцева или, для друзей и в тусовке, Мака, – писателя (стихи и проза), переводчика (15 языков!), издателя, рецензента-колумниста-блогера и просто действительно яркого человека из тех, кто чувствует «трэнды» и «ветра перемен» очень задолго до всех, – заслуживает безусловно и многих будущих изданий, авансом, но точно. И жизнь эта интересна сама по себе – возможно, и без авторства песни «Я хочу быть с тобой», первых в нашей стране переводов Ирвина Уэлша, Ника Кейва и многих других и даже без издательства «Ультра.Культура», книги которого были более чем событием, стали раритетом еще очень давно и украшают книжные полки, как елочные украшения известное хвойное.

Опорные пункты этой жизни вполне можно узнать из «Космоса». Род (немцы и поляки в предках), семья (благодарность деду за прекрасную библиотеку и коллекцию марок, из которой можно было сдать раритеты и купить ту же портативную студию), ботанство и нонконформизм (без преувеличений пытался подвзоровать школу). Стихи, которые волей случая стали рок-стихами – для «Урфин Джюса», а «потом понеслось» – Кормильцев был продюсером, идеологом, в любом случае, гораздо больше, чем просто автором стихов для песен. Потом был большой проект с «Наутилусом» и Бутусовым – Кушнир, как уже говорилось, делает его центральным в книге. Группа распалась, пути Кормильцева с Бутусовым/группой/директорами группы разошлись, он остался буквально без копейки, ушел на дно. И выныривал еще много раз с идеями, шагающими правой далеко впереди. То, еще на самой заре уральского рока и вообще какого-либо рока, придумал вирусный маркетинг, рассылал бобины с альбомом налоговым платежом по всеююзному фан-клубу. То записывал радикальное техно и трип-хоп (проект «Чужие» с Олегом Дедом Сакмаровым из «Аквариума»), когда в нашей стране все еще свято верили, что самое последнее и сверхактуальное в музыке – это new wave. То основал издательство для тех авторов, которых и в страшном сне/самой розовой мечте нельзя было представить на русском. То... но на грани нового проекта в Лондоне вмешался рак (а эта смерть, сбор средств, посты в ЖЖ буквально за несколько часов до конца еще прекрасно помнятся, думаю, многим).

Эта очень не к месту смерть – тема долгой жизни еще раз – не дала исполнить его собственный завет. «Человек должен девяносто лет прожить так, как будто ему все время восемнадцать. И это не ложь. Не способ грим себе сделать, подтяжки и прочее. Это должна быть душа. Душа должна быть молодой, потому что душа человека бессмертна. Если только ее не отдавать на растерзание телу, деньгам и прочей х...не. Душа всегда должна быть восемнадцатилетней». Особенно в нашем мире, который – «больница для ангелов, которые разучились летать».

Еще эту книгу можно прочесть как документ эпохи. Тех 90-х, когда в каждом киоске можно было купить Лимонова и «ОМ» или «Птюч» и маркиза де Сада, уж кто что выбирает.

Или как историю настоящего нонконформизма – Кормильцев отказался то от премии Ленинского комсомола, то от ста тысяч долларов от продюсеров «Нау».

Или как набор интересных фактов и фактоидов – как Шевчук отговаривал Бутусова использовать тексты Ильи, как вместо Алена Делона и одеколона легко мог быть Омар Шариф и аперитив и так далее.

Да как угодно можно прочесть или посмотреть эту книгу. Спасибо, как говорится, что есть. Сейчас.

Фандорину здесь не место

Борис Акунин. Не прощаюсь. Приключения Эраста Фандорина в XX веке. Часть 2. М.: Захаров, 2018. 416 с

Новый и, как активно сообщается издателями и пиарщиками, заключительный роман фандоринской серии лучше всего было бы описать словом «халтура». Но халтура при этом весьма любопытная. Потому что, несмотря на все красоты, даже аляповатости и романтичности бодрого сюжета почти в стиле боевик и вестерн, «Не прощаюсь» – это, прежде всего, размышления самого автора «о судьбах Родины». И отслеживать их – едва ли не интереснее, чем перипетии детективного сюжета.

Акунинские книги относятся к тем *guilty pleasures*, что разделяют почти все, поэтому сюжет предыдущей книги можно не пересказывать. Ограничившись констатацией – после прямого выстрела в голову в финале предыдущего, бакинского романа Фандорин, конечно же, ожил. Правда, несколько лет пробыл в коме, поэтому постреволюционная Россия ему, мягко говоря, в диковинку. Прием, кстати, довольно распространённый и очень удобный для отстраненного или, по Шкловскому, остраненного взгляда – так героя начала века из «Авиатора» Е. Водолазкина оживили уже в наши дни.

Фандорин, предсказуемо опять же, от увиденного чуть не впал обратно в кому. И здесь он не одинок. Очевидно авторскую антипатию к победе «красного дела» разделяет подавляющее большинство героев, выступающих греческим хором от имени всех сословий. Рассказчик фиксирует взгляд читателя на моментальном и тотальном развале всего и вся и булгаковской разрухе. «Революция, будто метла, взмела с российских окраин многообразных людей, иных в глубинке прежде и не видывали. Всем вдруг стало плохо на своем месте, и понеслась по дорогам человеческая пыль, где-то скопляясь и закручиваясь смерчем». «А потом я не раз думал: эх, какое было бы счастье, если бы мы тогда утонули в своей чудесной каюте первого класса и ничего последующего не увидели», сокрушается интеллигентный белый генерал. «Господи, ничего бы не пожалел, только бы вернулись городовые», вторит ему железнодорожный воришка.

Не нужно быть Фандориным, чтобы догадаться – западник, либерал и патриот цивилизованной России Б. Акунин, конечно, на стороне той цивилизации, культуры, которую большевики снесли. Но, слава буддийским богам литературы, четыре сотни страниц содержат не только этот очевидный для всех посыл. Они как раз о том, что все далеко не так очевидно.

С одной стороны, публицистические аналогии с нашими днями Акунин прописывает более чем явственно. Везде хамство, разруха, к власти пришли порченые люди, озабоченные чаще всего собственной наживой. Вынести это «благородным мужам» (привет конфуцианской этике) невозможно. Поэтому, проиграв войну, все бегут и уезжают. К эмиграции склоняется и сам Фандорин с верным Масой и – да, ему тут нашли третью жену – с новообретенным семейством. «Я за сложные н-нравы. Я за цивилизацию. Коли моя страна хочет опроститься – ради бога, но без меня», заикаясь, декларирует акунинский герой те взгляды автора, за которыми далеко ходить не надо – сам автор далеко, тоже уехал, но мысли эти в его интервью, статьях и просто в Фейсбуке читать приходилось не раз и не два.

Но в книге все же сложнее. В «Не прощаюсь» мы видим целую галерею людей – и столько же мотиваций. Почему они воюют за красное, белое, черное (экскурс в историю анархизма и портреты их главарей – один из любопытных и существенных плюсов этой книги!), даже коричневое дело. Почему переходят в другой стан, предают. Какой мечтают или боятся увидеть Россию. «Мелькнула мысль: у Революции, как у бога Януса, два лика. Один – чистый и

мечтательный, как у Нади. Второй – как у Заенко. И поворачивается она то одним, то другим». Но автор скромничает – больше, гораздо больше тут ликов революции и ее сторонников и противников.

И постепенно выкристаллизовывается мысль – нет, наверное, правых и виноватых. Есть достойные и недостойные люди по обе стороны баррикад и линий боя. О том же, кстати, и гораздо более вдумчиво был последний роман Л. Юзефовича «Зимняя дорога» – об одинаково достойных людях, героях, ставших волею судеб врагами.

Но вопрос для Фандорина, думающего по-восточному одновременно абстрактно и прагматично, в другом – количестве достойных людей с каждой из сторон. И, сохраняя весь роман, как Швейцария (там, кстати, и окажется в итоге его жена и сын), нейтралитет, он все же вынужден сделать выбор. «Недействие равнозначно действию, но действие не равнозначно недействию» – Фандорин выбирает белых, культуру, хочет переломить решающую битву. Кому, как не ему?

Да, если честно, давно уже пора бы заняться благородному мужу Фандорину делом. Потому что – он банально бил баклуши половину книги. То в коматозном состоянии болтался на плече у Масы в каком-то пыльном ковре. То, очнувшись, проходил реабилитацию в коляске. То еще несколько лет отсиживался волосатым и бородатым отцом Сергием в дальнем монастыре. А то и вовсе встретил третью любовь своей жизни и не только откровенно поглупел от любви, но и стал полным (Маса вздыхает, скрывая горе и разочарование в сэнсэе) подкаблучником. Без санкции жены из дома не выходит, а за расследование берется с ее разрешения и в ее обществе. Акунин, к слову, тут молодец, играет против правил (красавец сыщик постарел, усажен в коляску, шагу шагнуть не может – нарушение всех принципов!), потешается, криво улыбаясь уголками губ. Или откровенно смеется в кулак: только хозяин обрел семейное счастье, как вассал Маса решил жениться на китайке (! Нужно знать исторический антагонизм между двумя нациями), оказавшейся мужчиной-евнухом (!!).

Это в одной половине книги. А в другой половине, если не двух третях книги Фандорина попросту нет. Потому что, конечно, «Не прощаюсь» – никакой не роман из фандоринского цикла, а сборник умело сшитых новелл, связанных – да и то не всегда! – единством времени, места и действия. И более чем пространная новелла о «своем среди чужих» – красном сыщике в среде белогвардейских заговорщиков – сменяется рассказом на тему сразу двух «девушек и революции». Мы помним акунинскую серию «Жанры» – стилизацией автор владеет искусно.

Только самому Фандорину среди всех этих размышлений о путях развития России и толпы молодых и активных героев места почти нет. Начав со спойлеров, ими и закончив. Фандорина, лишь он очухался и пришел в себя, опять убили. Вместо контрольного выстрела в голову – подорвали пятью пудами динамита.

Но мы же не забыли название этой книги, верно?

Теплый холод

**Литературный альманах Невидимки. № 1(2017).
М.: Издательские решения, 2017. 436 с**

Новый альманах, детище Игоря Шулинского и Ко, выглядит неожиданно и озадачивающе. По объему – настоящая книга, изрядной толщины и большого формата. По оформлению – отдельный комплимент верстальщику и бильд-редактору – наследует «Птючу», главным редактором которого служил Шулинский, тот же глянец страниц, свободные и вызывающие подчас коллажи-иллюстрации. Книга тяжела и тянет чуть ли не на подарочное издание – бывшему рейверу или историку литературы. Или обоим.

Потому что по сути «Невидимки» – настоящая и довольно репрезентативная антология литературы 90-х. Такова собственно и была интенция составителей – довольно благая, ибо эпоха та перешла в стадию ностальгируемой, но осмыслена ли и даже освоена ли она до конца? Еще давно, как раз в 90-е, сказано в предваряющем Письме редактора, «группа товарищей» хотела издавать журнал «Пост» с текстами тех лет, но – что-то не сложилось (легенда гласит, что труженицы смоленской типографии ужаснулись и забастовали издавать рассказ Владимира Сорокина «Обелиск»). Но вот прошло время осуществиться далекому замыслу – «нам посчастливилось найти другие “невидимые” тексты и “вернуть к жизни” не только их, но и людей, которые уже умерли. Необходимо восстановить историческую справедливость: сначала эти тексты, а потом уже мы. Личное часто отступает под натиском истории и фактов, и все “твое” становится не таким уж важным. В этом альманахе есть тексты, которые никогда не печатались нигде, кроме самиздата, но их отсутствие в современном литпроцессе ничем не объяснить».

Составители хорошо чтут традиции, следуют принципу литературного наследования. Они начинают с Лианозовской школы, о которой можно, наверное, сказать, что она была первым неформальным объединением в позднесоветской культурной жизни, – если не принимать в рассмотрение те же посиделки на диссидентских кухнях, – прообразом той милой сердцам составителей атмосферы 90-х с их клубной культурой, хэппенингами и прочими акциями. За стихами И. Холина и Г. Сапгира следует беседа с Сорокиным о тех временах, именах и его нынешних поисках, уведших, к сожалению спрашивающего его Шулинского, писателя в сторону от жесткого («жестокость – это дыхание метафизики», по словам нашего нового уже классика) препарирования российской действительности к по-европейски (с)покойному последнему роману «Манарага». Кроме всемирно, можно сказать, известных Кабакова, Булатова и «широко известного в узких кругах» Монастырского Сорокин (вс)поминает трагически погибшего и самого интересного для него из питерских артистических кругов Аркадия Бартова – много ли мы знаем о нем сейчас?

Из рук «изменившего» своей метафизической жестокости со «старым-добрым стилем» Сорокина знамя концептуального радикализма решительно выхватывает Игорь Левшин, аттестуемый как «один из самых непечатаемых, скромных и неузнаваемых лиц 80-х – 90-х. Айгишник, инструктор по горным лыжам, панк-рок-гитарист». С этим уже можно поспорить – стиль Левшина не перепутать ни с кем, особенно после вполне представительной книги короткой и не очень прозы 2015 года «Петруша и комар». Здесь же Левшин выступает с настоящей повестью – медитацией над природой письма под прикрытием садического членовредительства (совсем буквально) и смачного секса. Текст о другом, даже ближнем как «литературное изнасилование», стать писателем – «вроде как шел, шел по лесу и вдруг вляпался в говно. Это, Марина, не выбирают». Да, рассказчик «хотел, чтобы она ощутила себя наконец свободной. Я хотел, чтобы

она почувствовала, что это значит – быть писателем». Писательство в его полной, тотальной реализации уравнивается с либертенской сексуальной освобожденностью. Но где эрос, там и братец его танатос – после рассуждений об эксгибиционистских свойствах литературы и необходимости вступить в грубый сексуальный контакт с читателем (в этой повести, кстати, реализованной – персонаж становится читательницей и затем любовницей рассказчика) рифмуется и со смертью.

Оттеняет эту разнообразную вещь легкий и привычный в общем-то галлюциноз Сергея Ануфриева. А затем вступает его давний соавтор одного из главных психоделических текстов этих самых 90-х «Мифогенная любовь каст» и соратник по обществу «Медицинская герменевтика» Павел Пепперштейн – со статьей-обзором обществ, входивших в «МГ», примыкавших к ней, образовывавших, как сейчас бы сказали, с ней кластер. Приводя целый список объединений Номы разной степени известности, Пепперштейн уже выступает почтенным летописцем и информантом будущих исследователей. Но присовокупляет он и любопытные характеристики – например, сообщая, что многие художники находили пропитание, иллюстрируя детские журналы, он связывает это место службы и с «психоделикой детства»: детям нужны были рисунки в поддержку своих свободных, не скованных еще общественными конвенциями фантазий, но также нужна была эстетическая поддержка для взрослых художников...

Хотя, конечно, не все так ярко, клубно, радужно и радостно было в те годы. Так, у художника Аркадия Насонова «есть немало живописных работ, написанных в туманных и дымных тонах, где дети скользят на коньках внутри больших холодильников, где медсестры склоняются над горками льда, и где состояние детства и едкая нежность наркотической грезы сливаются в некий “тёплый холод”, тревожный и спокойный одновременно». Особенно ко второй половине 90-х, перипетии которых еще более чем свежи в нашей памяти, всеобщее общественное и культурное подмерзание начинает ощущаться всеми членами арт-сообщества – составители, кстати, не единожды подчеркивают, что сам феномен 90-х стал возможен благодаря сумрачному и яркому нахождению на сломе двух тектонических эпох, коммунистического Союза и капиталистической России. Да, это была, уже можно сказать со всей точностью, особая эпоха: «сейчас в это трудно поверить, но тогда люди жадно тянулись к прекрасному. Дворник, размахивая метлой, мог по-итальянски декламировать Данте. Киллер, пританцовывая в клубе, обсуждал будущее шоу модельера Насти Михайловской и готов был выделить под него деньги. Владельцы бутиков читали Радова. И никто ничему не удивлялся. Это время, когда странные люди и странные дела были в порядке вещей».

Но такой порядок вещей был непорядком для Системы. И атмосфера клубного, свободного «угара» охладилась. Тот же Владислав Мамышев-Монро «придает светской жизни, миру вечеринок и банкетов экстатический привкус, он демонстрирует московской публике галлюцинаторный тип времяпровождения, он подает ей то сочетание китча и бездны, в котором она нуждается. Однако в этом деле у него слишком мощные конкуренты – деятели массовой субкультуры, поп-певцы и трансгрессивные политики (от Жириновского до Киркорова)», говорится в эссе Пепперштейна. Да и все это уже дважды переведено в регистр прошедшего времени – об умершем Владике Монро в «Невидимках», к слову, есть мемуар, описывающий его последние дни на Бали. Пепперштейну вторит в рассказе с красноречивым названием «Пока не сели батарейки» Перт Капкин: «и для чего все это существовало узнать нельзя, и никто не узнает. Как посмотреть с холодным вниманием вокруг и никого не жалко: ни котенка, ни ребенка. Все это мираж. И нет смысла любить и жалеть, так как тот, кто любит и жалеет, жалеет и любит себя, пока не сели батарейки (пунктуация и орфография авторская – А. Ч.)». С тех пор, если вспомнить название произведения Романа Сенчина, движение продолжилось, видимо, «Вперед и вверх на севших батарейках»:

«Снова в морг отправили тебя

И на полке жестяной забыли.
Там лежишь ты, бирку теребя,
Спрятанный под слоем жирной пыли»

(из Коллективной поэзии общества «Тарту», 1996–1998)

И в очередной раз «пластмассовый мир победил <...>
последний фонарик устал»

(Егор Летов) :

«Пенопластовый лес – это наша судьба,
Поролоновый замок в его глубине.
За Граалем Святым собралась голытьба,
Предводитель их едет на ватном коне»

(Коллективная поэзия...)

Внутренние рифмы во множестве разбросаны и в самой антологии «Невидимки». Рассуждения о путях и атмосфере нынешнего Берлина у Сорокина и в большой повести П. Пепперштейна «Экспозиционист». Рефлексия над собственным произведением (воспринимаемым или, во всяком случае, подаваемом как сценарий несуществующего фильма – с отзывами несуществующих критиков соответственно) у него же и И. Левшина. Смерть и литература у них же – «писатель продолжает писать и перед лицом смерти, наверное, он полагает, что смерть станет ему преданнейшим читателем» (П. Пепперштейн). Детские рисунки в «Мурзилке», за которым скрывается жажда психоделии, и «детское начало, которое кроется за кулисами даже самого опытного разврата» у Пепперштейна. Инволюция к животному началу не бреющегося, не стригущегося, ссыхающегося и ставшего «передвигаться на четвереньках» старика в рассказе П. Капкина и Тони Пони, «могучий нагой человек, перемещавшийся на четвереньках», у Пепперштейна же.

Рифмы внутри произведений той герметичной эпохи, конечно, не случайны. А вот проследить, что рифмуется уже со временем нашим, – задача, возможно, будущих «Невидимок».

«Скачет легкий разум
По пустым холмам
Скачет, незаметно
Приближаясь к нам»

(С. Ануфриев)

Седая бабочка

Эдуард Лимонов. Монголия. СПб.: Питер, 2018. 224 с

Эдуард Лимонов пишет много – и слава Богу, потому что так, как пишет он, точно не пишет никто. К своему 75-летнему юбилею написал он еще больше: недавно выходила проза-расследование «Седого графа сын побочный», а аккурат в день рождения появилось своего рода поэтическое избранное «287 стихотворений». Но много Лимонова не бывает.

«Монголия» – где о самой стране ничего, и это обговаривается в предисловии – пожалуй, наиболее привычна. Это Лимонов последнего десятилетия. Перемежающий воспоминания о харьковской юности или Америке/Франции с рассуждениями о самом животрепещущем. Описывающий свои дни. И даже то, как он умеет резать и готовить курицу. И у кого бы еще мы стали читать о разделке курицы?

И Лимонов совсем последних книг необычен и непривычен. Он уже не супергерой (как еще совсем недавно, в почтенном возрасте в книге «Дед», например) и не сверхчеловек. Вернее, он – очень усталый сверхчеловек. Боящийся смерти, соблюдающий диету (после больницы и операции, о которых – в «...и его демоны»). Признающийся даже, что память стала ни к черту, что отец для своих детей он никакой, а узнают они о нем из его книг (далее совсем трогательно – следующие главы построены с обращения к сыну и дочери, как рассказ им).

А это действительно не главы даже, а главы. Некоторые – в полстраницы или даже в абзац. Впрочем, жанр дзуйхицу, таких описательно-созерцательно-аналитических максим был Лимонову не чужд еще очень давно – вспомним добрым словом его «Дневник неудачника».

Хотя можно назвать «Монголию» и – кочевническая тема! – травеложной. Здесь едва ли не основной ингредиент – отчеты о поездках. «В Гатчине снега, ветер дует, околеешь, нечищенные каминны, дым. Сквозь дым проступают очертания нашей небесной родины, замешанной в дыму, в снегу и на крови...» В Красноярск и Иркутск, в Кронштадт и на Байкал (опять же одна из лучших, на мой взгляд, книг Лимонова была «Книга воды», зарисовка о реках, морях и океанах, на которых довелось побывать). Да, Лимонов давно «невыездной» (описывая тут предполагаемые покушения на себя, он боится покинуть российские границы, чтобы их потом перед ним не закрыли). Поэтому путешествия в иные страны – это путешествия памяти, в прошлое. И, кстати, и в будущее – смотрите, то есть читайте его эсхатологический постапокалиптический сон о будущей войне с Китаем за водные ресурсы Сибири. Или вот сразу группа эссе об (исключение!) Армении – пожилой писатель побывал там недавно, ему очень и очень понравилось. А так да, тема кочевников-номадов принципиальна – никогда не хранить вещи, не возвращаться в города, не обрастать собственностью говорит он с этих страниц.

Стал ли 75-летний Лимонов слабее? Горше – да, слабее и бледнее – отнюдь нет. Кто еще расскажет о Дали и карлике в очереди к редактору протестной газеты в Нью-Йорке? Кто – «я расширился в эту желтую и черную стороны ламаизма, в неподвижное время, в котором сидишь как в маргарине и его можно резать на куски» – отвесит еще куски таких грубых и мощных образов? «Екатерининский напоминает ванную комнату новых русских: окрашенное золотой краской дерево и бесчисленные зеркала» – кто так же приметлив? Или цитрусово, ядовито едок – говоря о «кишках удовольствия» в женщинах? Кто сравнит свою умершую старушку мать с «седой бабочкой», являющейся, призываемой им в коротком, старческом послеобеденном сне?

Уже много лет ясно, что никто.

Среднеазиатский вектор

Уже несколько лет, отвечая на всевозможные опросы об итогах литературного года, о перспективах развития литературы и так далее, я повторял почти одно и то же. Все интереснее, витальнее, даже показательнее становится и пребывает литература соседних стран, постсоветского ареала – Л. Элтанг и А. Иванов, А. Никитин и С. Жадан⁷⁸, М. Петросян и Н. Абрагян, М. Гиголашвили и З. Бурчуладзе, Ферганская школа Ш. Абдуллаева, Х. Закирова, Д. Кислова и других⁷⁹, Ташкентская С. Янышева, Е. Абдуллаева и В. Муратханова, С. Афлатуни, Ш. Идиатуллин, живший в Таджикистане автор «Заххока» В. Медведев и другие.

Литература – все же не Олимпиада, распределять призовые места среди стран-участниц не очень пристало. Но хочется. Отметим, что если лет пять назад точно лидировали украинцы (те же С. Жадан и Ю. Андрухович на каком-то этапе могли бы сковырнуть с лидерских мест в зачете В. Пелевина и С. Сорокина), то потом сделали мощный рывок вперед грузины (хотя как вот в наше непростое (пост)время определить, за кого играет, родившийся в 1954 году в Тбилиси, живущий с 1991 года в Германии, издающийся в Москве Гиголашвили?). Продолжая свое субъективное и волюнтаристское, возможно, судейство, отмечу, что сейчас определенно очень интересные вещи происходят в литературе стран Средней Азии (уже в самом геополитическом обозначении их защита, кажется, как некоторая неопределенность, неуверенность геолокации, так и чуть ли не пренебрежительный оттенок). То, о чем пишут сейчас их авторы, очень показательно – и не только для понимания процессов внутри этих стран. Отношение к советскому наследию, восприятие нынешних реалий, сотканных из противоречия/уживания традиционного и современного, мысли о будущем – все это кажется общим по разные стороны грани.

Обзор отнюдь не претендует на всеохватность, а лишь на указание некоторых реперных точек, болевых проблемных узлов.

Вновь бьются между собой князя Дарваза и Каратегина

В громко не прошумевшем, но точно высоко оцененном отдельными критиками романе «Заххок» Владимира Медведева⁸⁰ хронотоп восстановить можно вроде бы легко. Место действия – Таджикистан 1990-х, раздираемый Гражданской войной. Время рассчитать можно даже точнее, по буквально двум-трем реальным, как указано в послесловии автора, персонажам. Но как и со стилем – острюжетное повествование то опускается в хтонические бездны эпоса, то мерцает чуть ли не авангардными стилистическими находками⁸¹ – так и время тут размыто. Все происходящее зарифмовано с мифическим (зороастрийский еще Заххок одним из героев для имперсонализации заимствован из «Шах-намэ» Фирдоуси), густо сдобрено фольк-

⁷⁸ Ю. Андрухович и Т. Прохасько. О писателях «станиславского феномена» и не только см. неоднократные (!) обзоры современной украинской литературы, выходившие в «Новом мире» несколько лет назад.

⁷⁹ См. – одну из, но, кажется, последнюю хронологически – обзорную статью о Ферганской школе: Корчагин К. «Когда мы заменим свой мир...»: Ферганская поэтическая школа в поисках постколониального субъекта // Новое литературное обозрение. № 144 (2). 2017. С. 448–471. Мы еще не раз обратимся к этому спецномеру журнала, полностью посвященного постколониальной тематике. И, как мы видим, если ведущие журналы столь пристально всматриваются в литературу близких, но при этом далеких стран (Far away, so close Вендерса), за ними действительно многое стоит...

⁸⁰ М.: ArsisBooks, 2017. 460 с. Я специально указываю количество страниц – подобно старинным сказаниям, рассматриваемые книги как на подбор тяготеют к эпическим объемам.

⁸¹ «Земля – это небо мертвых», «Я вышел во двор. Над головой в низко нависшей тьме густо цвели махровые звезды. В здешнем резко континентальном климате они вызревают на жирном небесном черноземе особо крупными, мохнатыми и в неимоверном количестве».

лорным (даже водители тут обожают разговаривать загадками⁸² или легендами, а повествование от лица разных персонажей явственно сдвигает вектор в сторону эпического), замешано – в самую меру, слава Богу! – на магическом реализме кавказского извода (деревенские шаманки лечат лучше больниц, а волшебные пари, наоборот, вредят), подсвечено древними, доисламскими еще верованиями, освящено исламом (даже всевластные боевики-князьки слушаются аскета-шейха⁸³)... При этом отнюдь нельзя сказать, что мы имеем дело с новым эпосом, как в «Мэбете» или «Ильгете» А. Григоренко, все сложнее и запутаннее. Тот же шейх, в разговоре с более чем неграмотными и девственными односельчанами, вдруг начинает «ботать по Дерриде» и оказывается бывшим (тот случай, когда бывших не бывает) ученым из Санкт-Петербурга, кандидатом наук, чьи работы знают в Кембридже и так далее. Такой крутой замес символичен – банально, но не будет ошибкой отметить, что так же выстроена жизнь в Таджикистане тех лет: современное и древнее сплелись в таком анахронистическом сплаве, что не разобрать, не растащить... И ничего нельзя сказать наверняка – даже можно ли в данном случае использовать по отношению к субалтерну устойчивый для описания восточных реалий нового времени термин «догоняющая модернизация», да и субалтерн ли вообще это...

«Убери людей, и это было бы лучшее место во всем мире», оценивает один из героев вечную красоту гор⁸⁴. «Война вспыхнула около года назад, в конце июня девяносто второго года. Именно вспыхнула – клише, несмотря на банальность, точно передает скорость, с какой разворачивались события. Война назревала исподволь на многотысячных митингах, и вдруг наведенное коллективное безумие в один миг выхлестнулось с душанбинских площадей и хлынуло в Вахшскую и Гиссарскую долины. Трудно описать, что началось. Бились между собой отряды полевых командиров, попутно уничтожая “соплеменников” противника. Боевые действия более всего походили на этнические чистки, несмотря на то, что и чистильщики, и жертвы принадлежат к одному этносу». Но не все можно списать на постсоветскую турбулентность, здесь в бэкграунде национальные особенности, то есть – само восприятие Родины («у таджиков обостренное чувство родины»): «сельский уроженец ощущает себя таджиком лишь за пределами Таджикистана. При встрече с жителями соседних кишлаков, он ощущает себя талхакцем или ворухцем – представителем селения, откуда он родом. Выбираясь в область, чувствует себя представителем своего района. И так далее. Таджикские интеллигенты и прежде сокрушались, что народ не сплочен в нацию, – время показало страшный результат этнической разобщенности. В гражданской войне те, для кого солнце восходит над Куратегином, уничтожали тех, для кого солнце восходит над Кулябом, и им отвечали тем же. Вырезали целые кишлаки, людей убивали с изуверской изобретательностью – заживо варили, разрубали на части, пробивали ломом грудину и заливали внутрь авиационный керосин». Отметив попутно жесткость и, заодно, телесность как общее свойство многих книг рассматриваемой тематики, добавим, что, безусловно, активизировались в то время все эти свойства региона античных Кушанской империи и Эфталитского сударства не просто так, но под воздействием новых (или опять же не столь новых) факторов: «во-первых, криминальная система. Во-вторых, соседний Афганистан, гигантский комбинат по производству наркотиков. Прежние власти мешали транзиту. Было необходимо открыть канал. Вот тебе суть и причина войны. Криминалитет начал бучу и поставил во главе “народного движения” своего человека». Но не в насилии над телами все дело, насилие гораздо тотальнее. Тот же Заххок – кровавый персонаж, обвиняющийся наподобие крыльев вокруг его плеч змея питается мозгом людей – «правитель состоит в

⁸² Продолжая «почвенную» тему: «мертвое поглощает, живое родит». Ответ – земля.

⁸³ «Духовная власть выше и почтеннее власти светской или военной».

⁸⁴ Действительно яркие описания горных пейзажей здесь, возможно, маркированы особой интенцией. Ср.: «во многом с похожей дилеммой еще в советское время столкнулся Геннадий Айги, в поэзии которого можно заметить движение к национальному не через язык, оставшийся русским, а через визуальность – через настойчивое повторение характерных чувашских ландшафтов». *Корчагин К.* Там же // НЛО. С. 462.

симбиозе с рептилиями и, следовательно, вместе с ними питается мозгами подданных. Гениальная метафора, выражающая самую суть власти». Поэтому тот же князек, захватывающий дальний горный кишлак для выращивания мака, обеспокоен не столько урожаями, логистикой и продажами, но манипуляцией подчиненных, утверждением себя, в глазах честного наемника ли, приставшего к ним российского репортера ли. Репортер умирает в зиндане, но мак вроде бы выращивать в итоге не будут – как криминально-наркотическая тема (она была главной в «Чертовом колесе», лучшем романе Гиголавшивили), так и несколько мазохистская тема претерпеваемых русскими на Кавказе страданий (от садистско-макабрических вещей А. Латыниной до репортерско-художественных произведений М. Ахмедовой или фантазмагорического «Перевода с подстрочника» Евгения Чижова) – не новы⁸⁵. Но если книги «нулевых» были озабочены скорее фиксацией нового, горячего и горящего материала⁸⁶, то здесь – рассуждения о причинах войны выше – в художественную ткань вшита публицистика и аналитика, попытка осмыслить и разобраться, почему произошло именно так. И рефлексия о советском наследии и влиянии «старшего брата» тут занимает едва ли не главное место.

«Во всем, что случилось с нами, я обвиняю Горбачева и всех этих прогнивших карьеристов, генералов-адмиралов. Это они довели нас до нынешнего состояния. Из России зараза потихоньку проникла и в Среднюю Азию...», говорит лидер Народного фронта Сангак, озвучивая *vox populi* в его политическо-пропагандистском изводе. Сангак, стоит отметить, происходит, с одной стороны, из древнего рода, с другой – сидел и является ставленником криминала. «Это какой-то умопомрачительный парадокс: бывшие коммунисты рушат остатки советской системы, а бывший преступник, ненавидевший коммунистов, стремится ее восстановить». Ему поддакивают многие (напомним, в книге около десятка рассказчиков). И это очень символично для ситуации, в которой задействованы многие парадигмы, но не только нет ни одной лидирующей, но и все они находятся в противоречии друг с другом, конфликте⁸⁷.

«Поразительно, что в конце столетия противостояние проходит по тем же самым линиям, что в его начале. Меньше чем за столетие Южный Таджикистан из бедной захудалой провинции захудалого средневекового эмирата превратился в центральное ядро процветающей современной страны с большими городами, разветвленной промышленностью, сетью автомобильных дорог, мощными гидроэлектростанциями, собственной Академией наук, системами образования и здравоохранения и прочая, прочая. Но вновь бьются между собой князья Дарваза и Каратегина». Это говорит российский журналист, но с опытом жизни, работы (не только репортерской, но и ученым-фольклористом) в Таджикистане – явный протагонист автора, биографически с ним запараллеленный. Ему вторит наемник Даврон, приравнивающий распад

⁸⁵ В драме 2016 года «Землетрясение» С. Адресьяна встречается другой аспект этой темы – «всемирная русская отзывчивость», переходящая в жертвенность. Русский герой, несмотря на гибель в землетрясении жены и детей, самоотверженно помогает разбирать завалы, пока его не убивают случайные армянские мародеры. Перед смертью он не забывает повиниться перед персонажем, чьи родители погибли в автокатастрофе отчасти и по его вине лет 20 назад.

⁸⁶ Это касается как в целом «кавказской» темы, так и темы военного конфликта в Чечне и Дагестане и других «горячих точках» в частности – можно вспомнить «Патологии» З. Прилепина, «Шалинский рейд» и «Я – чеченец!» Г. Садулаева, «Письма мертвого капитана» В. Шурыгина, «Кавказский пленный» В. Маканина, «Салам тебе, Далгат!» А. Ганиевой, «Хурамабад» А. Волоса, книги М. Ахмедовой, рассказы А. Бабченко и других... Или же книгу 2017 года – «Праздник лишних орлов» Александра Бушковского, где мирная жизнь всех народов в советские времена более чем ярко противопоставлена чеченскому конфликту: «раньше мы тут в городе все мирно жили, когда Союз был. А теперь? Все говорят, хозяева спорят, а у холопов чубы трещат. <> Командовать все горазды, а сказать, как людям выжить, когда работы нет и все кругом разрушено, никто не может. И война эта мне не нужна» (М.: Рипол Классик, 2017. С. 138).

⁸⁷ «После крушения “великих нарративов” наследство коммунистического прошлого дает о себе знать в измененном культурном восприятии себя и “чужого”, в новом соотношении культурного центра и периферии и в колебании между попыткой, с одной стороны, возвратиться к простым формам идентичности, с другой – построить новую, плюралистическую модель самовосприятия. И, наконец, наследие коммунизма видится в (де)конструкции исторического прошлого с помощью его «колониальной» интерпретации. Могут ли эти симптомы посткоммунизма быть истолкованы как очередная историческая и идеологическая реинкарнация постколониализма?» Смола К., Уффельманн Д. Постколониальность постсоветских литератур: конструция этнического // НЛО. С. 420–421.

СССР к личной трагедии – смерти не только патрона, работодателя и знакомого, но и того, кто пытался «навести порядок»: «... крушение Союза и гибель Сангака – тотальная аннигиляция основ. Податься некуда. Главное – незачем. Исчез смысл. Винить некого». Ламентации о советских временах можно множить, возрождения Союза алчет даже действительно поданный дикарем полевой командир⁸⁸, но важнее представляется другая реплика, деревенского шейха, бывшего ученого и нынешнего духовного лидера. «Я мог бы, конечно, сказать в свою защиту, что распад давно начался без меня, исподволь, незаметно, когда развалилась большая община, Советский Союз. Мог бы сказать, что в те годы и поползли бесшумно первые трещины по нашей сельской общине, хотя мы не замечали, не слышали, как надламываются основы». Ключевое тут, представляется, распад древних, патриархальных основ – в романе постоянно отдается дань традициям, герои размышляют, кто первым должен был подать руку (или две руки), сесть, сказать, а за насилие и, в итоге, еще пушью анархию ратует молодежь, когда как старики взывают к ним остановиться, послушать их заветов. Возможно, именно поэтому так частотны жалобы о крушении советской империи – та ассоциировалась прежде всего с порядком, соблюдением явных, легко считываемых законов, своей патриархальной иерархией напоминала о древних восточных «отцовских правилах»... «Заххок» явного ответа не дает – и правильно делает.

А дружба – это прощение?

Для рассматривания романа Шагиля Идиатуллина «Татарский удар»⁸⁹ не в первую очередь есть некоторые оправдания, допускающие подобный хронологический произвол. Темы этой книги сами будто бы живут в двух временах – они характерны как для нулевых, так и до конца «десятих». Характерны различные репрезентации и для автора – журналист «Коммерсанта» из Казани, а ныне живущий в Москве⁹⁰, выпускал своеобразную фантастику «СССР™», мистический триллер «Убыр» (под псевдонимом Наиль Измайлов), книгу о позднесоветском детстве «Город Брежнев» и другие вещи.

Татарстан отделяется от России, США хотят развалить Российскую Федерацию⁹¹, прозрачно зашифрованные президенты нашей страны ведут тайные игры – все эти дистопийные и алармистские мотивы отличали тот поток антиутопий⁹², который чуть не захлестнул отечественный книжный рынок в начале тысячелетия. Тут эти мотивы доведены чуть ли не до предела, переходят в разряд лихой боевой фантастики (под стать и обложка) из серии вроде «Спецназ ГРУ берет Белый дом и водружает красный флаг на Марсе». Так, интересы не поделившей суверенитет-автономию с Казанью Москвы совпадают с американскими (развал России за счет стимулирования национальных движений), и РФ разрешает США провести миро-

⁸⁸ Различие равнинных чеченцев и горцев характерно для «Шалинского рейда» Г. Садулаева: «нам, выпестованным советской властью в интеллигентов, было обидно и страшно, когда толпы необразованных людей, спустившихся при Дудаеве с гор, заняли силу и авторитет, отодвинули нас на второй план». Садулаев Г. Шалинский рейд. М.: Ad Marginem, 2010. С. 104.

⁸⁹ М.: Крылов, 2005. 448 с.

⁹⁰ Родившийся, правда, в Горьком молодой и уже популярный прозаик Ильдар Абузяров также в своих книгах и интервью размышляет о положении и самоощущении татарского народа – считает Казань «столицей всех татар», а татарский народ – «одним из самых потерявшихся в большой цивилизации народов». Цит. по: Уффельманн Д. Игра в номадизм, или Постколониальность как прием // НЛО. С. 473. Абузяров также работает с темой того, что считается изначальной жестокостью и воинственностью татар – «но, в следующую секунду решаю для себя я, если эти мужчины еще и не евнухи, то ими скоро будут. Клянусь стягом своего хана» («Чингиз-роман»).

⁹¹ Идея о развале нашей страны Америкой с использованием схожего сценария была буквально в том же, 2005 году, озвучена в анонимном издании «Проект Россия» (там же оглашался и весьма схожий с использованным в действительности «крымский сценарий»), так что полностью игнорировать эту ксенофобскую анонимку не приходится – тем более что вышла она сначала в «Олма-Пресс» тиражом 50000 экземпляров, а в 2009 была переиздана «Эксмо» аж миллионным (!) тиражом).

⁹² Нам приходилось писать об этом феномене: Чанцев А. Фабрика антиутопий: дистопический дискурс в российской литературе середины 2000-х // НЛО. 2007. № 86 (<http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/cha16.html>).

творческую операцию в Татарстане. Американцы бомбят Казань, но татары оказываются более чем лихи – бомбят Белый дом, вскрывают сайты ЦРУ, перепрограммируют военный спутник и так далее. Началось все с невинной вроде бы статьи, результата игр пропагандистов от спецслужб и профессиональных журналистов: при нарастании конфликта между центром Москвой и субъектом федерации Казанью вмешаются НАТО и США... Все это, кстати, не так уж и дико, ибо, просматривая новости во время чтения книги, я натолкнулся на заголовок «Равносильно войне: в Москве оценили планы США следить за портами в Приморье»⁹³.

Советское здесь не поминается – кроме лирического воспоминания о линейках и пионерлагерях «на закате загадочной советской эпохи» и темы дружбы русских и татар еще с тех времен – но активно рефлексированы нынешние реалии. Россия в описываемом недалеком будущем (действует следующий после В. Путина президент) весьма накачала мускулы – довела до ума ВПК, под свою систему ПРО заманила все постсоветские страны (не пригласили балтийские), восстановив по сути Варшавский договор, а также Индию, Китай, Иран... Это не нравится США, которые и вынашивают планы развала России и последующей ее колонизации. Те же, что в антиутопиях, страхи развала большой страны (после публикации той статьи и соответствующих действий «мировой закулисы» цены на нефть «роняют», как перед развалом СССР, Европа отказывается от российского газа и т.п.) тут рассматриваются весьма интересно – во внешнеполитическом аспекте, взглядом с позиции Другого. При чем этот Другой – Татарстан – вроде бы исторически действительно антагонист, но находится в самом сердце России. Вкупе с войной русского и татарского МВД и бомбардировками Казани с площадки подскока под Йошкар-Олой – завязка действительно интригующая.

«Один черт: люди окажутся обманутыми. Те люди, которым на самом деле независимость как таковая на фиг не была нужна. Но когда они привыкнут к этому лозунгу, к этой идее, они будут готовы умереть за нее. Не потому, что надо, а потому что это смысл жизни дает. А раз так, то самое прагматичное предательство заберет у людей все. Весь смысл заберет. Даже если даст взамен меньшие налоги и увеличение детских пособий», рассуждают герои о ситуации, когда русские семьи бегут из Казани, а жители Казани буквальным образом берут в руки оружие сражаться с Москвой за свою независимость. То есть независимости никто особо не хотел, но, вкусив ее, уже от нее не откажется. Россия же, наоборот, не может воспринять новую ситуацию, остается в плену у имперских комплексов, жаждет восстановления, строит с тем или иным успехом СССР 2.0.

Успехов же никаких нет, выигрывают с разгромным счетом татары, действуя очень умело. Как в военном плане, так и медийном. И фиксируются поражения (неудачное покушение на того же президента Татарстана) так, что сомнений не остается – герои и рассказчик на стороне татарских борцов за независимость. Как от России, так и от США: «Татарстан никогда не являлся территорией, подвластной США. Татарстан на время законодательной дискуссии с официальной Москвой не является субъектом России. Татарстан не входит в ООН. Вся полнота власти на территории Татарстана принадлежит народу, от лица которого выступают законно избранные парламент и президент республики. Приказ пропустить вооруженные формирования на территорию Татарстана может исходить только от них. Без такого приказа все вооруженные формирования, проникшие на территорию республики, будут считаться бандитскими и обезвреживаться в соответствии с общепринятой практикой».

Дальше, под эпитафии из Майка Науменко и Егора Летова, начинается настоящий боевик – американцев татары дураят и мочат. Казань – вот настоящий символ и гордость постколониальных исследований, огромный привет Эдварду Саиду, утверждавшему, что Запад сознательно если не тормозил развитие Востока, то таковым его презентовал – оказывается центром всего. Нужен хитрый яд для устранения президента? Здесь в советские времена работал НИИ.

⁹³ РИА Новости. 2017. 5 мая (<https://ria.ru/world/20170505/1493736236.html>).

Нужно побомбить Белый дом? В Казани как раз ремонтируют российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-160 последней модели. Хакеры, бойцы, пиарщики – также имеются. То есть европейская метрополия если и лидировала (что тоже вопрос), то за счет восточных колоний. И не колоний, а древних, всегда независимых и почти самодостаточных государств-сателитов. Почти...

...Ибо все это оказывается игрой, интригой российского и татарского президентов, друзей с того самого советского пионерлагеря. Так они решили свои вопросы, надолго утерли нос США. «Куда мы с подводной лодки? Вопрос в том, какие мягкие условия будут, а теперь будут. Мы герои и вообще. А суверенитет отложим до следующего раза».

Но до советского канона дружбы народов («а дружба – это прощение» и «боимся мы все, что дойдет до войны») опять же далеко, а однозначного мало. Того же президента Татарстана убивают, на место его друга российского президента должен вернуться ушедший было в отставку ястреб с немигающими глазами... Но война с Америкой была неожиданной, а про независимость было – важно. (Однако, нужно заметить, разговор идет лишь о независимости политической, экономической, национальной и так далее, но отнюдь не о «этническом»⁹⁴ пересоздании истории (и истории литературы), направленном из периферии в центр».)

Посему к теме того, как те же жители Казани разбираются с «чужими», автор вернется в своей последней книге «Город Брежнев»⁹⁵ – очень объемном и сильном романе, о жанровой принадлежности которого критики спорят и иронизируют, попавшись на уловку определения «производственный роман», хотя многомерная книга в той же мере – история взросления (и Bildungsroman) в позднесоветские годы (тот же пионерлагерь, что и в «Ударе»), хроника конца империи и многое еще чего. Отстаивали же татары свою независимость всячески. «Школьники – и комсомольцы, и даже совсем маленькие – целый день шляются по улицам, свою территорию охраняют, а чужих колотят. Это называется “моталки”. Дерутся страшно, не до крови даже – головы пробивают, глаза выбивают. Мальчики мальчикам, вы представляете? И это не ФРГ какое-нибудь, не неофашисты, а наши дети, здесь, в Казани, совсем ведь рядом». И подобная независимость была свойственна местным жителям даже в самые глухие годы: «мы, говорят, понимаем, что вы автогигант, союзное подчинение, в Москве любую дверь ногой открываете и так далее, но вы и нас уважать должны, на нашей земле все-таки, – ну, все эти татарские штучки, простите, Вазых Насихович». При том, что независимость эта не радикального, как сейчас сказали бы, не религиозного свойства, ведь традиции все же оказываются утраченными, и не вчера: «Вадик прекрасно ел свинину, со студенческих лет, даже сало иногда, и родители у него свинину ели, хоть и не слишком часто...» Что накладывается на общую потерянность тех лет, когда жизненный цикл советской империи подходил к концу – у старшего поколения еще есть относительный смысл жизни (скоро не будет и его), а у входящих во взрослую жизнь нет практически ничего: «ну вам-то чего не спится, думал я тоскливо. У вас отлаженная жизнь, все тихо, спокойно и понятно на тыщу лет вперед. С понедельника до субботы днем работа, знакомая и нестрашная, вечером телевизор, в воскресенье пельмени, два раза в месяц прием гостей или, наоборот, поход в гости. С мая дача опять пойдет, с августа консервирование. И так всю жизнь, тихую, спокойную и честную. Ни экзаменов, ни злых ментов, ни мук совести. А у меня ни фига не понятно. Ни увлечений, ни любви, ни дружбы настоящей. Серого убили, Шапка шлюха, Саня и остальные – ну, приятели, не больше. Музыка мне пофиг все-таки, читать не люблю, кино тоже не особо цепляет. получается, что мне вообще ничего не нравится и вряд ли понравится – так что и ждать нечего. Хотя кто меня спрашивает, чего я там жду. Все равно случится – и не порадует». Новые реалии уже приходят постепенно в их жизнь, но, как и старые, ответов на все вопросы и какой-либо даже самой хилой гармонии отнюдь не несут: «мы-то

⁹⁴ Смола К., Уффельманн Д. Там же // НЛО. С. 433.

⁹⁵ СПб.: Азбука, 2017. 704 с. Цитируется по электронному изданию.

ладно, бурчал Федоров, мы всякого насмотрелись, от разрухи до кукурузы, а молодых жалко, невезунчики, ни черта же не увидят, ни повоевать им, как нам, ни отдохнуть. Да ладно, возражал Вадик, они уже больше нас с тобой повидали и узнали. Ты в их возрасте про джинсы и кассеты мог хоть мечтать? Да что джинсы и кассеты, тоскливо сказал Федоров, тряпки да коробки, к тому же заграничные. С одной стороны кассеты, с другой – ракеты, не то прилетит, так это». Это действительно субъект, описываемый известной формулой Хоми Бабы, – удвоенный, но не единый (*less than one and double*). Он оказывается приобщен одновременно к двум «большим стилям», но не чувствует себя частью ни одного из них, существуя в состоянии разрыва. Кажется, эта ситуация характерна для идентичности постсоветского субъекта в описываемых странах едва ли не больше, чем для жителя метрополии, безусловно страдавшего от подобных идентификационных проблем...

Лунный поход и сыпкая окалина истории

В книге Сухбата Афлатуни (псевдоним Евгения Абдуллаева) «Поклонение волхвов»⁹⁶, замеченной нашими литературными премиями, все настолько масштабно, что кажется – автор решил поиграть сразу на всех полях, со всеми возможными, как модно говорить, нарративами и дискурсами. И, что удивительно, почти выиграл. Это тот случай, когда и аннотация даже не преувеличивает масштаб, а даже немного преуменьшает и скромничает: «новый роман известного прозаика и поэта Евгения Абдуллаева, пишущего под псевдонимом Сухбат Афлатуни, охватывает огромный период в истории России: от середины 19-го века до наших дней – и рассказывает историю семьи Триярских, родоначальник которой, молодой архитектор прогрессивных взглядов, Николай, был близок к революционному кружку Петрашевского и тайному обществу “волхвов”», но подвергся гонениям со стороны правящего императора. Николая сослали в Киргизию, где он по-настоящему столкнулся с “народом”, ради которого затевал переворот, но “народа” совсем не знал. А родная сестра Николая – Варвара, – став любовницей императора, чтобы спасти брата от казни, родила от царя ребенка...

Сложная семейная и любовная драма накладывается на драму страны, перешедшей от монархии к демократии и красному террору. И все это сопрягается с волнующей библейской историей рождения Иисуса, которая как зеркало отражает страшную современность...» Когда, например, вам попадались новинки в трех книгах, каждая из которых претендует на отдельное издание?

Тем более что уже в первом томе заявлены соответствующие масштабы – в предуведомлении автор, отмечая, что «современная проза тяготеет не к истории, а к географии; она сосредоточена на ландшафте, а не историческом событии», обещает роман «о движении России в Среднюю Азию, внешне – стихийном и фатальном, внутренне же... Одна из версий того, чем эти захваты были внутренне, какой смысл просвечивал сквозь дипломатические интриги, набеги и захваты, и предлагается на суд читателя». И самые первые строки первого тома более чем ярко вводят тему столкновения цивилизаций: «Вечером – случилось. Братья францисканцы напали на греческого епископа и монастырского врача. Те бросились бежать; попытались укрыться в базилике Рождества, распахиваются двери – армяне-священники тихо служат вечерю. В храме – лица, много католиков, есть и православные, шевелятся в молитве бороды русских паломников. Заварилась суматоха!»

Действие исторического (пока!) первого тома, напоминающего изящную стилизацию под исторический роман в духе Окуджавы или Водолазкина (или – стилизацию под стилизацию!), из имперского Петербурга быстро перетекает на самую окраину империи – героя ссылают в Новоюртинск, в киргизские степи, форпост *ultima thule*. Территория эта колонизирована

⁹⁶ М.: Рипол Классик, 2015. 720 с. Цитируется по электронному изданию.

весьма относительно – и набеги степняков, как в добрые Средние века, случаются, даже один заметный и болезненный под громким названием Лунный поход, да и есть мнение, у тех же петрашевцев, что «целостность России поддерживается только военной силою, и когда эта сила уничтожится, или, по крайней мере, ослабнет, то все народы, составляющие Россию, разделятся на отдельные племена, и тогда Россия будет собою представлять нынешние Соединенные Штаты Северной Америки». Эта мысль удачно корреспондирует с современными представлениями о том, что Российской Федерации суждено распасться, что ее держит только ядерное оружие, всемогущие спецслужбы и далее по списку – но никак не общая национальная (в мультинациональном-то государстве!) идея... Да и тут все еще сложнее при ближайшем рассмотрении. «Должна ли Россия простираť свои границы далее в Азию или же ее место в квартете европейских держав⁹⁷», примут ли азиатские народы Россию, «но не нынешнюю, с ее варваризмом⁹⁸, лишь слегка подсахаренным просвещением»? Ведь и Россия сама еще «проект»⁹⁹, «Россия покуда только в головах». Тем более что Кавказ отнюдь не «замырен» и ментально, психологически, психогеографически находится в других операционных системах: «а на Кавказе холодно и пуль много, – говорил Павлушка. – Смерти много. У тамошних народов главный товар – смерть, им и торгуют. И горы у них. Нет у нас, русских, к горам привычки».

Пока собственно колонизация даже военная (не то что идеологическая) несколько заморожена – «наши возможности ограничены. Это слабые, но все же независимые от нас государства, суверенность которых мы должны хотя бы внешне уважать». Все вопросы и ответы также заморожены, как и судьбы главных героев падают к концу первой книге в неизвестность – их похитили, они исчезли, но еще появятся. Стилизация же гремит уже совершенно нарочито – к концу стиль больше всего напоминает псевдоисторическую (и много чего еще псевдо-) «Палисандрию». И любопытен знакомый по «Лабиринту» Дж. Хенсона и «Лабиринту Фавна» Гильермо Дель Торо и не только образ местного князька, которому степняки на руку пришили нос – духовные чаяния и фактические дела тут тотально расходятся, руки хотят, чуют, пытаются, но делают совсем не то...

Вторая книга трилогии будто решает переиграть Сашу Соколова, игравшего с «Лолитой» и (пост)модернистскими приемами. Место действия – от Москвы через Ташкент до Японии (один из Триярских, священник, наследует дело крестителя Японии Николая Японского). Второстепенными героями – Бурлюк и Пикассо. Сюжеты, стили, жанры напоминают изыски Бориса Акунина, выдававшего несколько лет назад то иронический, то конспирологический, то прочие подвиды ретро-детективов (опять же стилизация внутри стилизации!). Тут и псевдододекадентский роман начала прошлого века, и семейная хроника с тайной, и история таинственной секты в духе ассасинов, и степной эпос в духе «Мэбета», и тот же детектив, а то просто Павич или страницы потока сознания без запятых...

Основная интересующая нас тема оказывается не только не полностью забытой, но и приобретает новые очертания. «Русский Ташкент весь “для глаза”», а «азиатский Ташкент весь “для запаха”», маркируются сходу цивилизационные различия. Ташкент поименован более древним, но при этом предстает если не международным, то полностью вавилонским (Вавилон,

⁹⁷ Вопрос непростой, ведь даже российский император «устал от Европы», решает, вполне в духе нынешней политической обстановки импортозамещения, что «с Европой хватит. И романы Гюго – холодны и безнравственны», и пытается вспомнить, «кто это в начале Его Царствования написал: “Закончился европейский период истории России, начался национальный”?»

⁹⁸ Подобное восприятие было не единичным, но скорее общим местом. «Именно таков был политико-идеологический дизайн всей книги – Россия вышла на арену европейской жизни, но в варварском, нецивилизованном виде. Книга Шаппа прокладывала границы цивилизации берегам Немана. За его восточным берегом европейцам представлялась Россия как Сибирь – средневековая страна, лишенная всякого потенциала для развития цивилизации». *Проскурина В.* Ландшафт империи: «Антидот» Екатерины II против «Путешествия в Сибирь, или Границы европейской цивилизации // НЛО. С. 11.

⁹⁹ Здесь вспоминается вся традиция русской реалистической прозы от «Очарованного странника» Лескова до «Ташкентцев» Салтыкова-Щедрина – а также та параллель с проблемными конфликтами русской прозы XIX века как столкновением колониального с постколониальным у А. Эткинды в контексте его теории «внутренней цивилизации».

в его религиозном аспекте, здесь тоже поминается). Иудей, оказывающийся русским, тайным наследником российского императора, говорит между делом – «“национальное” есть языческое». И хотя цитируется Владимир Соловьев с его «на нас надвигается Средняя Азия стихийною силою своей пустыни», но не только вектор оказывается другим (надвигается как раз Россия на Среднюю Азию), но и пустыня, пустота – ключевым словом: «это были русские войска. Ташкент был взят еще весной, теперь они шли по степи, завоеывая все больше и больше пустоты. Моя крепость была недостроена, воинов в ней еще не было, они легко вошли и остановились. Я приветствовал их в городе прокаженных. Я говорил через толмача. Для чего открывать им, кем я был в прошлой жизни? Этой жизни уже давно нет. И меня того тоже давно нет. Но я ловлю русскую речь, вглядываюсь в русские военные лица, хотя и потемневшие от здешнего мусульманского солнца, чувствую русский дух серых от пыли кителей, и это отвлекает меня, не дает собраться», речет тайный самодержец пустыни. Одни атакуют большого соседа, другие захватывают соседа малого, но ни полного подчинения (тем паче ассимиляции), ни слияния нет. Военные походы и тех и других приносят отчасти фантомные результаты. (Это довольно любопытный мотив, пустоты по обе стороны, ибо обычно цивилизация мнит себя полной и обустроенной, еще некультуренные земли считая пустынными, формой для заполнения – тут же пустота простирается по обе стороны фронта)¹⁰⁰

¹⁰⁰ «Пространство империи мыслится путешественниками-имперцами как пространство подлинное, обустроенное (космическое) и в конечном счете единственно реальное. Пространство за пределами империи – варварское, нестабильное (хаотическое), становящееся, еще не до конца существующее. Лишь включение в империю обеспечивает пространству географическую определенность». *Пономарев Е.* Русский имперский тревелог // НЛЮ. С. 34.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.